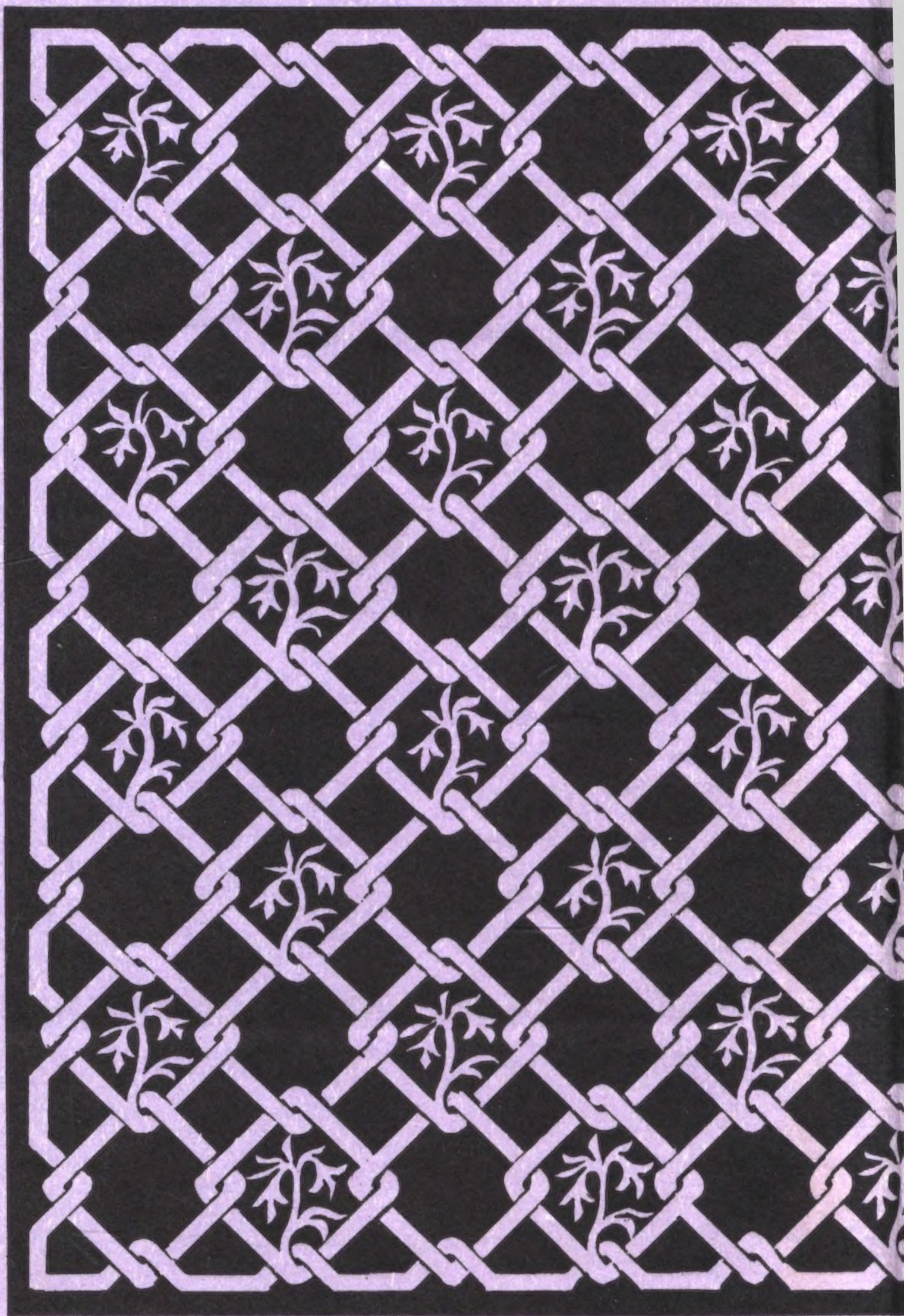


ХИЯЗЫМ ИКМЕТ

Избранное





ХАЗЫМ ХИКМЕТ

Избранное
в двух томах

Том
второй

•

Жизнь —
прекрасная штука, брат...

Роман

•

Пьесы

•

Миниатюры

•

Статьи

Перевод с турецкого



Москва

«Художественная литература»

1987

ББК 84.5Ту,
Х44

Составление, примечания
Т. МЕЛИКОВА

Оформление и иллюстрации
А. МОИСЕЕВА

X $\frac{4703000000-217}{028(01)-87}$ 219-87

© Состав., примечания,
оформление. Издатель-
ство «Художественная
литература», 1987 г.

ЖИЗНЬ- прекрасная штука, брат...

Роман







ВСТУПЛЕНИЕ

1

Вслед за девушкой-служанкой Ахмед вошел в вестибюль, вымощенный каменными плитами. Здесь пусто, прохладно и царит полумрак. Но почему девушка идет на цыпочках? Неужели кто-нибудь болен? Однако и я, черт побери, иду так, словно боюсь разбудить кого-то. Ахмед затопал подковками каблуков по каменным плитам. То-то же!

Вошли в большой зал. Здесь еще сумрачней, чем в вестибюле.

— Бейэфенди просил вас подождать немного. Они обедают.

Ахмед опустился в одно из громоздких кресел в полотняных чехлах. Под этими чехлами, наверно, прячутся позолоченная резьба и пунцовая бархатная обивка. У моего деда на скутарийском ялы точно так же.

Направо стена из матового стекла. За ней столовая. До чего же есть охота, мочи нет! Запах еды сюда не проникал, но от одного только стука ножей и вилок у Ахмеда мучительно засосало под ложечкой. Напротив — комод орехового дерева. Раз, два, три, четыре, пять... пять ящиков. В зеркале комода тускло мерцает мое отражение — глаза, то широко открыты, то прищурены. Я почесываю нос. И зачем-то без конца тереблю свои тонкие усики — не будет ли бахвальством назвать их шелковистыми?

— Добро пожаловать, Ахмед-бей, сын мой!

Ахмед поднялся.

— Здравствуйте, Шюкрю-бей.

Шюкрю-бей высок ростом, сухощав, сед.

С мужем своей тетки Шюкрю-беем Ахмед последний раз виделся зимой тысяча девятьсот двадцать третьего года в Москве, с тех пор прошло почти два года. Когда приехавшего туда с партией ковров на продажу Шюкрю-бея по какой-то причине арестовали, он заявил, что состоит в близком родстве с Ахмедом, в ту пору студентом Московского университета. Однажды вечером, часов в семь, Ахмеду позвонили из ЧК. «Да, мой родственник,— сказал я.— Да, из бывших иттихадистов. Нет, он не агент. Не думаю... Могу поручиться». Через час Шюкрю-бея привели к Ахмеду. Я влез в долги, но угостил его по-царски — и водкой, и черной икрой. Шюкрю-бей ест, пьет, приговаривает: «Ахмед, сын мой, до конца дней своих не забуду твою доброту».

— Как здоровье, Ахмедчик?

— Спасибо, тетя, хорошо.

Тетя Джемиле все еще красива. О таких говорят: чертовски красива, будто чертовки, если б они существовали на самом деле, были бы хороши собой.

В детстве я был влюблен в тетю Джемиле. Она до сих пор рассказывает, как мыла меня, трехлетнего, зажав между коленями, в бане скутарийского ялы. А я до сих пор при этом краснею.

Шюкрю-бей кашлянул.

— Хоть и неловко спрашивать, сын мой Ахмед-бей, но не могу ли я узнать, зачем ты пожаловал в Измир?

— Я подумал, дядя, что, может быть, удастся найти здесь приличную работу. А впрочем, я на любую согласен... В Стамбуле устроиться уже невозможно.

Шюкрю-бей снова кашлянул. Знаю наперед, что он скажет.

— Сын мой Ахмед, ей-богу, я не забыл твоей доброты...

И вдруг он делает то, чего я никак не ожидал: подойдя к окну и подозвав меня, он слегка раздвигает занавески. Над оградой сада, сквозь ветви освещенной солнцем магнолии, я вижу улицу.

— Взгляни на нищего, который сидит вон там на корточках. Шпик, скотина. За мной следит. Твоему дяде никак не дают покоя, Ахмедчик. Он совсем отказался от политики, а его до сих пор преследуют. Возвращайся-ка в Стамбул, Ахмед-бей, сын мой. Как только все немного уладится, я пошлю тебе весточку. Если у тебя нет денег на дорогу, я дам, пожалуйста. За мной долг еще с Москвы.

— Спасибо, деньги у меня есть.

— У вас там, слышал, газеты позакрывали?

— Да.

— Начались аресты?

— Нет.

— В здешней полиции наверняка есть твоя фотография.

— Не думаю.

— Есть, наверняка есть. Узнают, что ты ко мне приходил, и нам обоим конец! И ваших арестуют, наверняка арестуют, и меня отдадут под Трибунал независимости. Наверняка отдадут. Предлог — восстание курдов. Ты же знаешь, что Мустафа Кемаль воспользовался этим предлогом, чтобы восстановить Трибуналы независимости и ввести в правительство самого безжалостного из своих приближенных, Исмета, который только ждет повода, чтобы сорвать злость на нас, на тех, кто остался верен духу движения «Иттихад вэ Терракки». Почему? Да потому что, когда он сам был иттихадистом, ему не предоставили поста, на который он уповал. Такова политика. Тот, кто отрекся от партии, в которой когда-то состоял, становится самым заклятым ее врагом. Он и меня прикажет арестовать, наверняка прикажет. Только и выжидает, когда я хоть на чем-нибудь поскользнусь, хоть на чем-нибудь...

Выйдя за калитку, Ахмед зажмурился от яркого солнца. Чтобы не попадаться на глаза нищему, свернул в другую сторону. Неужели этот тип и в самом деле следит за дядей? Или Шюкрю-бей придумал это, чтобы отделаться от меня?

Ахмед пошел вниз по улице. Вокруг было пустынно. Черепичные крыши, магнолии, плотно закрытые ставни этого богатого измирского квартала залиты жаркими солнечными лучами. И никого прохожих. А там, внизу, прямо напротив, виднеется Измирская бухта. Широкая, спокойная, огражденная от моря. Где же вход в эту бухту? Где выход из нее в открытое море?

В этой бухте в тысяча девятьсот девятнадцатом году бросил якорь греческий флот. Отсюда, с этой набережной, греческие солдаты начали по приказу англичан свой марш по землям Анатолии. Ячмень тогда только скосили, и начиналась уборка пшеницы. И с этой же самой набережной жарким летом двадцать второго года враги были сброшены в море, а позади остался сожженный ими город. Если глядеть на город отсюда, сверху, то видны места бывших пожарищ, они превратились в захламленные пусты-

ри. Ахмед видит турецкого всадника, первым ворвавшегося в Измир и скачущего сквозь пламя пожаров. Почему-то только одного-единственного всадника, и почему-то этот всадник — из аданских крестьян. В одной руке — обнаженная шашка, в другой — алое знамя. Где он сейчас, в двадцать пятом, этот аданский всадник, первым ворвавшийся в Измир жарким летним полднем тысяча девятьсот двадцать второго года? Что он делает сейчас? На какого помещика он батрачит? Или работает исполу? А греческие коммунисты? Не те, что были расстреляны за попытку поднять бунт в греческой армии. Те лежат в анатолийской земле, рядом с турецкими солдатами. А другие, те, что были брошены в тюрьмы? Они и поныне томятся за решеткой на одном из греческих островов?

Внизу, за Кордоном, Ахмед зашел в кофейню. Заказал сыр, бублик, чай, наргиле. Я же предсказывал, что все кончится именно так. «Нет,— говорили они,— обязательно сходи. Он найдет тебе работу. Надо до конца использовать легальные связи». Вот и использовали... Хоть бы в полицию не донес.

Ахмед заказал себе еще одну порцию сыра. И еще один бублик. Даже поест не предложили. Официанту, принесшему наргиле, заказал еще чашку чаю. Донесет, с него станется! Достаточно просто позвонить по телефону. Уж коли принялись за иттихадистов, то Шюкрю-бей и в самом деле первым стоит в их списках.

Ахмед курил наргиле только дважды за всю свою жизнь. Это было в Стамбуле. Говорят, измирский наргиле с непривычки ударяет в голову. И впрямь, голова пошла кругом. Он прикрыл глаза. Но вместо желанной темноты под веками полыхнула солнечная соломенная желтизна. «Здравствуй, Аннушка!» И тотчас пронзила острая боль, словно ему всадили нож в левый бок. Открыл глаза. «До свидания, Аннушка!»

В кофейню вошел какой-то человек. Шарит глазами по сторонам, будто выискивает кого-то. Сел за столик неподалеку. Скосил глаза из-под припухших, полуприкрытых век в мою сторону. Я выпил чай, поднялся. Насилу удержался, чтоб не спросить у официанта: «Кто этот субъект, что следом за мной вошел в кофейню?»

На улице Ахмед сел на скамейку, прислонился головой к стене.

Уже далеко за полдень, однако измирские мостовые все еще пышут полуденным жаром. Горячий воздух колыхается, как над пожарищем, и медленно тянется в сто-

рону моря. Голое море. И голое пожарище. «И сам я совсем голый, у всех на виду».

Он поднялся, торопливо зашагал вдоль улицы, вошел в старую квартальную мечеть. Здесь пахнет гнилыми циновками и свечным салом. Рядом с кафедрой проповедника стоит на коленях парень в рубище, глазницы у парня пустые, раскачиваясь из стороны в сторону, он читает Коран. Голые ноги чисто вымыты, ступни в мозолях.

Ахмед сел, прислонился головой к стене.

Когда Ахмед был младенцем, дед вместо колыбельной читал ему стихи из «Месневи».

После окончания школы-интерната — там молитвы и соблюдение поста были обязательны — я перестал блюсти посты и творить намаз. Да и Коран-то почти никогда не открывал. Все эти несры, фатхи, устюны в тексте Корана вместо того, чтобы облегчать чтение, наоборот, только путали меня. Но в бога я верил. Точнее, я даже не задумывался над тем, существует ли бог. Он есть — и все! Но однажды мне в голову пришла дерзкая мысль, и я усомнился. Нет-нет, не в существовании господа бога, а лишь в том, правы ли верующие, когда совершают благие дела ради того, чтобы попасть в рай и обрести бессмертие. А грехов не совершают, потому что боятся божьей кары и угодить в ад. Меня, словно сам я никогда не был религиозен, поразила эта добровольная неволя, на которую обрекают себя верующие, порастил их эгоизм.

С тех пор Ахмед перестал заботиться о божьей награде и не опасался божьей кары.

Одной из причин моего легкого отречения от господа бога было то, что я ближе узнал анатолийских служителей культа, увидел, каковы они в жизни. У них не было ничего общего ни с моим дедом, членом ордена Мевлеви, ни с учителем в пенсне и при галстукке, что преподавал богословие в школе-интернате, ни даже с остряком имамом из нашей скутарийской квартальной мечети. Они, подобно сказочному дракону, сев у родника, остановили течение его воды. Они несли людям невежество, суеверия, двуличие, нетерпимость и черный террор...

Незаметно для себя Ахмед задремал. Проснувшись, взглянул на часы. В мечети стало почти темно. Вошли три старика, похожих друг на друга, как трое близнецов. Может быть, они только кажутся похожими, потому что у всех троих одинаковые белые бороды. А может быть, потому что все трое одеты в латанные-перелатанные ватные халаты, ставшие от ветхости совершенно одинаковыми.

Слепой хафыз все еще читал Коран. Отчего так тоскливо на сердце?! «Внемли, это флейты тоскующий глас, о скорби разлуки ведет он рассказ».

Когда Ахмед покинул мечеть, над городом спустились густые сумерки. В свете фонаря у ворот он увидел какого-то человека, присевшего на корточки. Похож на того самого нищего, которого показывал Шюкрю-бей. А может, мне показалось? Неужели меня засекли? Он прошел мимо нищего. Значит, не успел я уйти, как Шюкрю-бей... Впрочем, может, Шюкрю-бей и не доносил, а этот гад сам увязался за мною? Утром Исмаил подробно описал Ахмеду место, где они должны будут вечером встретиться. Вдруг Ахмеду померещилось, что кто-то идет за ним следом. Обернуться, посмотреть? Не дури! Нельзя давать волю нервам. Слишком часто у него колотится сердце, черт побери! На углу он внезапно оглянулся. Никого. Он свернул налево. Либо я отделался от этого гада, либо все это мои собственные бредни. Ахмед испытал чувство досады.

* * *

Исмаил сидел на нижней ступеньке полуразрушенной каменной лестницы и курил сигарету, пряча огонек в кулаке. Они пустились в путь. Взошел месяц. Кривая узкая улочка вьется между потемневшими от времени деревянными домами. Почти у каждого из них верхний этаж выступает над нижним. И такая тишина, такое одиночество! Я рыбный малек, затерявшийся в темных водах. Точно так же мне было, когда я сошел с поезда в Харькове и бродил при свете луны по новому для меня, незнакомому городу.

Они вышли за город, на безлюдное пыльное шоссе. Лунная пустыня, заполненная вязкой тишью, вдруг есколыхнулась от глухого шума электродвижка. Я встревожился. Откуда доносится этот звук? Вокруг ни дома, ни дерева. Мы приблизились к подножию голого холма, что высился справа от дороги. Шум движка заметно усилился. Теперь видна на пологом склоне холма одинокая каменная хижина. Без окон.

— Это и есть мой дворец, Ахмед.

— А откуда доносится стук движка, Исмаил?

— День и ночь воду качают. В часе ходьбы отсюда.

Исмаил отомкнул огромный замок, висевший на дощатой двери хижины. Зажег керосиновую лампу. Ахмед сел на одну из двух коек.

— Ты будто заранее приготовился к моему приходу.

— Вторая постель осталась от Зии.

Пол в хижине земляной. Из шкафа с дверками, затянутыми проволочной сеткой, Исмаил достал хлеб, брынзу, огурцы, помидоры, соль и бутылку воды.

— Исмаил, ты уверен, что за нами не увязался хвост?

— Уверен. Шпики ведь не духи бесплотные. Неужели мы бы их не заметили?

Ахмед поднялся. Хрумкая огурцом, ковырнул каблук земляной пол.

— Здесь, надеюсь, камней нет?

— Откуда им взяться, братишка? Лопата и кирка у нас есть. От Зии остались. Доски, пилу, что там еще понадобится, я раздобуду.

— Кто-нибудь знает, что я у тебя останусь?

— Я никому не говорил даже, что ты приехал.— Исмаил начал медленно раздеваться.— Твой чемодан я сам принесу: тебе лучше в городе не показываться.— Он остался в кальсонах с завязками у щиколоток и в нижней рубашке с оборванными пуговицами. Молодые руки его казались теперь еще более смуглыми и крупными.

Ахмед снова ковырнул пол каблук.

— Завтра я все здесь обмерю, прикину и набросаю план.

— По моим расчетам и вглубь и вширь должно быть не меньше двух с половиной метров. Послушай, у тебя ведь теперь будет уйма свободного времени и ты нарисуешь меня наконец, хоть углем.

— Твой завод далеко отсюда?

— Не меньше часа ходьбы. Встаю на рассвете.— Исмаил заводил будильник с огромным, больше самого будильника, колпаком.— От Зии остался.— Он засунул будильник себе под подушку.— Чтобы тебя не будить.

Ахмед тоже разделся. Исмаил натянул одеяло до подбородка.

— В шкафу чай, сахар и все прочее. Керосинка в углу. От Зии осталась. Ну, пора спать, задуй лампу.

— Дверь закрыта?

— Если тебе не мешает лунный свет, то лучше не закрывай. Так больше воздуха... Зия не мог спать при луне.

Ахмед, в трусах и фланелевой майке, сидел на краю кровати.

Жесткое одеяло колет Исмаилу подбородок.

...Через тринадцать лет, зимой тысяча девятьсот тридцать восьмого года Исмаила шесть месяцев продержат в

одиначке военной тюрьмы в Анкаре. Одиночка — это каменные стены и каменный пол. Окно не застеклено, довольно одной решетки. Снежинки будут залетать через окно и устилать цементный пол. Ни подушки, ни матраца, тонкое одеяльце и то не дадут, гады. Тогда Исмаил вспомнит нынешнюю ночь, как одеяло кололо ему подбородок, как Ахмед дул, дул и все никак не мог погасить лампу.

* * *

— Убавь фитиль, Ахмед.

Ахмед, не убавляя фитиля, дунул и наконец погасил лампу.

Сквозь открытую дверь в хижину сочится лунный свет. Исмаил уже похрапывает. Тарахтит движок — тук-тук-тук, тук-тук-тук.

Ахмед ворочается с боку на бок, то смежит веки, то откроет. Садится в постели. Лунный свет бьет в лицо. Тарахтенье движка — тук-тук-тук, тук-тук-тук. В Скутари я тоже, бывало, садился в постели, когда не спалось, и слушал, как стук моторных баркасов, вышедших на ночной лов, дробит на мелкие части ночную тишь, и от этого сердце сжимала острая боль.

Ахмед встал. Из кармана брюк, брошенных на плетеную табуретку, достал сигареты и спички. Из заднего кармана чуть не вывалился пистолет. И обращаться-то с ним толком не умею, а все равно таскаю, черт побери. Он присел на порог. Закурил. Шоссе одиноко убегало вдаль и, казалось, дрожало вместе с движком.

...Я сижу и чищу картошку, время от времени искоса поглядываю на голубоглазую девушку, которая так же, как и я, чистит картошку. Над Москвой лютует метель, но в университетской кухне теплым-тепло. Почему же голубоглазая девушка не скидывает с плеч шаль? Слева от меня — преподаватель политэкономии, справа — иранец Хюсейн-заде, студент, рядом с ним — китаец Си Яу, тоже студент, рядом с китайцем — пышнотелая, как свежее испеченный бисквит, блондинка. Она — жена ректора нашего университета. И еще какой-то студент, которого я даже не знаю по имени, похоже, русский, и еще та самая голубоглазая девушка, на которую я то и дело поглядываю, и еще Петросян, секретарь партийной ячейки университета,

в косоворотке, с орденом Красного Знамени на груди. Мы все — дежурные по кухне — сидим кружком на деревянных табуретках. Берем из мешков картофелины, одна, черт побери, корявее и грязнее другой, чистим и бросаем в огромное ведро. Время от времени двое относят ведро к наполненной водой лохани и ссыпают туда картошку.

— Твоя очередь, Ахмед.

Я встал.

Си Яу обернулся к голубоглазой девушке:

— И твоя, Аннушка.

Поднялась. Оказывается, она высокая. Мы подняли ведро за дужку, она — с одной стороны, я — с другой. На ней были валенки. Мы ссыпали картошку в лохань. Она вымыла под краном руки. Удивительно белые, с полными длинными пальцами, руки.

— Все равно снова испачкаются.

Она не ответила.

— Ты работаешь в канцелярии?

— Почему вы со мной на «ты»?

Я знал, что среди русских интеллигентов принято обращаться друг к другу на «вы». Однако мы, студенты, независимо от того, знакомы или нет, всегда говорили друг другу «ты». Поэтому меня ее слова задели.

— Ты, видно, из бывших аристократок.

— Вы тоже не очень похожи на пролетария.

Во время обеда я поискал глазами Аннушку в столовой, но не нашел. Это не помешало мне с аппетитом умять жидкие постные щи, куда я накрошил черного хлеба. С жадностью выпил стакан едва теплого слабого чаю.

Снегопад над Москвой к вечеру стал слабее, а ночью и вовсе перестал. Но вскоре опять повалил.

Весь день у меня дежурство за дежурством. Я в кузове грузовика, загнанного во двор университета, на ящиках с воблой. Грузовик пришел поздно, ребята не успели дотемна перетаскать рыбу на кухню, вот меня и оставили сторожить. В руке винтовка. Ноги мои в солдатских башмаках совсем окоченели. Надо бы слезть с машины, размяться. Так я и делаю. Слезая. Топчусь на снегу, прыгаю. Вроде согрелся. Со двора вижу башню Страстного монастыря. Проехали санки. Чудная шапка на голове у кучера. И плечи и шапка в снегу. Седоки, должно быть, нэпманы. Кто же еще по нынешним временам носит меховые шубы? На посту петь, надо полагать, нельзя. А мне хочется петь марш Буденного, орать во всю глотку: «Да-

ешь Варшаву! Даешь Берлин!» Меня обуял боевой задор. Не потому ли, что я сжимаю в руках винтовку? А может быть, меня раззадорил вид этих нэпманов? Мне виден почти весь Страстной бульвар, убегающий в темноту, заваленный снегом. У меня за спиной раздался легкий шорох. Шальная мысль мелькнула в голове: не Аннушка ли это? Я обернулся. Рядом со мной, в кружке желтоватого света от фонаря стоит беспризорник. С головы до пят укутан в немыслимые лохмотья. Выглядывает только кончик невероятно чумазого носа да пара блестящих глаз. Мальчишке с виду лет двенадцать, не больше. Он с шумом втягивает носом воздух.

— Здравствуй, дяденька.

— Здравствуй,— отозвался я.

— Вроде как рыбой пахнет, дяденька.

— Да ну? — притворно удивляюсь я.

— Машина, что, рыбой нагружена?

— Рыбой.

— Давно стоишь на посту, дяденька?

— Давно.

— Рыбой пахнет...

— Я не чувствую.

— Дай одну рыбку, дяденька, что тебе стоит,

— Нельзя.

— Кушать хочется.

— Сегодня ничем не удалось поживиться?

— Один кошельшко стащил, пустой оказался.

— Вашего брата собирают, пристраивают. И еду дают и одежду. Почему не идешь?

— А мне лафа и на воле,

— Откуда сам?

— С Поволжья.

— Как добрался сюда?

— На своих на двоих, и немного на поезде. В спальном вагоне.

— Значит, в ящике под вагоном?

— Считаю так... Дай одну рыбку, самую маленькую.

Не перевернется же мир от этого.

— Не могу.

— Рыба же не считающая. Одной меньше, одной больше. Кто засечет?

— Я.

— Ей-богу, помру, так жрать охота.

— Хочешь, дам денег?

— Дай,

Откуда-то из-под лохмотьев вынырнула тощая рука, схватила протянутые мною деньги и нырнула обратно.

— И рыбу дай.

— Я же дал тебе денег.

— Сейчас все лавки закрыты. Ты что, думаешь, деньги в любое время сгодятся? Жрать охота. Ну дай рыбку!

— Нельзя.

— Почему?

— Если каждому давать по рыбе, в машине ничего не останется.

— Какой же я каждый?

— А разве нет?

— Нет. Я Федька Шестипалый.

— Почему Шестипалый?

Он протянул правую руку. Рядом с мизинцем торчит что-то вроде шестого пальца.

— А закурить найдется, дяденька?

Я дал ему папиросу, предложил огня.

— Не, патошак курить нельзя. Дай лучше рыбку.

Я дал рыбу Федьке Шестипалому, мальчишке с Поволжья.

— Одной мало. Дал бы еще штучку.

— Ну, ты даешь! Совсем обнаглел!

— Не серчай. Возьми эту обратно, дай другую, побольше.

Я взял рыбу. Дал ему побольше. Он проворно сунул ее под лохмотья.

— Почему не ешь? Ты же, говоришь, голодный?

— Поделюсь с Санькой.

— Это еще кто?

— Моя маруха.

— Сколько же ей лет?

— Помене, чем мне. Может, и ей одну рыбку?..

— Давай, давай, проваливай.

— Не серчай, ухожу.

Обхватив себя за плечи, ссутулясь, мальчишка отошел, потом остановился, повернулся ко мне:

— Я не стану никому говорить, что здесь рыбу дают. Если все часовые будут, как ты, пропала советская власть... До свидания, дяденька.

Он шмыгнул за ворота и вскоре растворился в снежной темени Страстного бульвара.

Вернулся я в общежитие поздно. Все спали, пустовала лишь кровать Си Яу. Когда я, сидя на кровати, разматывал портянки, вошел Си Яу. Он единственный среди студентов носит пиджачную пару. У него есть даже лакированные ботинки и галстук бабочкой. И фетровая шляпа есть, но с некоторых пор он ее не надевает. Однажды он вышел в ней на Цветной бульвар, а за ним — мальчишки, кричат: «Буржуй, буржуй!» Он отлично говорит по-французски. Говорят, будто приехал в Москву из Парижа, точно не знаю. Те, кто не получил официальной визы, в том числе и я, предпочитают не лезть друг к другу с расспросами.

— Послушай-ка, Си Яу, я хотел у тебя спросить... Кто такая Аннушка?

— Машинистка ректора.

— Это я уже знаю. Кто ее родители?

— Отец, кажется, был инженером. Колчак его расстрелял. Мать умерла от тифа. *Bonne nuit* ¹.

Движок по-прежнему молотит ночь. Шаркая босыми ногами, Ахмед поплелся к койке. Лег на спину и вытянулся. «До свидания, Аннушка».

Когда я проснулся, полумрак хижины был располозован солнечными лучами, которые пробивались сквозь дверные щели. Это, наверное, Исмаил уходя прикрыл дверь. Я распахнул ее. Выпил чаю из тонкого стакана, — должно быть, тоже от Зии остался.

Ахмед зажег лампу, снова закрыл дверь. Стук движка доносился почти так же отчетливо. Не будут ли снаружи слышны удары кирки? Он положил пистолет на постель. Надо бы чем-нибудь подпереть дверь. А что это даст? Если меня застукают, когда я буду копать, никакая подпорка не поможет. Он взглянул на часы. Четверть девятого. Начал копать посредине хижины. Когда опять посмотрел на часы, они показывали половину десятого. За час с четвертью совсем выдохся, черт побери! Он выпил воды. Закурил. Открыл дверь. Пыльное шоссе внизу было все так же пустынно, залито чистым солнечным светом.

Ахмед закрыл дверь. Выкопанную землю он время от

¹ Спокойной ночи (фр.).

времени сгребал в угол. Посмотрел на часы. Без десяти двенадцать. На ладонях вздулись волдыри. В хижине душно, как в бане.

...Московские морозы легко переносить, они сухие. Даже африканцы и те выдерживают. На студенческий вечер я отправился в своих солдатских башмаках с обмотками, в грубой бязевой косоворотке. Если б и захотел надеть что-нибудь другое, все равно нечего. В большом зале танцуют. Народу — не протолкнешься. Я увидел Си Яу. В своей элегантной темно-синей паре он выглядит здесь чужаком, словно явился на маскарад. Он меня не заметил. Жарко! Меня прошиб пот.

Ахмед вытер голой рукой пот, ручьями струившийся по лицу. Рубаху он скинул раньше. Опираясь на кирку, с трудом расправил спину.

...Мать честная, наш Си Яу танцует, да еще с Аннушкой! Она меня заметила. Улыбнулась. Волосы цвета соломы. Шея высокая, круглая. Я посмотрел на ее ноги. Чересчур полноваты, пожалуй. Но мне нравится.

* * *

Ахмед подошел к двери, накинул на голые плечи пиджак. Вспотел, как мышь, не хватало простудиться.

Он съел все, что Исмаил оставил ему на обед: вяленое мясо, хлеб, помидоры. По шоссе, вздымая клубы пыли, промчался автобус. Ахмед закрыл дверь. Решил малость отдохнуть, лег ничком на постели, а когда открыл глаза, у его изголовья стоял Исмаил.

— Ты, я гляжу, совсем утомился.

— Сколько я проспал?

Вместо ответа Исмаил распахнул дверь хижины, за ней темнеет чистый-чистый вечер.

Ахмед открыл чемодан.

Исмаил спросил:

— План готов?

— Начал пока без плана. Но начерчу обязательно. В Москве, в Музее Революции, я видел нечто в этом духе.

— Землю я вытащу наружу, пусть только темнеет как

следует. За хижиной есть корзина, от Зии осталась. Да, что я хотел сказать... Завтра вечером собрание.

Они присели на пороге.

— Ты мне каждый день приноси стамбульскую и измирскую газеты.

Землю из хижины они перетаскали на вершину холма. Ахмед взялся за корзину с одной стороны, Исмаил — с другой, точно так, как мы с Аннушкой брались за ведро с картошкой.

— Завтра, Исмаил, после собрания не будем выходить вместе. Пусть никто не знает, что я живу у тебя.

Они вернулись с собрания поздно, но не легли спать, пока не перетаскали всю землю, накопанную Ахмедом за день.

2

Однажды дождливым вечером, — тогда Ахмед впервые понял, насколько летние дожди в Измире отличаются от стамбульских, — Исмаил, протягивая ему свежие газеты, сказал:

— Полиция объявила розыск. Оказывается, уже целую неделю тебя ищут. Они задержали и допросили двух стамбульцев, которых тоже зовут Ахмед Кадри.

— Шюкрю-бей постарался.

— Возможно... Но он сообщил бы твои приметы. Зачем им хватать первых попавшихся Ахмедов Кадри?

— Может, они похожи на меня? Полиция наверняка запросила мои приметы из Стамбула. Но от кого, кроме Шюкрю-бея, они могли узнать, что я приехал в Измир? И почему так усиленно разыскивают именно меня?

— Начались аресты.

— Что ты говоришь?!

Мое трусливое, гадкое сердце заколотилось так же отчаянно, как и в тот вечер, когда я подумал, что за мной следят. Из газет, которые принес Исмаил, я узнал, что в Стамбуле, Анкаре и Адане арестовано много коммунистов, что их будет судить Трибунал независимости и что приняты усиленные меры к розыску тех, кому удалось скрыться. В опубликованных списках разыскиваемых я нашел и себя.

— Кто знал, что ты собираешься сюда?

— Среди арестованных никто... А наших, работающих здесь, полиция...

— Не знает. Не исключено, что будут допрашивать Хюсню. Если закроют профсоюз железнодорожников.

— Наверняка закроют.

Дождь кончился. Сквозь влажную, сырую тьму сдавленно, глухо доносится шум движка.

Сидя на пороге, они ели хлеб, маслины, халву.

— Как думаешь, Ахмед, что будет с нашими?

— Кто знает? Ведь это не простой суд, а Трибунал независимости.

— Не повесят же их, а, братишка?

Уже заметно стемнело. Однако на этот раз они долго не начинали перетаскивать землю, накопанную за день. Яму — примерно метр на метр — решили заделать в течение двух ближайших дней. Для этого требовалось сколотить деревянный ящик таких же размеров и, наполнив его до краев землей, вставить в яму. Земля в ящике быстро утрамбуется и сровняется с полом, таким образом яма будет надежно замаскирована.

Теперь Ахмед не держит днем дверь дома открытой и не сидит на пороге. Даже утром он зажигает керосиновую лампу и читает книги, оставшиеся от Зии. Есть среди них сборник стихов.

— Ты читал эти стихи, Исмаил?

Тот кивнул.

— Тебе что-нибудь запомнилось?

— Одна строка: «Куда, в какую гавань войдет стомачтовый корабль?»

— Почему именно эта строчка?

— Из-за мачт...

Профсоюз железнодорожников закрыли. Его руководителей, в том числе и Хюсню, подвергли допросу, но вскоре отпустили. Прошел месяц. За все это время я ни разу не выходил из хижины. Собрания на некоторое время отменены. Я перечитал от корки до корки все книги, оставшиеся от Зии. В газетах читал все, даже объявления. Попробовал нарисовать стомачтовый корабль. Не получилось.

Исмаил медленно-медленно выкладывает на стол принесенные продукты.

— Оказывается, наши в Бурсе выпускали газету под

названием «Йолдаш»¹, — неожиданно бросает он через плечо.

— Как, когда?

— Незадолго до арестов. Я только сегодня узнал об этом.

— Что же потом?

— Потом ее закрыли.

Перед отъездом в Измир стамбульские товарищи сказали Ахмеду: «Твоя задача — подготовить помещение для подпольной типографии. Только помещение. Об остальном мы потом сообщим». Сейчас Ахмед понимает, почему товарищи поступили именно так. Оказывается, используя до конца легальные возможности, они стали выпускать газету «Йолдаш». Ну, хорошо, почему же, используя легальные возможности, не заготовили заранее бумагу, шрифты, краски, печатный станок и все прочее для подпольной типографии? Сидим теперь над этой пустой ямой и ждем у моря погоды. Неужели товарищи надеялись на конституцию? Когда вспыхнуло восстание курдов, мы единственные выступили в их поддержку. Мы говорили, что земли курдских шейхов и феодалов незамедлительно нужно раздать курдским крестьянам. Говорили, что если в этом восстании и замешаны англичане вместе со сторонниками халифата, то отчуждение земель лишит их всяческого влияния. Говорили, что это преступно — возбуждать кровавую вражду между курдским и турецким народами. Говорили, говорили, да толку что?

Исмаил, словно прочитав мысли Ахмеда, сказал:

— Эти подлецы будто взялись известить нас под корень.

— Это точно... Наши господа давным-давно забыли, что такое революционность. Если не все, то по крайней мере восемьдесят из ста...

Десять лет спустя, то есть в тысяча девятьсот тридцать пятом году, Зия мог бы на живом примере доказать Исмаилу правоту Ахмеда. «Исмаил, — мог бы сказать Зия, — угадай, кого я вчера встретил? Того самого депутата меджлиса, который в двадцать пятом был членом Анкарского Трибунала независимости. Мы разговорились, и я спросил его, чего это они так взъелись на нас десять лет назад. Оп, бестия, хитро этак взглянул на меня и говорит: «Зия-бей, вы сами накликали тогда беду на свою голову. Сами посудите. Если бы мы раздали курдским крестьянам

¹ «Товарищ».

земли курдских беев, у нашего мужичья тоже глаза разгорелись бы на наши земли. Был бы создан прецедент, Зия-бей, прецедент... А у меня самого, кстати, два поместья».

* * *

Ахмед встал, опершись о стол.

— Решено. Я еду в Стамбул, Исмаил.

— Ты спятил, братишка?

— Во что бы то ни стало надо раздобыть печатный станок, бумагу, шрифты. И с товарищами надо бы наладить связь.

— В Стамбуле, должно быть, никого из наших не осталось. К тому же в поездах и на пароходах бесконечные проверки.

Опять собрались в доме у Хюсю. Было решено, что Ахмед не поедет, да и кого-нибудь другого посылать не имело смысла — на стамбульскую явку Ахмед не очень-то надеялся.

Теперь даже днем не зажигаю керосиновую лампу. Сижу смотрю, как в солнечных лучах, пробивающихся сквозь щели плотно запертой двери, пляшут, беспуются, заигрывают друг с другом пылинки, и мысленно спрашиваю Аннушку: «Куда, в какую гавань войдет стомачтовый корабль?» Вечерами рисую, посадив перед собой Исмаила. Сделал уже два портрета. Один ему понравился — тот, где он на себя совсем не похож.

Прошло еще три недели.

Распахнуть бы дверь, шагнуть за порог, повалиться бы на солнышке хоть десяток минут, там, на склоне холма, где мы разбросали землю из ямы!..

Поджидая Исмаила, я время считал сначала на часы, потом на минуты. В голове пустота. Все, что знал назубок, что отчетливо помнил, уплывает куда-то из памяти. Людям приходится годами сидеть в тюрьме, в одиочке, в карцере. Но ведь они при всем желании не могут открыть дверь и выйти наружу. А я могу. Но не хочу. И от сознания, что мое заточение — добровольное, мучаюсь вдвойне.

Еще неделя прошла.

Ахмед как приклеенный ни на шаг от двери. Широко открытым глазом прильнул к щели и смотрит наружу.

Сердце колотится как ненормальное. Я совершу дурной поступок, знаю. Нельзя открывать дверь, но я открою. Ужасно глупо, но ничего с собой поделать не могу.

Приоткрываю дверь, делаю шаг, другой. Огибаю холм, насплу сдерживаю себя, чтобы кубарем не скатиться по склону. Усы я еще утром сбрил. Натянул старый комбинезон Исмаила. Немного испачкал лицо сажей. Может, встречные примут меня за кузнеца или какого другого мастерового. Минут пятнадцать шел по шоссе. Навстречу прокатил автобус, я отошел к обочине. Справа от шоссе увидел довольно высокую насыпь, обложенную в основании камнями. На насыпи растет чинара, под чинарой устроен навес, где сушатся развешанные рядами табачные папуши. Там же, вижу, сидят два человека, наверное, сторожа. У подножия насыпи — источник. Опершись о край колоды, я припадаю ртом к желобу. Вода плещется мне на грудь, на плечи. Явственно ощущая непривычную наготу верхней губы, я вдоволь напился. Выпрямился, вытер рот тыльной стороной ладони, и вдруг меня пронзила острая боль — будто хлестнуло железным прутом по ноге. Я оглянулся. Рыжая собака. Оскалив зубы, щерится, а может быть, она и не щерилась, это мне потом казалось. Из открытой пасти тонкой струйкой бежит слюна, а может быть, и не было слюны, это мне потом казалось. Рыжая собака, поджав хвост, будто испугалась моего взгляда, побежала прочь. Я провел рукой по икре, взглянул на ладонь: кровь. Те двое, что сидели на насыпи, видели все это.

— Плюнь, парень, — крикнули они, — приложи табак! С чего это она кинулась на тебя? Тварь, в общем-то, безвредная.

Они бросили мне табакерку. Я взял щепотку табаку, приложил к ране и туго перевязал ногу носовым платком.

В тот вечер Исмаил не сразу заметил, что Ахмед сбрил усы. Обрезая фитиль маленькими ножницами, Ахмед старался отрегулировать лампу, от чего по задумчивому его лицу то пробегали тени, то яркие блики огня.

— Что это ты, братишка, усы сбрил?

— Изменилось у меня лицо?

— Не так чтобы очень. Сначала я и не заметил. Не идет тебе без усов.

— Нос кажется еще длиннее, верно?

Ахмед скрыл от Исмаила, что он выходил из дому и что его покусала собака. Срамота, да и только!

Прошло еще четыре дня.

Ахмед ел огромный помидор, макая его в соль, и читал измирскую газету. Исмаил расстилал на полках чистую бумагу.

— Исмаил!

— Что?

— В газете пишут, что в нашем районе обнаружены бешеные собаки.

— Верно. Вчера, говорят, двух ребятишек покусали. А позавчера вахтера с нашего завода.

— Что же теперь будет, Исмаил?

— Как что будет? Пострадавших отправят в Стамбул. Только там есть специальная лечебница.

— Значит, люди заболели бешенством?

— А как же, не без этого.

— Пишут, что на хозяев бешеных собак будет наложен большой штраф.

— Кто же, братишка, добровольно сознается, что его собака бешеная?

— Черт побери... Завтра надо собрать всех наших, Исмаил.— Я рассказал ему о том, что со мной случилось.— Вот так, Исмаил...

— Вот так...— повторил он, затем сказал: — Это собака тех самых табачников, которых ты видел на насыпи. Мы с Зией много раз пили кофе там под чинарой. Завтра я к ним схожу. Если б собака была бешеная, она бы еще кого-то покусала, до тебя. Табачники прикончили бы ее.

— А почему ты думаешь, что я не мог быть первым?

Собрались опять в двухэтажном домишке Хюсню. Внизу — каменный вестибюль, второй этаж — деревянный, некрашеный, всего в две комнаты. Окна забраны деревянными решетками. Как всегда, при свете тусклой лампы участники собрания сняли внизу обувь и поднялись наверх. До чего мне нравятся эти чистые тахты, покрытые батистовыми чехлами! Сосновые доски вымытого, выскобленного и светлого, как смола, пола еще не совсем просохли. Пахнет лавандой, влажными досками, мылом — кажется, адрианопольским. В соседней комнате плачет полугодовалая дочка Хюсню.

Собрание открыл Хюсню. Я рассказал суть дела. Слово взял Исмаил.

— Я сходил к табачникам. Они говорят, что собаку задавило автобусом.

Хюсню, как всегда, небритый, с густой щетиной на щеках, но в неизменно чистой рубахе, спросил:

— Когда задавило?

— Говорят, сегодня утром.

— Этим людям можно верить? Может, они просто боятся штрафа?

— Ты хочешь сказать, что собака паверняка была бешеная?

Хюсню, сделав вид, что не замечает напряженного взгляда Ахмеда, повернулся к Исмаилу:

— Все может быть... Ты не сказал им, что собака укусила Ахмеда?

— Ты спятил, братишка?

Молодая женщина в белой косынке, как всегда, принесла кофе. Когда она наклонялась, ее набухшие от молока груди туго натягивали ткань платья.

Ахмед, отхлебывая кофе маленькими глотками, старался говорить так, будто дело его не касалось:

— Значит, собака подохла от бешенства, а хозяева, боясь штрафа, утверждают, будто ее задавил автобус. Может быть... Как сказал Хюсню, все может быть... Однако не исключено, что эта тварь была здорова и ее в самом деле задавил автобус. А на меня она набросилась мало ли почему. Злая просто... Верно, Исмаил?

— Все может быть... Помнится, она как-то набросилась и на Зию.

— С чего бы это? — спросил Хюсню.

— Да он затеял с ней игру. То бросит кость, то отнимет.

Ахмед внимательно выслушал, потом сказал:

— Я у нее костей не отнимал. Но ведь, случается, собаки и просто так кусают. Собака есть собака... А вот за то, что я нарушил дисциплину, вышел без разрешения из дому, можете объявить мне строгий выговор, и вопрос будет исчерпан.— Я глубоко вздохнул. Сердце у меня колотилось все сильнее, и мне вдруг стало очень грустно.— А если собака и впрямь была бешеная? Значит, я тоже заболел, стану бешеным.— Мне захотелось рассмеяться: в слове «бешеный», ей-богу, есть что-то комичное.— Чтобы не заболеть, мне придется поехать в Стамбул и сделать прививку. Главный врач больницы знает меня...

Заговорил Хюсню:

— Мы недавно решили, что тебе нельзя ездить в Стамбул. Но то, что произошло, меняет суть дела. Возможно, тебе удастся съездить туда и не угодить в руки по-

лиции. Доктор, говоришь, тебя знает? Авось не выдаст...

Женщина в белой косынке вошла, собрала пустые чашки и вышла.

Начал я:

— Вкратце дело обстоит так.— Собственно говоря, всем и так все ясно. Повторяться не стоит. Но из какого-то нелепого чувства противоречия я повторяю: — Возможны три варианта. Я попадаюсь полицейским либо по дороге, либо в Стамбуле по доносу врача. Врач не решается тайно сделать прививку человеку, которого разыскивает Трибунал независимости. Я еще не болен и не уверен, что заболею, но попадаю в Трибунал независимости. Второй вариант: собака бешеная. По пути в Стамбул меня не ловят. Доктор оказывается порядочным человеком. Он делает мне прививку, и я выхожу сухим из воды. Третий вариант: собака не бешеная. По пути в Стамбул меня ловят, или доктор доносит в полицию, и я ни за пощюшку табаку опять-таки попадаю в Трибунал независимости. Попадаюсь дуриком. Да, есть и четвертый вариант: собака бешеная, в Стамбул я не еду, прививку не делаю, значит, заболеваю. Так ехать мне или нет?

Решение не приняли. Сказали: как хочешь, так и поступай.

Ахмед, как всегда, вышел первым, Исмаил догнал его там, где становился слышным стук движка. Шли молча.

Когда, придя к себе, они зажгли лампу, Ахмед сказал:

— Я все продумал. В Стамбуле мне нельзя появляться.

Исмаил промолчал. Лег в постель. Ахмед наклонился к брюкам, лежавшим на табуретке, вытащил из заднего кармана пистолет, положил его на одежду Исмаила.

— Ты что?

— Пистолет я передаю тебе, Исмаил.

— Зачем?

— Мало ли что может случиться. А вдруг заболею? Пятьдесят шансов из ста...

— Может, все-таки поедешь в Стамбул?

— Нет. Заболею ли я — еще вопрос. Пятьдесят шансов из ста. Зато в докторе я не могу быть уверен на все сто. Да и в пути могу попасться. Не еду в Стамбул... Если заболею, ты меня пристрелишь, бросишь в эту яму... закопаешь... чтобы и духу моего не осталось... — все эти слова: «пристрелишь», «бросишь в яму» и особенно «чтобы духу не осталось...» — я говорю словно в пику Исмаилу. — К тому же ведь никто не знает, что я здесь. — Я улы-

баюсь.— На всякий случай я оставляю записку, что, мол, сгубил себя из-за несчастной любви.— Впервые опускаюсь до такой пошлости, черт побери! — Вот так, Исмаил.

— Ей-богу, ты рехнулся.

— Почему же? А вдруг дойдет до того, что я начну бросаться на тебя?

Он не ответил.

— Ты умеешь стрелять из пистолета?

— Умею.

— Метко стреляешь?

— Вроде бы да.

Я походил из угла в угол, остановился перед шкафом, открыл дверцу, закрыл опять.

— Давай-ка ложись.

— Принеси мне завтра медицинский справочник.

— Зачем он тебе?

— Почитаю о бешенстве. Любая болезнь начинается исподволь. Должны же быть какие-то симптомы у этой пакости... До того, как человек начнет кусаться, до того, как он станет выть, пуская слюну...

— С чего ты взял, братишка, что эта болезнь так протекает?

— Когда-то смотрел одну пьесу в Стамбуле. Мухсин играл в главной роли. Пьеса, кажется, называлась «Смотритель маяка». Там был такой эпизод: однажды штормовой ночью на маяке среди моря, когда всякая связь с берегом прервана, один из сторожей, у него бешенство, бросается на другого зрителя, своего отца... И вот там он воет.

— Ладно, ложись. Лампу погаси.

— Не забудь завтра принести справочник.

— Если найду.

— Что значит, если найду? Обязательно принеси!

— Ладно, ладно...

В ту ночь движок тарахтел как никогда громко, будто его перетасили под стены нашей хижины.

— Исмаил...

— Что?

— Ты спишь?

— Не спится.

Сквозь дверные щели сочится лунный свет.

— О чем думаешь, Исмаил?

— Ни о чем...

Так не бывает, чтобы человек ни о чем не думал. Но

Ахмеду хочется, чтобы сейчас весь мир, и тем более Исмаил, думал только о нем и о его беде. А у Исмаила на уме его мать...

ШЕСТАЯ ЧЕРТОЧКА

Книгу, принесенную Исмаилом, Ахмед швырнул на постель. Они молча поели. Когда закурили, Ахмед спросил:

— Что ты прочел в справочнике, Исмаил?

— Ничего!

— Не злись. Человек и впрямь воет, как собака?

— Воет.

— Что там еще говорится?

— Прочти сам, узнаешь.

— На сороковой день...

— Да, на сороковой, сорок первый.

Ахмед забрал книгу из рук товарища, положил ее на свою одежду. Задул лампу. Некоторое время они молчали.

— К чему эти фокусы, братишка? — сказал Исмаил. — Зажги лампу, почитай.

Я зажег лампу. Стал читать вслух. Сначала головные боли, ломота в суставах, общее недомогание, потом потеря аппетита, беспричинный страх, боязнь воды, света, потом слюнотечение, мучительное желание бросаться на людей, кусаться, выть. На сороковой день паралич, на сорок первый...

Я встал. Из коробки с углем достал кусок мела. Вывел на двери шесть черточек. Шесть белых черточек.

— Что это, Ахмед?

— Сегодня шестой день, Исмаил.

— Ты спятил, братишка, ей-богу... — Он закурил сигарету.

«Черт знает что творится с парнем. Может, и не заболит, но дойдет до ручки за эти сорок дней».

Исмаил задул лампу. В темноте Ахмед ясно видел шесть меловых черточек, белевших на двери.

...Черточки, которые я вывел на двери дачи, Аннушка заметила только на седьмой день.

— Что это, Ахмед?

— Сегодня наш седьмой день. Нам осталось тринадцать, Аннушка.

— Что потом — известно. Кончится твой отпуск, кончатся мои каникулы, и мы вернемся в Москву.

* * *

— Послушай, Ахмед...

— Что?

— Вчера ночью ты так кричал во сне, словно тебя душили. Должно быть, кошмары замучили.

— Во всяком случае, не от бешенства... У меня даже голова не болит. Просто привиделось что-то. Со мной так же и раньше бывало. Если опять буду кричать, ты меня потормоши, и я перестану. Во сне мне иногда кажется, что хочу проснуться и не могу. Будто бы я знаю, где нахожусь, но такое ощущение, что я совсем в другом месте. И от этого кажется, если тут же не проснусь, то отдам богу душу. Однажды Аннушка... Я же сказал, не пугайся. Потормоши меня, и все...

Вчера утром, уходя на работу, Исмаил оставил пистолет дома.

— Завтра возьми с собой пистолет, Исмаил, ладно?

Исмаил не ответил. Видимо, заснул.

...Город Батум похож на шахматную доску. Дождь в Батуме может лить хоть сорок дней и сорок ночей, но стоит выглянуть солнцу, улицы, мощенные галькой, высыхают в один миг.

В Батуме, в номере гостиницы «Франция», я сел за стол... Любые деревья, цветы, травы, какие только произрастают в тропиках, есть в Батуме, в Ботаническом саду на Зеленом мысе: смотри, трогай, нюхай. Летом тысяча девятьсот двадцать второго года на батумском пляже мужчины и женщины загорали вместе совершенно голые, в чем мать родила. Я попал сюда из Анатолии, где женщины оставляют открытыми только кисти рук, ступни да глаза, и то лишь на рынках... Руки и ноги крестьянских женщин — корни старых олив... Но иногда, встретившись на базаре с парой женских глаз, выглядывающих в щелку между двумя кусками материи, я пытался вообразить, какова она, обладательница этих глаз, как она сложена, какое у нее тело. А когда постоянно видишь полную наготу, к ней быстро привыкаешь, потому что воображению не остается никакой работы. Очень скоро я перестал за-

мечать наготу женщин, лежавших на батумском пляже...

В Батуме, в номере гостиницы «Франция», я сел за стол. По улице проходит красная кавалерия. Конники утомлены, голодны, зато мир принадлежит им... Сегодня вечером митинг. Пойду. Беспрерывно стучат деревянные подошвы о батумскую гальку: тук-тук, тук-тук, тук-тук...

В гостинице «Франция» я сел за стол. А есть так хочется, терпения нет! За день я съедаю четверть фунта черного хлеба, две порции супа из кукурузной муки и выпиваю два стакана чая с сахарином. А в нем плавают рыбы головы. Не в чае — в супе. Лакированные туфли я давно продал. Купил их у меня крестьянский парень аджарец. Собираюсь, говорит, жениться. Невесте в подарок купил мои туфли. За сколько миллионов рублей? На пароходе, когда плыл из Трабзона в Батум, я спрашивал у матросов и офицеров: «В Батуме деньги имеют хождение? Поскольку там коммунизм, как я понимаю, деньги отменены?» — «У меньшевиков деньги в ходу, а у большевиков нет, — отвечали мне. — Коммунизма мы не знаем. Но коль скоро Батум сейчас у большевиков...» У меня было с собой пятьдесят лир. Раздал матросам. Только одну лиру оставил себе, просто так, на память. Пароход, доставивший меня в Батум, взял груз оружия и боеприпасов и вернулся в Трабзон. Потом я узнал, что кое-кто из наших матросов, да и офицеров — должно быть, из числа тех, кто говорил: «Коммунизма мы не знаем», — промышляли тогда контрабандой.

В Батуме, в номере гостиницы «Франция», я сел за стол. Ножки у него резные, да и весь он, этот овальный стол, резной, позолоченный. Стиль рококо... У моего деда в гостиной скутарийского ялы тоже есть стол в стиле рококо. Ро-ко-ко... Тридцать пять дней, — тридцать пять лет, — я, стамбульский отпрыск знатного рода, точнее — внук паши, путешествовал с берегов Черного моря в Анкару, потом в Болу, городок, где мне пришлось учительствовать. Так я познакомился с Анатолией, и вот теперь все это — все, что я видел там и пережил, — лежит передо мной в Батуме, в номере гостиницы «Франция», словно рваный, окровавленный платок на столе в стиле рококо...

Смотрю, и опять мне хочется плакать. Смотрю, и опять кровь ударяет мне в голову. Смотрю и опять отчаянно стыжусь скутарийского ялы.

Решай, дружище, говорю я себе, решай... Но ведь и так все решено. Мосты сожжены. Постой, дружище, не спеши. Выкладывай все свои сомнения на этот стол, рядом

с твоей Анатолией. Чем ты можешь пожертвовать? Что можешь отдать? Все, что у меня есть, все... Свободу? Да! Сколько лет ты готов ради этого просидеть в тюрьмах? Если потребуется, хоть всю жизнь... Но ты же любишь женщин, любишь есть, пить, хорошо одеваться. Ты мечтаешь объехать Европу, Азию, Америку, Африку. Так оставь же свою Анатолию здесь, на столе в стиле рококо, махни из Тифлиса в Карс, а оттуда вернись в Анкару! Не пройдет и четырех-пяти лет, как ты станешь депутатом, а там, глядишь, и министром. Женщины, яства, вина, искусство — все твое!

Брось! Если потребуется, могу просидеть в тюрьмах хоть всю свою жизнь. Но если ты станешь коммунистом, тебя могут повесить, утопить, убить, как убили Субхи и его товарищей. Ты к этому готов? Готов. Я спросил себя: неужели ты не боишься, что тебя могут убить? Не боюсь, ответил я. Ты ответил не думая? Нет, я все продумал до конца. Сначала был страх, а потом исчез. Я не боюсь смерти. И тогда я спросил себя: увечия ты тоже не боишься? Готов ли ты потерять ради этого ногу, руку, оглохнуть? Заболеть чахоткой, сердечной болезнью, ослепнуть? Ослепнуть? Ослепнуть... Подожди, вот этого я не учел. Я встал. Крепко зажмурил глаза. Ощупывая руками вещи, обошел комнату. Споткнулся и грохнулся на пол. Но глаза не открыл... Потом встал у окна. Открыл глаза. Да, готов и ослепнуть. Может быть, это ребячество, может быть, это смешно. Но так!

Не книги, не уговоры, не мое социальное положение привели меня туда, куда я пришел. Меня привела туда Анатолия. Анатолия, которую я разглядел еще так плохо, с одного только краешка. Мое сердце привело меня туда, куда я пришел... Вот так...

СЕДЬМАЯ ЧЕРТОЧКА

Ахмед проснулся в предутренней тьме задолго до того, как Исмаил поднялся с постели. Прикидываясь спящим, он из-под прищуренных век наблюдал за Исмаилом. Тот оделся, взял пистолет, повертел в руках, сунул в карман. Достал из шкафа колбасу и хлеб, стоя поел. Осторожно открыв дверь, выскользнул наружу и так же осторожно закрыл ее за собой. Ахмед все еще лежал, смежив веки. И вдруг почувствовал, что в хижине, снаружи ее, на шоссе, на насыпи с чинарой, на жестких тахтах Хюсю, в ве-

стибюле Шюкрю-бея, на пожарище в Измире, на Тверском бульваре в Москве, на даче у Аниушки, в море, в мире чего-то не хватает. Что-то пропало. Когда? Пока он спал? Но он не спит уже часа три. А это чувство возникло только что, вдруг, сию минуту. Только что, вдруг, сию минуту оборвался шум движка. Ахмед прислушался. Не к звукам, не к шороху, а к тишине.

...Си Яу, как всегда, вошел в комнату на цыпочках. Никогда еще он так поздно, вернее, рано, не возвращался. За обледенелыми стеклами двойных рам падал снег. Я знаю, откуда пришел Си Яу. Он сел за стол.

Стол, должно быть, больше двух метров в длину и восемьдесят — девяносто сантиметров в ширину. Почему не метр? А ну-ка, измерю. Длиннее, чем яма? Выходит, я собственными руками выкопал себе могилу, черт побери! «Пускай мне выроют могилу у дороги», — есть такая песня. Нянька пела мне ее в Скутари, а я плакал. Исмаил пистолет взял.

...Си Яу слез со стола, вытащил из комода кусок слоновой кости и набор резцов. На голове у него шляпа. Два месяца назад нас с Си Яу поселили вместе в этой комнате, потому что я руководитель самодеятельного ансамбля турецких студентов, а он — китайских. Си Яу не раз показывал мне свои еще не совсем законченные произведения из слоновой кости: китайские девушки, одна другой нежнее и красивей, все печальные, все друг на дружку похожие, гибкие, как плети плюща; лысые, безбородые старики китайцы сидят, подобрав под себя ноги, а их жирные, голые животы складками спадают на колени. Но над этим куском слоновой кости Си Яу трудится уже целый месяц... Он расстраивается при одной мысли, что я могу увидеть его работу. И я притворяюсь, что не вижу. Но отлично знаю, чье лицо он сейчас вырезает.

Затрещал будильник. Си Яу сунул в карман то, что держал в руках. Когда он снял шляпу? Значит, я некоторое время все-таки дремал. Будильник трещит так, будто и не собирается смолкнуть.

* * *

Исмаил всегда прячет свой будильник под подушку. Я его ни разу не слышал.

— Ты только что пришел, Си Яу?

— С чего ты взял?

— У тебя постель нетронута.

Он молчит, но видно, что первничает. Ему хочется скрыть от меня, что он недавно пришел. Его злит, что я этого не понимаю или — что еще хуже, — понимая, все-таки пристаю к нему с расспросами.

— Ты опять был с Аннушкой? — Си Яу взглянул на меня так, будто я совершил нечто постыдное. — Я знаю, ты ее любишь. — Он продолжает смотреть на меня все с тем же выражением. — Разве такие вещи скрывают от товарищей? Аннушка тоже любит тебя?

Мне стыдно за себя, но то, что он провел с Аннушкой всю ночь — я не думал о поцелуях и всем прочем, я знаю, они просто бродили по набережной Москвы-реки, даже не взявшись за руки, своими глазами видел, — но то, что он провел с ней всю ночь, сводит меня с ума, и это я понимаю именно сейчас.

— Аннушка тоже любит тебя, верно?

— Нет.

Снег перестал. Скамейки на Тверском бульваре кое-где заняты. Я поднимаюсь к Страстной площади. Мимо меня проносятся сани. Эта собака — овчарка. Не рыжая, черная. Овчарки рыжими не бывают. Идет рядом с девочкой.

* * *

Бешеная собака кусает человека. Подкрадывается сзади и вцепляется в левую икру... Уходя, Исмаил не прикрыл дверь как следует, и теперь утренний свет пробивается сквозь щель.

...Я готовлю статью о влиянии Великой Октябрьской революции на русскую и мировую живопись. Сажу в университетской библиотеке. Меня окружает тишина, напоминающая осеннее безмолвие в саду за скутарийским ялы. Передо мной книги и материалы по моей теме. Но сегодня вечером я и не приступал к работе. Не хочется. Утром

безо всякого интереса отсидел на лекции даже по самому любимому моему предмету — политэкономии. Кроме меня в библиотеке еще двое. Один из них — русский, я его знаю. Молодой парень. Потерял обе руки на гражданской войне. Страницы книги листает палочкой, зажатой в зубах. Другого вижу впервые. Судя по одежде и чертам лица — монгол.

На свободном столе слева от меня лежит подшивка «Правды» за двадцать второй год. Взял верхнюю стопку. На первой полосе новогодние обращения: «Помните, товарищи: Новый год — новые могилы в Поволжье, если дающая рука рабочих и крестьян оскудеет. Наши новогодние пожелания: победа над голодом, восстановление промышленности, хороший урожай, хорошая пролетарская революция во всем мире». Просматриваю другие сообщения: египетский народ борется за национальную независимость, чехословацкое правительство направило голодающим России тринадцать миллионов крон. Листаю подшивку дальше. 3 января: всеобщая забастовка немецких железнодорожников, забастовка печатников в Китае, Англия накануне забастовки шахтеров. 10 января: увеличивается добыча бакинской нефти, в Ирландии идут уличные бои. 14 января: «Когда получаешь жалованье — вспомни о голодающих... Когда кормишь своих детей — не забывай о детях Поволжья, покинутых умирающими от голода родителями!» Ищу что-нибудь о Турции. Нашел! 7 февраля: Фрунзе делает заявление, вернувшись из Анкары: Украина и Турция заключили договор. Национальное собрание — за укрепление дружбы с Советской Россией, задача народов и правительств Кавказа — способствовать экономическому и культурному сближению с Турцией.

10 февраля снова выступает товарищ Фрунзе: «Когда-то, во времена царизма, среди широких масс турецкого народа играл крупную роль страх перед надвигавшейся с севера империалистической опасностью. Страх перед Москвой являлся характерным психологическим моментом турок. Теперь наоборот... Отношение турецкого народа к российско-украинской и другим советским республикам остается вполне дружественным».

В одном из мартовских номеров нашел еще одно сообщение: турки выразили благодарность Советскому правительству за то, что оно высказалось за участие Турции в Женевской конференции.

Пришел Петросян, секретарь университетской партийки. Сегодня он был без ордена. Заглянул через мое

плечо в «Правду», расстеленную, словно скатерть, на столе.

— Газета за двадцать второй год,— шепнул я ему,— а кажется, не год прошел, а целых десять.

— Где-то в ноябре — декабре была статья по вопросам нашей сельскохозяйственной политики,— тихонько сказал он мне на ухо.— Если попадется, запиши для меня номер газеты.

Петросян занимается земельной проблемой на Среднем Востоке. «Если как следует поработать,— говорит он,— за три года закончу». А у него рак. Он знает, что проживет еще полгода, самое большее год.

...Персия пожертвовала для голодающих детей Поволжья 300 пудов риса и 23 пуда кишмиша. Соединенные Штаты Северной Америки направили семь грузовых пароходов с кукурузой. Английский кабинет отказался ассигновать деньги для оказания помощи России.

Пятнадцатое марта: «Сегодня начинается двухнедельная проверка помощи голодающим. Пусть каждая организация, пусть каждый гражданин честно ответит на вопрос, все ли он сделал возможное для спасения погибающих от голода? Пусть будут пригвождены к позорному столбу и несут клеймо убийц те, кто до сих пор оставался глух к стонам умирающих от голода». Шведские коммунисты послали 1560 пудов муки и рыбы и 20 тысяч крон. Речь Ленина на XI съезде РКП. Фашистская диктатура в Италии. Снова вести от наших: турецкие коммунисты приветствуют освобождение Владивостока. Национальное собрание приняло резолюцию о прекращении деятельности константинопольского правительства.

За окнами мягкими большими хлопьями сыплется снег. Безрукий парень быстро-быстро листает страницы деревянной палочкой, зажатой в зубах.

Седьмое ноября: «Привет тебе, рабочий Запад, ты поддерживаешь рабочую республику России! Особенно вам, немецкие молотобойцы коммунизма, свалившие Вильгельма. Разбивайте новый окровавленный трон короля Стиппенса!» В том же номере Ленин поздравляет «Правду»: «Дорогие товарищи! Поздравляю вас горячо с пятилетним юбилеем Октябрьской революции. Мое пожелание: чтобы в следующее пятилетие мы завоевали, и притом мирно, не меньше, чем до сих пор завоевали вооруженной рукой. Ваш Ленин». В том же номере: «Юность, юность! Иди же скорей уходящим на смену!»

Вошел Хасан. Сделал вид, будто не замечает меня. Сел

за отдельный стол налево от меня. Хасан — из унтер-офицеров султанской армии. Взятый в плен царскими войсками на Кавказе, он затем был отправлен на работы в Сибирь. В восемнадцатом году примкнул к большевикам. В девятнадцатом году познакомился с Мустафой Субхи. Кажется, нет такого фронта, где бы он ни сражался с белыми: воевал против Колчака, белочехов, Врангеля. В составе сформированного Мустафой Субхи Красного турецкого полка боролся против дашнаков и грузинских меньшевиков. Сейчас изучает в университете философию, но мечтает стать инженером-электриком. Меня недолюбливает. Думаю, потому, что я смог запросто попасть в Московский университет, не послав ни одной пули в классового врага. Кроме того, никак не может простить мне, что я внук паши.

Я вернулся к «Правде» от седьмого ноября: «Всем товарищам, взятым в железо буржуазными жандармами; всем сидящим в каменных мешках и подвалах тюрем; всем преследуемым, гонимым; всем, кого пытаются, мучат и казнят за их верную службу коммунизму — через стены их тюрем, через границы, через головы палатей — в пятую годовщину пролетарской победы пламенный наш привет!»

Вошла Аннушка. Я низко склонился над «Правдой», но краешком глаза слежу за ней. Она меня увидела. Хотела было подойти, но раздумала. Я не видел, но почувствовал, что она села позади меня, неподалеку от двери.

«Правда» призывает: «Очистить Сибирь от японцев», «Держать твердый тон с интернациональным капиталом», «Установить общий деловой язык с Америкой», «Внести равновесие в бюджет, прекратить холостой ход заводов». Нашел статью, нужную Петросяну, — «Задачи нашей сельскохозяйственной политики». Встал, Аннушка и в самом деле сидит за столом позади меня, неподалеку от двери.

— Выйдем на минутку, — прошу я ее.

Я вышел в коридор. Вышла и она.

— Что вы хотите?

— Ты вчера ночью гуляла с Си Яу по набережной Москвы-реки?

— Какое вам дело?

— Парень с ума по тебе сходит... — Она молчит, не отвечает, только голубизна ее глаз потемнела. — Ты тоже любишь Си Яу?

— Почему бы и нет? Чего вы, собственно говоря, от меня хотите? Зачем позвали?

— Что ты сейчас читала?

Она улыбнулась. Маленькая ямочка появилась на правой ее щеке, только на правой.

— Есенина... Еще вопросы есть?

— Нет.

* * *

Не думай, Исмаил, что она ломалась и набивала себе цену, это не так. Я и мысли не допускал, что она может оказаться ломакой и пустышкой. Будь эта девушка такой, я бы с первого взгляда понял. Да и к чему ей притворяться именно передо мной? У нее и без того хватает поклонников. Все университетские парни вьются вокруг нее. Но только с одним Си Яу она на «ты». С другими тоже шутит, смеется, танцует на вечерах, но дистанцию держит. К тому же ни у кого из ребят не хватает смелости пойти дальше в своих ухаживаниях. Боятся стать посмешищем в глазах окружающих.

...В тот вечер китайцы отмечали знаменательную дату в истории своего революционного движения. Си Яу провел Ахмеда в зал университетского клуба еще до начала торжества. Сцена была убрана гирляндами цветов.

— Где вы набрали столько цветов среди зимы?

Оказалось, цветы бумажные. Си Яу положил на ладонь Ахмеду лепесток абрикосового цветка, на котором сидела красная божья коровка в белых крапинках. Тоже из бумаги.

— Кто разглядит эту букашку, Си Яу?

— Кто в этом разбирается... Кроме того, мы стараемся самим себе доказать свое мастерство.

Красные полотнища, спускавшиеся по стенам до самого пола, испещрены китайскими иероглифами. Я могу начертить по-китайски свое имя.

Студенты и гости, спеша и толкая друг друга, с шумом ввалились в зал. Больше всех в толпе выделялись не китайцы и японцы и даже не негры, а кавказцы и туркестанцы. Возможно, из-за их халатов, тюбетеек, пистолетов, кинжалов. Они и по городу ходят в национальных костюмах, с пистолетами и кинжалами.

На сцене висели портреты Маркса, Энгельса, Ленина, руководителей партии большевиков. Портреты Маркса и Энгельса поместили выше всех. Рамы украсили цветами.

В почетный президиум под гром аплодисментов были

избраны лидеры мирового коммунистического движения. Петросян предоставил слово Ли. Огромный парень. Большинство из нас не понимает по-китайски. Мы все время следим за реакцией китайцев и, как только они начинают хлопать, поддерживаем их, иногда, правда, с некоторым опозданием. Аплодисменты то и дело прерывают выступление Ли.

В эти минуты я представляю себе картину: земной шар, опутанный цепями, и гигантскую фигуру рабочего, который бьет молотом по этим цепям. Я слышу, как с шумом рвутся цепи, и ржавые, тяжелые звенья разлетаются в разные стороны.

Впереди меня сидят несколько пожилых англичан, работающих в Коминтерне, студент-индус и еще — Аннушка.

Ли кончил свою речь, и ее начали переводить на русский язык. Я верю каждому слову Ли. С такой страстью и пылом он говорит о мировом капитале, что я начинаю видеть громадную паутину, сплетенную из заводских дымов, а в центре паутины — злобное чудовище: паук со свиным рылом и человеческими руками вместо лап. Короткие пальцы, унизанные бриллиантовыми перстнями, он запустил в сваленную перед ним грудку золотых монет.

Аннушка обернулась, наши взгляды встретились. Она улыбнулась краешком своих полных губ. Уши у Аннушки такие маленькие и розовые, словно у четырнадцатилетней девочки. На сцену вышла девушка-украинка, заговорила по-украински. Аннушка взбила волосы на затылке. Украинскую девушку зовут Лена Юрченко. Она шатенка. Когда она говорит, ямочки появляются на обеих ее щеках, а не только на правой, как у Аннушки. Чем-то неувловимым она напоминает мне наших стамбульских девушек. Все, что говорит Лена Юрченко, мне понятно.

На одной из стен чья-то рука вывела: «III Интернационал». Под подписью нарисован капиталист, в страхе перед какой-то невидимой угрозой он повалился назвничь. Цилиндр — в одну сторону, брюхо — в другую... Мы спели хором «Интернационал», каждый на своем языке, но слово «Интернационал» произносили одинаково и в одно и то же время. Только по-китайски это слово звучит по-другому.

В фойе я подошел к Аннушке и спросил:

— Ты останешься на концерт?

— Нет, ухожу.

— Можно проводить тебя до дому?

Ночь была темная. Даже свечение снега не делало ее светлее. Мы шли от бульваров к Москве-реке.

— Моего отца убили у меня на глазах,— сказала вдруг Аннушка.

— Колчаковцы расстреляли, я слышал.

— Постучались к нам в дверь. Мама открыла. Они ворвались в комнату отца. Два офицера. Я тоже была там. Один из них, белобрысый с водянисто-голубыми глазами навывкате, вынул пистолет и выстрелил отцу в голову. Три раза...

Я не спросил: что сделали с вами потом, как вы смогли добраться до Москвы, правда ли, что мать умерла от тифа? Вместо этого я сказал:

— А я рисую, художник...

— Знаю. Я видела ваши картины. В общежитии...

— Так ты была в нашей комнате? Когда?

— Одна из ваших картин мне понравилась. Очень понравилась... Две — так себе... Остальные совсем не понравились.

Почему Си Яу скрыл от меня, что Аннушка приходила? Когда это было? Что они делали? Сердце у меня болезненно сжалось. Но тут же я почувствовал страшный стыд. Ну и стервец же этот Си Яу!..

— Почему вы молчите?

— Си Яу делает твою статуэтку из слоновой кости. Ты знаешь?

— Не знаю... Когда-то я попросила его вырезать мне кошку. Я очень люблю кошек. Но у него никак не получается. Не умеет.

— Принеси мне свою кошку, я нарисую ее.

— У меня нет кошки...

— Тогда я нарисую просто кошку. Ангорскую, огромную такую.

— Правда?

— Зачем мне врать?

Мы вошли в сад у храма Христа Спасителя, выходящего фасадом на Москву-реку.

— Первый раз прихожу сюда зимней ночью,— сказала Аннушка.

На скамейках под заснеженными кустами сидели парочки. Мы с трудом нашли одну свободную, в отдаленном углу сада, на открытом месте.

— А верно, Аннушка, ты считаешь меня испорченным и грубым?

— Нет, не считаю. Но было бы лучше, если б вы не

подчеркивали своей грубости. Вы думаете, так нам будет легче забыть, что ваш дед был пашой?

— От кого ты узнала, что я внук паши? Наверно, сказал кто-нибудь из наших, турок...

— Никто не говорил. Я прочла в вашей анкете.

— Ты читаешь анкеты всех студентов?

— Нет... Только вашу читала.

Я не спросил почему. Она сумела бы найти подходящий ответ на этот вопрос. Но вышло так, что я сам придумал за нее ответ, притом самый что ни на есть неподходящий...

Вдруг раздались милицейские свистки. И тотчас поднялась паника. Кто-то убегал, кого-то хватали. Крики, женский визг, ругань.

— Вот еще двое здесь! Держите их!

Ахмед и Аннушка даже не успели сообразить, что происходит, как милиционер с густыми усами подскочил к ним и крикнул:

— Вы задержаны! Следуйте за мной!

Ахмеда с Аннушкой подвели к довольно большой группе мужчин и женщин, которых вооруженные милиционеры выводили из сада. Он впервые попал в такую переделку. Правда, он слышал от товарищей, что это место лучше обходить стороной. Но кто мог знать, что так получится?..

— Убери руку,— сказал Ахмед усатому милиционеру, крепко вцепившемуся в рукав Аннушки.— Мы студенты университета.

— Я не студентка. Я машинистка...

— Расскажите в участке! — Усатый свистнул несколько раз.

Подошел еще один милиционер, безусый.

— Гляди-ка, упираются!

Аннушка, вырвавшись из рук усача, сказала:

— Мы не упираемся, но в чем дело? Чего вы от нас хотите?

— Чем вы тут занимались?

— Сидели.

— Просто так сидели?

— Да, просто так,— ответил Ахмед.

— Что-то не похоже.— И вдруг, смерив Ахмеда пристальным взглядом, спросил: — Грузин?

— Турок. Политэмигрант. Коммунист.

Безусый милиционер взял протянутые Ахмедом документы, при свете электрического фонарика внимательно изучил их.

— Они что-нибудь делали, когда ты их накрыл? — спросил он усача.

— Не... Но зачем они тогда пришли сюда? Рано или поздно наверняка занялись бы...

— Мы не знали, что это плохое место, — сказала Аннушка.

— Теперь будете знать.

— Больше не придем...

— Если желаете, можете посидеть еще немного. Но я на вашем месте немедленно убирался бы отсюда...

Ахмед и Аннушка вышли из сада. Оба, сами того не замечая, смущенно усмехались. Молчали. У обоих сквозь замешательство и неловкость стало пробиваться какое-то странное, немного стыдное и в то же время теплое чувство. Под аркой Аннушкиного двора, в темноте, Ахмед внезапно притянул к себе девушку и поцеловал в губы. Она не сопротивлялась, но губы ее оставались безжизненными и холодными. И тут пронзительная догадка полыхнула во мне, будто молния. Она ведь не умеет целоваться! Я взял ее голову в свои ладони.

— Ну-ка, взгляни мне в глаза... Ты до меня с кем-нибудь целовалась?

— Да.

— Неправда!

— Пусти меня!

Я хотел поцеловать ее еще раз. Она не далась.

Под вечер сижу дома и рисую кошку. За три месяца это уже восьмая или девятая кошка, которую я рисую для Аннушки.

— Она любит тебя, — говорит Си Яу.

— С чего ты взял? — спрашиваю я.

— Она сама мне сказала.

* * *

Тарахтенье движка — тук-тук, тук-тук, тук-тук-тук.

— Загаси лампу, Ахмед.

Прежде чем сделать это, Ахмед начертил мелом на двери седьмую черточку.

— Скажи товарищам, Исмаил, что я уехал в Стамбул. Пусть лучше они думают, что меня здесь нет.

— Ладно, ладно... Ложись!

Тарахтенье движка — тук-тук-тук, тук-тук-тук.

Четырнадцатую черточку Ахмед нанес, не дождавшись вечера, часа через два-три после ухода Исмаила. Он точно знал, что черточек теперь ровно четырнадцать, но на всякий случай пересчитал. Да, четырнадцать. Сорок один минус четырнадцать будет двадцать семь. Посмотрев сквозь дверные щели наружу, Ахмед отпрянул от двери, потом посмотрел еще раз. Молодая женщина, в желтом платке и шароварах, смуглая, босая, развешивала на кусте белье. Рядом с ней — голый по пояс парнишка. Парнишка посмотрел в сторону хижины. Ахмед сразу отскочил от двери, как будто мальчик мог его увидеть.

Должно быть, цыгане. Доносятся их голоса.

— Я войду в хижину, — говорит парнишка.

— Не войдешь, — отвечает женщина. — Не видишь, что ли, замок висит.

— Подумаешь, замок! Я его мигом открою.

Он подходит к двери и начинает возиться с замком.

Ахмед вжался в дальний угол. Мальчишка заглядывает через дверные щели.

— Там горит лампа, — говорит он.

Ахмед мысленно честит и парнишку, и лампу, и самого себя. Парнишка возится с замком, женщина сердито окликает его. Сквозь щели Ахмед видит, как мечутся две тени. Парнишка испускает вопль, получив увесистый шлепок, и вскоре наступает тишина.

Ахмед оцепенело простоял в углу, может быть, десять минут, может быть, два часа. Он потерял счет времени. Потом, ступая на цыпочках, — рехнулся я, что ли, разве мои шаги можно услышать снаружи, к тому же я босой, — приблизился к двери: женщина, сидя на корточках, возится с бельем, парнишка лежит на спине неподалеку от нее.

Ахмед вернулся в угол, притянул к себе табуретку, сел. Говорят, цыганки горячие. Керосин в лампе вот-вот кончится. Ахмед шагнул было к бидону, но вовремя вспомнил, что керосина нет. Исмаил обещал принести вечером. Снова опустился на табурет.

Снаружи донесся мужской голос. Мальчик снова говорит, что в хижине горит лампа.

— Должно быть, хозяин забыл потушить, — отвечает мужчина. Подходит к двери, заглядывает в щель. Пламя в лампе захлебывается и гаснет.

— Потушил, — говорит парнишка. Женщина раздраженно кричит:

— Какое вам дело до чужой лампы?!

— В хижине нечистая сила,— произносит парнишка.

Голоса снаружи оборвались. Ахмед встал, выглянул наружу, никого нет. Заткнул щели газетной бумагой. Лег навзничь на койку. Тьма-тьмущая. А что такое смерть? Это ведь не просто тьма. Не головные боли, не страхи, не судороги со слюнотечением, и не вытье, и не выстрел Исмаила, обрывающий мою жизнь. Это нечто, мысль о чем повергает в тоску более бездонную, чем тьма. Смерть — это даже и не тоска, черт побери!

Пришел Исмаил.

— На левом склоне холма цыганская семья раскинула шатер,— говорит он.— К утру, надо думать, уедут. Зие нравились цыгане. Он часто говорил, что, если б не дал обет безбрачия, обязательно взял бы в жены цыганку.

Ужинали не открывая двери.

— Хоть бы пилюли какие придумали против этого бешенства,— промолвил Исмаил,— чтобы не возиться с уколами. Придумают! Вот увидишь, когда-нибудь придумают и это.

— Мне придется проглотить пилюлю еще до того, как придумают,— буркнул Ахмед. И не улыбнулся.

— Ничего тебе не придется! — отрезал Исмаил и бросил взгляд на дверь, надо полагать, на белые черточки.

— Четырнадцать,— сказал Ахмед.

Около полуночи Ахмеду почудилось, что в дверь стучат. Он вскочил с постели.

Я открыл дверь.

Ахмед потер лоб. Смотрит на дверь хижины. Засекли нас, что ли? Прислушался. Лишь движок тарахтит: тук-тук-тук, тук-тук-тук.

...Я открыл дверь. Тысяча девятьсот двадцать первый год. Вот уже четыре дня и три ночи мы в Инеболу. Два незнакомых мне человека стоят перед дверью нашего номера. Сюда доносится звук морского прибоя. Два человека, в галифе и папахах, стоят перед дверью нашего гостиничного номера, их освещает сзади керосиновая лампа, горящая далеко в коридоре. Сулейман и Тевфик сели в своих постелях. Один из вошедших сказал:

— Одевайтесь, господа.

Тевфик Неджати спросил:

— Зачем?

— Скоро поймете. Собирайте чемоданы.

— Ваш покорный слуга тоже? — спросил Сулейман Рыза.

— Тоже.

В номере, освещенном ночником, царил полумрак.

— Кто вы такие? — спросил Тевфик.

— Из Айн-Пе.

Другой обратился ко мне:

— Вы можете не беспокоиться. Ложитесь.

Первый зажег лампу.

— Не шумите.

Это он сказал не мне, а Сулейману и Тевфику. У Сулеймана, когда он собирал свой чемодан, сильно дрожали руки. Собрав вещи, они шагнули за порог. Первый вышел вслед за ними, а второй бросил мне:

— Никуда не выходите из номера. Завтра мы вас вызовем.

— Хорошо, но...

— Ваших приятелей мы отправляем обратно в Стамбул, пароход отходит через час. Спокойной ночи.

Я остался один и вдруг подумал, что Сулейман и Тевфик даже не попрощались со мной. У меня стало мутно на душе.

...Четыре дня тому назад, когда мой дед пошел на утренний намаз в мечеть, что у skutарийской пристани, Сулейман, Тевфик и я сбежали из Стамбула в Инеболу.

В ту часть Анатолии, которую контролировали национально-освободительные войска, из оккупированного Антантой Стамбула можно было добраться двумя путями: либо сушей через Пендик, либо по Черному морю.

Сулейман состоит в родстве с одним из руководителей организации, ответственным за доставку оружия из Стамбула Мустафе Кемалю. Он-то и обеспечил нас тремя фальшивыми пропусками и билетами. В Сиркеджи мы сели на пароход — черную, рассохшуюся, совершенно плоскую посудину навроде большущего портновского утюга. Мы заперлись у себя в каюте. По стенам ползают тараканы. Теснота и ужасная духота. Тевфик прижался лбом к иллюминатору, всхлипнул: «Неужели мы больше никогда не увидим Стамбул? Неужели никогда не вернемся сюда?»

Пароход содрогнулся от запущенных моторов. Я вышел на палубу. Родственник Сулеймана предупреждал, чтобы мы оставались в каюте, пока пароход не окажется

в открытом море, однако стук винтов вселил в меня уверенность. К тому же у меня не хватило сил расстаться со Стамбулом, не насмотревшись досыта в последний раз на Сарайбурну, мост, свинцовые купола, игольчатые минареты, на Ташкышла...

Проходим мимо американского миноносца с мачтами, опутанными проводами. Возле Девичьей башни, перед Бешикташем, в извилах Босфора не протиснешься. Море кишмя кишит дредноутами, крейсерами, торпедоносцами, транспортными судами, раскрашенными в цвета маскировки в разные цвета. Сколько раз наблюдал я, содрогаясь от гнева, эти вражеские надменные толпища стальных, свинцового цвета громадин! Но сейчас я спокойно гляжу на них, я уверен в своих силах. Мне нет дела до того, что в водах стамбульского моря подводных лодок больше, чем кефали, скумбрии и тунца. Я еду в Анатолию, к Мустафе Кемалю-паше.

Я примостился на люке носового трюма, вокруг меня груды корзин, торб, сундуков, я затерялся в толпе палубных пассажиров, этих бедняков — мужчин, женщин, детей. Смотрю на свой город. Не на какой-нибудь один из его кварталов, не на береговой выступ или залив, а на весь город целиком. Я знаю: сейчас там, возле казармы и арсеналов, парами маршируют часовые — шотландцы, новозеландцы, индийцы из английской армии. Двигаясь, как игрушечные солдатики в кукольном театре, они приближаются друг к другу, сходятся, затем, одновременно повернувшись кругом, удаляются друг от друга, опять сходятся лицом к лицу. Я знаю: такой способ охраны очень подходит для нас. Когда часовые, повернувшись друг к другу спинами, расходятся, наши бросаются на них, конечно, ночью, и, прикончив их одним махом, пробираются в арсеналы. Если на часах стоят индийцы, особенно мусульмане, в ножах и прочем необходимости нет — эти бедолаги сдаются безо всякого сопротивления и даже помогают нашим иногда. Я знаю: мы убиваем врагов, моряков, пехотинцев, артиллеристов — французов, англичан, американцев, итальянцев, греков, мадагаскарцев, австралийцев, когда они разбивают наши окна, колотят наших ребятишек, бросаются на наших женщин.

Я вышел из ворот парка Гюльхане на улицу. Вечерет. Улица пустынна. Редко встретишь прохожего. И каждый идет, горестно понутив голову. Я некоторое

время постоял в нерешительности. Где-то на повороте проскрежетал трамвай. И тут я увидел: с верхней части улицы бежит женщина, закутанная в чаршаф. Я впервые вижу бегущую женщину в чаршафе. Наверно, от кого-то спасается бегством, кто-то ее преследует. Нет, она не кричит. Лицо плотно закрыто. Одна нога без туфли, поэтому женщина прихрамывает. По каким-то неуловимым приметам я догадываюсь, что женщина немолода. На другой стороне улицы, по тротуару, задумчиво бредет какой-то чиновник — я и сейчас могу присягнуть, что это был именно чиновник, более того, чиновник-финансист. Пробежав мимо него, женщина метнулась в мою сторону. Остановилась.

— Спасите меня, братья!

Может, она произнесла какие-то другие слова, но мой слух вырвал именно эти два — «братья» и «спасите».

В начале улицы показались два французских солдата из иностранного легиона. Бегут, размахивая во все стороны руками. Женщина рухнула к моим ногам. Чиновник с противоположного тротуара перешел на нашу сторону. В нижней части улицы у поворота в переулок какой-то мужчина обернулся, застыл на месте, настороженно всматриваясь в нас. Легионеры кувырком — мне так показалось, кувырком, — подкатились к нам. Я загородил собою женщину. Один из них дал мне в ухо боксерским хуком. Я зашатался, зажмурился от боли. Так и стою некоторое время с закрытыми глазами. Вдруг слышу голоса:

— Шинаси, примись-ка за того мерзавца, что слева.

— Готово!

Я открыл глаза. Легионеры безжизненно распластались на мостовой.

— Проваливай-ка отсюда подобру-поздорову, парень! (Это мне.)

— Обопрись о мою руку, сестрица. (Это женщине.)

— Эфенди агабей, ты тоже смывайся. (Это чиновнику.)

Их было трое. Мне показалось, что они молоды, но может быть, только показалось. В руках у них ножи. Один вытер свой нож о кушак и заткнул за пояс. Взяв женщину под руки, они скрылись в парке Гюльхане.

Мы убиваем их. Теперь они уже не только по всему большому Стамбулу, но даже и по центральным улицам, не только ночью, но даже и днем боятся ходить поодиночке. Я знаю, от страха они еще более ожесточаются. Вме-

сте с падишахской полицией врываются они в наши дома, подвергают в своих застенках наших людей пыткам, а оставшихся в живых ссылают в африканские пустыни или на острова, затерявшиеся в океанах. Я знаю: хотя они все еще больше ожесточаются, мы их убиваем, отнимаем у них оружие и переправляем в Анатолию. Однако среди тех, кто их убивает, кто переправляет оружие в Анатолию, меня нет. Я не умею ни убивать, ни переправлять оружие. Вот почему я ужасно обрадовался, когда Сулейман, с которым мы работаем в одной газете (я рисую карикатуры), предложил мне перебраться в Анатолию.

До Инеболу мы добрались за семьдесят пять часов.

В Инеболу нет ни причалов, ни набережной. Пароходы встают на рейде, пассажиров доставляют на берег и на корабль в рыбацких лодках. А в штормовую погоду суда и вовсе проходят мимо Инеболу без остановки.

Инеболу был первым анатолийским городком, который я увидел. Анатолийскую женщину-крестьянку я тоже впервые увидел здесь, на местном базаре. Она присела на корточки у стены, даже не сбросив со спины вязанку дров. Я обратил внимание на ее ступни, похожие на двух огромных черепах, лишенных панцирей. Я увидел ее руки: священные ее руки, державшие веревку от вязанки дров, эти руки были гневными, словно сжимали топориче, были терпеливыми и нежными, словно качали колыбель.

Тевфик, Сулейман и я вот уже три ночи и четыре дня в Инеболу. Тевфик — поэт. В прошлом году он за одно свое стихотворение получил от падишаха орден. По этому поводу он дожимал нас пыткой всю дорогу: «Как бы история с орденом не накликала беду на мою голову».

* * *

Я прислушиваюсь к шуму черноморского прибоя. На причале у скутарийского ялы босфорские волны бьются о берег совсем иначе, звуки более мягкие, более таинственные. Доносится жалобный вскрик парохода. Того самого, на который посадили Сулеймана с Тевфиком. А что, ребят заперли в каюте или же бросили в трюм? Эх, черт побери! Мною овладевает чувство безнадежности. Оно растет, растет, перерастает в гнетущий черный стыд. Меня гложет мысль, что я предал товарищей, не сдержал данного сло-

ва, не протянул друзьям руки помощи. Я готов был даже счесть себя низким подлецом. Встал с постели. Керосиновая лампа все еще горит. Я погасил ее. Темнота в комнате пульсирует от тусклых сполохов звездной ночи. Я присел на постель Сулеймана. Она была еще теплой. Почему, почему ребят вернули обратно? Должен ли я потребовать, чтобы и меня отправили вместе с ними? Неужели я предал своих друзей? Кому? Да и друг ли я им? Как же не друг? Ведь Сулейман помог мне. Благодаря ему я здесь. Как бы поступили они, если б меня отправили обратно, а их оставили? Наверное, и они промолчали бы. Постой, не стыдно тебе думать о них так, не стыдно искать оправданий своей трусости?

Широкий гул Черного моря заполняет комнату. Должно быть, поднялся ветер. Высунув голову из окна, жадно вбираю ноздрями ветер. Пахнет солью, но не такой, едва влажной, как на Босфоре, а совершенно мокрой солью. Я закрыл окно.

Допустим, Тевфика отправили обратно за то, что его наградили падишах. А Сулеймана? Я уверен, что в Стамбуле он не был связан ни с оккупационными войсками, ни с чем подобным. Я-то думал, что он бежит в Анатолию главным образом от долгов, в которых увяз по горло. А на самом деле?

Я не мог заснуть до утра.

* * *

Ахмед почесал в затылке. Волосы у него здорово отросли. «Надо опять попросить Исмаила, чтобы подстриг», — подумал он.

На следующее утро явился один из тех двоих, что приходили ночью. Мы вышли с ним из гостиницы. Море спокойно. Мы прошли мимо лодок, лежавших вверх днищами на песке, мимо босоногих, смуглых ребятишек, с громкими криками носившихся вперегонки, между сетями, развешенными для просушки. Зашли в кабинет на первом этаже деревянного двухэтажного дома. Вернее, зашел я один, а мой провожатый остался за дверью. Начальник местного отделения Айн-Пе — человек в плаще, с папахой на голове — указал мне на стул, стоявший так близко к его столу, словно его намертво приколотили. Я отодвинул стул, сел, закинул ногу на ногу. Я только-только вошел в кабинет, но уже испытывал чувство неприязни к этому

человеку. С раздражением, которого не могу скрыть, точнее, не желаю, спрашиваю:

— Почему вы отправили моих друзей обратно в Стамбул?

— Это не моя инициатива. Приказ из Анкары. Они возвращены из-за своей бесхарактерности.

Очень тонкими, очень длинными пальцами правой руки — кажется, что их не пять, а пятьсот, — он начинает отстукивать по столу барабанную дробь. Уныло-безразличным тоном ответив на мой вопрос, он погрузился в молчание и полузакрыв глаза. А на губах змеится улыбка. Наверное, меня в чем-то подозревают, я все больше и больше начинаю первничать из-за того, что не могу догадаться, в чем же меня подозревают, какой повод для подозрений я дал? Мне тогда еще было невдомек, что существует такой род деятельности — подозрение каждого и всякого, независимо от того, есть или нет основания.

Он поднялся. Наклонился ко мне. Тем же усталым, безразличным тоном проговорил:

— Вы можете ехать в Анкару, когда вам угодно. Вот вам сто лир на дорожные расходы. Извольте.

Он положил деньги мне на колени и выпрямился. Снова сел на свое место. Снова выстукивает по столу барабанную дробь.

Я встал. Деньги упали на пол. Нагнувшись, поднял их. Скомкав в ладони, сунул в карман брюк. Я сам себе был противен, от того ли, что нагнулся за деньгами, от того ли, что впервые получаю деньги от незнакомого человека, тем более просто так, ни за что; до сих пор деньги давал мне только дед, да и то лишь по праздникам. А может быть, от того, что деньги на колени мне положил субъект с тусклым голосом, в чем-то, как я заметил, подозревающий меня. А может, по какой-то другой причине, слишком много темных мыслей роилось у меня в голове. Даже не попрощавшись, я вышел.

Я зашел в кафе, заказал чаю. Первое, что донеслось до моего слуха, это произнесенные кем-то — кем именно я не заметил — слова:

— Всех, кого погрузили на вчерашний пароход, утопят в море. Приказ из Анкары.

Не уплатив за чай, я выскочил из кафе. Помчался в Айн-Пе. Запыхавшись, влетел к начальнику:

— Говорят, моих друзей утопят в море?

— С чего вы взяли?

— Слышал в кафе.

— От кого?

— Не заметил.

— Не волнуйтесь, мой юный бей, ваши друзья вернутся в Стамбул живыми и невредимыми.

Он опять произнес это таким тусклым, скучающим тоном, что я даже не обиделся на него за то, что он назвал меня юным беем. Я поверил ему.

Так оно и вышло. Сулейман с Тевфиком живыми и здоровыми вернулись в Стамбул. Первый продолжал увертываться от своих кредиторов, второй написал в честь падишаха еще одну оду. А после провозглашения республики оба работали в газете, выходившей под эгидой министерства внутренних дел. Сейчас они депутаты Великого национального собрания.

* * *

Ахмед достал из-под подушки сигареты и спички. Закурил. Исмаил тихонько похрапывает.

С помощью хозяина гостиницы я нанял возчика с тележкой, запряженной ишаком, и на рассвете следующего дня выехал из Инеболу. Меня предупредили, что выше в горах значительно холоднее. Пальто у меня на рыбьем меху. Мне посоветовали обернуть газетами грудь, спину и ноги в ботинках. Я так и сделал. А еще купил себе огромную папаху серого цвета, каракулевую папаху. Ишачку не под силу тащить и меня и мой чемодан. К тому же я считал ниже своего достоинства путешествовать в телеге, запряженной ишаком.

Через три четверти часа Инеболу остался далеко позади. Но с горной дороги, по которой мы движемся, мне хорошо видны и город, и Черное море, внизу, слева от нас. И долина справа, и заснеженные вершины гор впереди. Над Черным морем — летнее солнце. В долине весна. В горах зима. Я остановился, внезапно поймал себя на том, что ору, протянув правую руку вперед:

— Вот она, родина! Вот она, моя родина! Вот она, милая Анатолия!

Возчик удивленно пялится на меня. Его взгляд смущает меня. Я улыбаюсь. Но смущение быстро проходит. Так же громко, но на этот раз без жестов, я кричу возчику:

— Такой прелести не сыщешь даже в Швейцарии! —

Хотя сам-то я видел Швейцарию только на маленьких цветных открытках, что прилагались к тоблеровским плиткам шоколада.

Возчик ничего не отвечает.

— Дех, глупая животина,— понукает он ишака.

Мы продолжаем путь.

Я то и дело кручу головой вправо, влево, оглядывая окрестные виды, и думаю: «Есть ли человек на свете счастливее меня?» Но вслух этих мыслей не высказываю. Почему-то стесняюсь возчика.

Мы прошагали довольно много. Инеболу, Черное море скрылись из глаз. На одном повороте встретили группу из восьми — десяти человек, расположившихся на привал. Все молодые. Судя по одежде, стамбульцы. У каждого за спиной ранец или узел. Познакомились. Все они офицеры запаса. Один воевал под Чанаккале, другой в Палестине, третий в Галиции. После поражения вернулись в Стамбул, один даже из индийского плена. До армии почти все они учительствовали. В Инеболу прибыли неделю назад. Направляются в Анкару, оттуда — воевать с греками.

— Сколько вам лет? — спросили они меня.

— Восемнадцать исполнилось.

— Через год встретимся на фронте,— сказали они.

Путь продолжали вместе. Один из них выглядел больным — тот, что вернулся из индийского плена. Его торбу положили на мою тележку. Под вечер добрались до Эджевиде, приютившегося среди гигантских грабов и дубов в горах Ылгаза, остановились в постоялом дворе. В Инеболу говорили, что эти места славятся отменным медом и сливочным маслом. Едва уселись на скамейку, я заказал то и другое. Лепешки были горячие, масло сразу же таяло на них, смешиваясь с медом. Никогда в жизни не ел ничего вкуснее! Допивая свой айран, я заметил, что мои спутники, порывшись в ранцах, достали хлеб и брынзу. Этим они и ограничились.

— Почему вы не попробуете масла и меда? — спросил я.

Они не ответили. Я предложил им отведать масла, которое лежало передо мной на виноградных листьях, меда из деревянного сосуда. Но они ничего не взяли. Не успев подумать, стоит ли задавать этот вопрос, я спросил:

— Разве вам не выдали подорожные?

— Выдали.

— Сколько?

— По десять лир...

Я растерялся, стыд и ярость захлестнули меня.

— Мне дали сто лир. Вы идете воевать, а я буду рисовать. Мой двоюродный брат — депутат меджлиса в Анкаре. Поэтому мне и выдали сто лир. Позор, черт побери! Если вы хоть сколько-нибудь желаете мне добра, давайте проедем эту сотню лир вместе!

Начались обычные в таких случаях пререкания: так же нельзя! как вам не стыдно! ну, хорошо, хорошо, ладно! Хозяин принес всем масла, меду, айрана, лепешек. А мне было невыносимо стыдно за себя. Черт побери, я похожу на такого богача мота, задающего пир бедноте!

* * *

Обо всем этом я подумал тогда? Или думаю только теперь?

Когда добрались до Кастамону, мой возчик спросил:

— К бабам, пойдешь, эфенди? Здесьние бабы шибко сладкие.

На мгновение я задумался. Соблазн был велик — об анатолийских женщинах и впрямь говорят, что они на редкость хороши, даже проститутки. Но ведь о них же говорят, что чуть ли не каждая вторая больна сифилисом. Мне стало до того противно, будто я уже заразился.

— Нет, не хочу. А ты пойдешь?

— Сейчас нет. Но на обратном пути, иншаллах, непременно заскочу.

В Кастамону я впервые узнал, что такое Трибунал независимости.

— Сколько дадут нашим?

— Не повесят же их, а, братишка? — сказал Исмаил.

Повесить не повесят, но срок закатят. А могут и повесить. Кто там был прокурором кастамонийского Трибунала независимости? Нынешний прокурор? Не знаю.

...Трибунал независимости в Кастамону на моих глазах приговорил одного человека к пятнадцати годам тюрьмы. Судя по одежде, этот человек был полугорожанин, полукрестьянин. Гнал самогон. А в Анатолии сухой закон.

На следующий вечер после того, как я приехал в Анкару, мой двоюродный брат устроил банкет для своих товарищей — депутатов меджлиса. На столе стояли бутылки

с водкой. Безо всякой задней мысли, просто так я спросил:

— Разве водка здесь не запрещена? В Кастамону са-могонщикам дают по пятнадцать лет.

Двоюродный брат усмехнулся:

— Нас это запрещение не касается.

— А как же закон?

— Если каждого заставлять следовать закону, все пойдет прахом.

Он так и сказал, сын моей тетки. Я передаю его слова без каких-либо добавлений или поправок.

Я тоже пил водку, и не подумал отказаться. И не только в тот вечер. Один из гостей, полный мужчина с крупными чертами лица (впоследствии я узнал, что он один из самых зубастых депутатов меджлиса), обратился ко мне:

— Ахмед-бей, я слышал, ты хорошо рисуешь. (От кого он мог слышать? Не иначе как от моего двоюродного брата.) Напиши маслом портрет Мустафы Кемаля-паши. Найди фотографию, где он выглядит поимпозантнее, а я возьму у него для тебя пятьдесят золотых. Пятьдесят золотых звонкой монетой!

Я не стал рисовать портрет Мустафы Кемаля-паши. Мне было противно от одной мысли о пятидесяти звонких золотых, которые посулил мне полнолицый депутат.

Но если бы не пятьдесят золотых, я с радостью сделал бы это в те времена.

— В те времена,— громко повторил Ахмед,— в те времена...— И тут же, подумав, как быстро миновали «те времена», испытал странную грусть. В его памяти всплыла та минута, когда он оказался в междлисе и был представлен Мустафе Кемалю.

Я ликовал. Сначала я увидел пронзительную голубизну, потом золотистую желтизну, потом холеные белые руки, такие красивые, что они походили на женские. Возможно, мне это только показалось. Возможно, руки у паши вовсе не были такими, но глаза были действительно пронзительно голубые, а волосы — желтые.

А наших судит Трибунал независимости. А кости пятнадцати — на траверзе Сюрмене, на дне Черного моря.

Ахмед нащупал рукой сигареты, спички. Закурил. Стук движка в крошечной тьме: тук-тук-тук, тук-тук-тук.

...По дороге из Инеболу в Анкару, выбирая кратчайший путь, мы оказались на берегу речки. Моста поблизо-

сти не было. Значит, придется идти вброд. Я снял ботинки, носки, закатал штанины до колен. И тут я увидел крестьянина, вовсе не старого, лет под сорок, безбородого и вполне крепкого с виду. Его сопровождала женщина, тоже крестьянка. На берегу она взвалила мужчину себе на закорки и потащила через речку. «Инвалид», — подумал я. Но на другом берегу он легко спрыгнул на землю и преспокойно продолжал путь.

— Что это значит? — удивился я.

— А что такого? — ответил возчик. — Обычное дело — перебрался через речку на спине у своей бабы.

* * *

Ахмед усмехнулся. Об этом случае он рассказывал Анпушке. Кстати, я не помню, было это до Кастамону или после. Странно, почему я не могу вспомнить? Память никудышная. Видимо, рано впаду в детство. Если мне не суждено подохнуть от бешенства. Да плюнь ты в конце концов! Какая разница — до или после?.. Ведь ты же отлично помнишь все, что было после Кастамону.

...После Кастамону наступил вечер. Вот-вот совсем стемнеет, а мы все еще в пути. Божья степь. Ни единого деревца, ни жилища, ни подвижной тени. Распласталась земля на все четыре стороны, ускользает вдаль, и нет ей, заброшенной, беспризорной, неприютной, ни конца ни края.

— Далеко до деревни?

— Да вот же она, эфенди!

— Где? Я не вижу.

— У нас под ногами.

В сумерках я разглядел несколько бугров, несколько дыр, из которых валил дым. Собачий лай доносился откуда-то из-под земли.

— Мы идем по крышам, эфенди.

Крыши домов вровень с землей! Пройдя еще немного по крутому спуску, напоминавшему горную тропу, мы оказались на деревенской улице.

Раненых я увидел впервые в этой деревне. Они лежали впритирку друг к другу на земляном полу в общинном доме, при тусклом свете очага, где тлели кизяки. Кто на животе, кто на спине. Обмотанные окровавленными, грязными бинтами, в изодранной одежде, с давно не бритой

щетиной на лицах, некоторые с бородами. Никто из них не стонал.

Староста объяснил:

— Четыре дня назад пришли после заката. Сказали, утром уйдем, но не выдюжили. Двое уже померли. Остальные вот остались нам на беду. Сходил в город, рассказал. Что-нибудь придумаем, сказали, но до сих пор никто не пришел на подмогу.

— Далеко им идти?

— Всяк к себе.

— Где были ранены?

— Кто знает... Ведь сейчас война с греком...

Староста произнес эти слова так, словно говорил о чем-то никому не известном и до чего ему самому не было дела. Я сунулся было к раненым, поздоровался, хотел поговорить. Никто не ответил.

— Брось, эфенди,— сказал возчик,— им не до тебя.— Потом приподнял одного из раненых, повернул его голову к огню.— Не жилец. До утра не дотянет,— громко сказал он прямо в лицо раненому.

Раненый покачал головой, замотанной почерневшими от крови и грязи бинтами, попытался привстать на локтях, потом с моей помощью сел, опершись о стену.

— Это ведомо одному Аллаху,— проговорил он тихо, не шепотом, но очень тихо.— Одному Аллаху...

— Конечно, Аллаху,— отозвался возчик.— Но в войну под Чанаккале я был санитаром. У меня глаз верный. Не похоже, что ты дотянешь до утра.

— Дотяну, дотяну...

Не дотянул солдат. Когда на дворе пение петухов перемешалось с собачьим лаем и гомоном женщин, он, все так же сидя у стены, возле очага, захрипел и отдал богу душу. Так я впервые видел смерть. Когда мы уходили, один из раненых подозвал возчика:

— Посмотри-ка и меня. Дотяну я до вечера?

Возчик пристально посмотрел солдату в глаза.

— В твоих глазах предсмертной темноты нету,— сказал он.— Конечно, Аллаху виднее. Однако же нету.

По дороге я спросил:

— У него в глазах действительно не было предсмертной темноты? Или ты сказал так, чтобы его утешить?

— Зачем мне его утешать? Конечно, одному Аллаху ведомо. Но этот будет жить.

За время того путешествия я узнал, что такое искусство ставить заплаты. Здешние крестьяне были одеты хуже

стамбульских побирушек. Заплата на заплате, куски полотна, поскони, куски разноцветного ситца, которые, казалось, просто невозможно соединить друг с другом. Увидал я на тех дорогах волов и ишаков, таких мелких, тощих и хлипких, что только диву давался. Я видел вздувшиеся животы детишек. Все крестьянские женщины, попадавшиеся нам на пути, были босы.

...В Анкаре двоюродный брат поместил меня в «Ташхане». «Ташхан» в Анкаре все равно что отель «Перапалас» в Стамбуле. Я в номере, единственное окно которого забрано железной решеткой. Подсчитал — три четверти денег, оставшихся от подорожных, я уплатил за номер. Выходит, хозяин этой гостиницы за один-два года стал миллионером. Это меня поразило. А потом я почувствовал вражду к этому типу.

В кафе «Куюлу» я встретил одного своего стамбульского знакомого, вообще-то он родом из Эрзерума, поэт, но в последнее время жил в Стамбуле. Он служил протоколистом в меджлисе.

Город Анкара в степи. В степи на склоне холма, вскочившего здесь, словно прыщ, ни с того ни с сего, без всяких причин и всякой логики. А на вершине холма — крепость. Когда по вечерам я смотрю на эту крепость, мне кажется, что чудовищной силы тайфун где-то в далеких морях поднял в воздух громадный гальон, понес, понес его и опустил вот здесь, посреди материка, на вершине пологого холма.

Не считая зданий меджлиса, вокзала, некоторых мечетей и таких, как «Ташхан», все дома в Анкаре либо деревянные, либо глинобитные, большинство побелены.

Однажды мы с поэтом из Эрзерума сидели в кафе «Куюлу» и говорили об анкарских ахы. Он мне сказал, что во многих городах и селах Центральной Анатолии до сих пор живы традиции ахы, хотя и в измененном виде.

— Ахы организовали, — сказал он, — нечто вроде республики ремесленников и крестьян, нечто вроде большевизма. — Внезапно он замолчал. Осмотрелся и прошептал: — Большевики снабжают нас оружием, золотом, однако наши боятся их.

Бродя в тот вечер в одиночестве по кривым, узким улочкам Анкары, я различил неслышимые звуки: удары молотов и топоров, шум ткацких станков; это работали те самые «большевики» — кузнецы, ткачи, столяры, медники

и другие ахы; я как бы слышал их песнопения во время обрядов.

Я знал, что настоящие большевики — враги богатых и друзья бедных. Стамбульские газеты были наполнены рассказами о том, каким невообразимым пыткам были подвергнуты русские аристократы, генералы, купцы.

В Стамбуле нашли убежище остатки белогвардейской армии. Никто из белогвардейцев не был похож на подвергшихся пыткам. Аристократы. Они обзавелись барами и игорными домами, торговали своими белокуроыми, розовощекими, пухленькими женами, привлекавшими клиентов за игрой в лото. Я знал и то, что оккупационные войска были врагами большевиков. Тогда я впервые слышал имя Ленина, увидел его фотографии в газетах, однажды даже нарисовал углем портрет с такой фотографии, но не потому, что успел полюбить Ленина, а потому, что был поражен высотой его лба, очень умными, слегка раскосыми глазами и даже бородкой.

* * *

Однажды вечером с поэтом из Эрзерума мы решили сходить в театр Отелло-Кямиля. Под помещение театра приспособлено нечто вроде конюшни или амбара. Над входом горит синеватым печальным светом одинокая лампа. Мы вошли. Зрители сидят на деревянных скамейках, безмолвно, сложив руки на коленях. А в Стамбуле народные театры — будь то на Кушдили или в Шехзадебаши — напоминают места праздничных гуляний. Зрители быстро знакомятся друг с другом, давние приятели перекликаются из разных концов зала, обмениваются шутками, лоточки с фисташками, газированной водой, лимонадом, вишневым или сливочным мороженым, продавая свой товар, громко зазывают покупателей и звенят ложками, тарелками, стаканами. Небольшой оркестр, состоящий из барабана, колокольчиков, кларнета и трубы, наяривает веселую мелодию перед входом. Шум стоит вплоть до самого открытия занавеса. В зал доносятся отсветы мерцающего снаружи освещения — голубых, красных, зеленых электроламп, реклам, развешаны флаги. Когда же открывается занавес и разукрашенные, разряженные пышнотелые певички, играя глазками и грациозно покачивая головами на пухленьких шейках, то и дело подпрыгивая, начинают петь, все приходят в совершенное неистовство. Их приветствуют криками: «Браво, браво!», «Ох, ох, уморила, не

могу!», «Вот это да!» Сущее светопреставление. После выступления певичек начинается спектакль, причем — будь то драма или комедия — зрители участвуют в действе вместе с актерами. Актера, играющего роль предателя и негодяя, дружно освистывают; девице, ставшей жертвой злых козней, дают советы. Во время антракта оркестр перемещается в зал, и стук стаканов и крики лоточников сливаются с музыкой, так что звон стоит в ушах. Стамбульские народные театры — места праздничных гуляний. Анкарский театр по сравнению с ними выглядел как дом с покойником. Зрители, вперив взор в занавес, безмолвно взирают на изображенного там ангела в длинном балахоне и с трубой в руке, парящего среди рваных облаков. У кого взгляд задумчивый, у кого печальный, у кого удивленный. Стамбульцев можно отличить от местных анкарских жителей, так же как депутатов меджлиса от простых чиновников, но всех объединяет что-то общее.

Эрзерумский поэт прошептал:

— Страх. Анкара — город, объятый страхом.

Я еще по Стамбулу знаю Кямиля. Он ученик великого армянского актера Папазяна. Его прозвали Отелло-Кямилем, потому что он превзошел в роли Отелло своего наставника.

Занавес раздвинулся. На сцене смуглая миниатюрная женщина в шароварах, феске, украшенной золотыми монетами, коротком, шитом золотом кафтанчике с разрезанными рукавами.

— Из кайсерийских армянок, — произнес эрзерумский поэт таким тоном, что я сразу понял: он в нее влюблен.

Женщина недвижимо стоит на сцене, у нее очень красивый рот, бездонные глаза, насурмленные широкие, сдвинутые брови. В задних рядах зааплодировали. Я с любопытством обернулся.

— Рабочие с военного завода, — сказал эрзерумский поэт.

Женщина слегка улыбнулась тем, кто аплодировал, затем томным голосом запела песню: «Зеленые лягушки поют по озерам». У меня мурашки побежали по телу от печали. Я еще раз прошел по моей Анатолии, «осиротевшей на чужбине», по Анатолии, заполненной офицерами запаса из Стамбула и Измира, отправляющимися на фронт, ранеными солдатами, выпускающими дух в сельских общинных домах, женщинами, переносящими своих мужей через реку, и сифилитичными проститутками в бор-

делях Кастамону, и сопливыми, вшивыми, босоногими, наголо стриженными детишками, увидел ее крепости, еще помнящие Кёроглу, на склонах поросших соснами гор, ее потрескавшуюся землю, в которую крестьяне вгрызаются деревянной сохой.

Горечь невыносимая, черт побери!

Женщина исполнила еще две песни. Занавес закрылся, открылся снова. Та же женщина, тот же рот, глаза, те же насурмленные брови, с той же печалью, отбивая такт зажатыми в пальцах деревянными ложками, исполнила танец живота. Занавес закрылся, снова открылся. Начали играть Шекспира. Та же женщина, на сей раз в длинном одеянии, как у ангела, изображенного на занавесе, и с бумажными цветами в смоляных волосах, стала Дездемоной. Кямиль в роли Отелло, как всегда, был бесподобен. Все актеры несли отсебятину, только Кямиль и Яго строго придерживались текста пьесы.

После спектакля мы познакомились с Рашидом — исполнителем роли Яго. Он стер грим. Поразительно веснушчатый и рыжий молодой коротышка. Круглые карие глаза беспокойны. Голос приторно-сладкий, даже не на сцене говорит с интонацией Яго. В Стамбуле окончил американский Роберт-колледж. Столь же свободно, как на английском, говорит и на французском.

— Шекспира я от корки до корки знаю наизусть, — похвастался он, — включая сонеты.

Он сообщил, что его отец крупный дипломат в отставке...

— Театр Шекспира был больше нашего, — сказал он, — но кое-чем он похож на наш. Выходя здесь, в Анкаре, на сцену этого балагана, я чувствую себя так, словно нахожусь в Лондоне времен Елизаветы. Давайте встречаться, Ахмед-бей. Я тоже остановился в «Ташхане». Вы меня не заметили, а я-то вас давно приметил. Я еще в Стамбуле был наслышан о вас.

Странно, откуда Рашид мог слышать обо мне в Стамбуле? Разве что как о карикатуристе?

— Если вы изволите немного подождать, мы вместе вернемся в «Ташхан».

— Извините, но нам надо зайти еще в одно место, — отказался эрзерумский поэт.

— Дело ваше. — Рашид повернулся ко мне. — До скорой встречи, Ахмед-бей.

По дороге эрзерумский поэт сказал:

— Ты с этим типом водиться не вздумай. Темная ло-

шадка. И вообще советую тебе в Анкаре не общаться с теми, кого ты раньше не знал как следует.

На улицах хоть глаз выколи. Нам несколько раз повстречались патрули.

— Анкара нынче все равно что Ноев ковчег,— сказал эрзерумский поэт.— Ноев ковчег, плывущий по волнам потопа, который смел Оттоманскую империю. Конечно, он благополучно доберется до суши вместе со всем своим грузом — голубями и змеями, львами и тиграми, волками и ягнятами. Благополучно доберется до суши, и тогда змеи сожрут голубей, волки — ягнят, львы и тигры перегрызут друг друга.

Кафе было давно закрыто. Мы подошли к Саманпазары.

— Здесь повесили английского шпиона индуса Мустафу Сагыра,— сообщил поэт.

Когда мы расставались у входа в «Ташхан», он повторил:

— Не вздумай дружить с Рашидом. Как бы чего не вышло. Понял?

Мустафа Кемаль-паша живет за городом, его охраняют телохранители из лазов.

Западный фронт вроде бы близок, но в то же время достаточно отдален. Рассказывают, что во время второй битвы при Инёню, которая продолжалась с двадцать третьего по тридцать первое марта этого года, в Анкаре был слышен орудийный гул. Не знаю, правда или нет, но говорят, что, когда греческие войска оказались на ближних подступах к Анкаре, государственные учреждения и семьи богачей покинули город на поездах, тарантасах, арбах и перебрались в глубь Анатолии. А когда греческие войска «силой нашего оружия были оттеснены с поля боя» и отступили, иные из уехавших с полдороги вернулись в Анкару, иные осели в Сивасе.

Самые плодородные земли Анатолии, самые ремесленные города в руках оккупантов: пятнадцать вилайетов, девять больших городов, семь озер и одиннадцать рек, три моря и шесть железнодорожных дорог и миллионы людей, наших людей, в руках врага.

Я пошел к двоюродному брату, сказал:

— Хочу на фронт.

— Нельзя,— коротко ответил он.

Я начал настаивать.

— Ну, хорошо, я поговорю...— пообещал брат.

Мы встретились через три дня, он мне сказал с таким видом, будто сообщает радостную весть:

— Я говорил о тебе.— Он не уточнил, с кем именно, но дал понять, что с кем-то весьма значительным, быть может, на самом верху.— На фронт тебе ехать не позволено. Тебе подыщут должность в Управлении по делам печати.

Я не стал допытываться, почему мне не разрешают ехать на фронт. Если бы я настаивал, мол, обязательно хочу попасть на фронт, мне, возможно, и разрешили бы, но я не стал настаивать.

— Я не хочу работать в Управлении по делам печати,— сказал я брату.— Подыщи мне место учителя в каком-нибудь городишке.

Брат взглянул на меня так, как «умники» смотрят на неисправимых чудаков, и через неделю я уже снова был в пути, снова вышагивал пешком за тележкой, на которой лежал мой чемодан. Я шел в Болу. Хромой возчик попукал ишака.

ПЯТНАДЦАТАЯ ЧЕРТОЧКА

Кто знает, в который раз Ахмед от корки до корки перечитывает сборник стихов, оставшийся от Зии. Полил водой землю, попытался лепить из глины. Сначала голову Аннушки. Не получилось. Потом кошку. Не получилось. Затем вздумал писать стихи, но не знал, как и о чем писать. Аруза, насколько он себя помнил, он никогда не мог освоить, да и кто пишет теперь арузом? Взялся было писать хедже, ритмом семь на семь, по образцу «Куда, в какую гавань войдет стомачтовый корабль»: «Разлука всего лишь ветка, ты на ней — горький плод...» К слову «плод» можно подобрать кучу рифм. Сколько он ни бился, вторая строка никак не рождалась. «Будь я поэтом, я не писал бы любовных стихов», — сказал я как-то Аннушке. С чего же сейчас мне вздумалось писать стихи о любви? «В этой жизни нашей проклятой разве мало других хлопот?» А почему жизнь проклятая? Жизнь прекрасна!

Что значит жизнь прекрасна? Что в ней прекрасного? Для скольких процентов людей она прекрасна? В большинстве своем люди даже не задумываются, прекрасна жизнь или нет, живут, и все тут. Терпят несправедливость, голод, смерть, но живут, как будто на этом свете нет

несправедливости, голода, смерти. Сколько людей борется против несправедливости, голода, смерти? Все мы боремся. Борются массы, совершающие революции, возводящие баррикады. Разве я не борюсь? Ожидая, когда потеряю рассудок от бешенства и подохну от пули Исмаила, не так ли? Ах, черт побери!

ШЕСТНАДЦАТАЯ ЧЕРТОЧКА

В Болу сменился мутесарриф. Преподаватели болийской гимназии, месяцами не получавшие жалованья, а вместе с ними Ахмед, решили идти к новому мутесаррифу жаловаться и отстаивать свои права. Избранная ими делегация однажды в четверг после полудня собралась в кафе «Айналы». Возбужденные и разгневанные, отправились они к резиденции мутесаррифа. Преподаватель богословия родом из Румели, бывший иттихадист Шабан-эфенди и Ахмед шли впереди, за ними следом — математик, историк и словесник. Так они и прошествовали через рынок. Шел дождь. У всех, кроме Ахмеда, были при себе зонты. Базарные торговцы и ремесленники с уважением и надеждой приветствовали эту маленькую разгневанную процессию. Все учителя, в том числе и Ахмед, имели на рынке кредиторов, и весь рынок знал, зачем идут они к новому мутесаррифу.

Завернули за угол. Дождь усилился. Ахмед оглянулся. Сзади из трех зонтов осталось два.

— А где же словесник?

— Остался на рынке купить сигарет. Догонит, — ответил историк.

— О, Аллах, Аллах! — проворчал учитель богословия Шабан-эфенди. — Нашел время покупать сигареты.

Один зонт впереди, два сзади, так они и вышли к садам. Насквозь промокшая женщина в черном чаршафе, заметив приближающихся мужчин, отвернулась к ограде сада, присела на корточки и так сидела, пока они не прошли. Сады кончились, процессия оказалась на грязном пустыре. Ахмед снова оглянулся. Сзади — только один зонт.

— А где же историк?

— Сказал, что кое-куда захотелось, — ответил математик.

— Таковы они, эти итиляфисты, — проворчал Шабан-эфенди. — Уж если приспичит, так в самый неподходящий момент.

Математик — из бывших итиляфистов.

Дождь полил как из ведра. Ахмед пристроился под зонт преподавателя богословия Шабана-эфенди. Когда входили в резиденцию мутесаррифа, Ахмед оглянулся. Сзади никого не было.

Складывая на лестнице свой зонт, Шабан-эфенди проворчал:

— Это ты виноват, Ахмед-эфенди. Разве можно в таком серьезном деле полагаться на подобных субъектов?

Перед плотно занавешенной, как это бывает в мечетях, дверью мутесаррифа на плетеном стуле сидел одаджи.

— Передай мутесаррифу-бею, — сказал ему Ахмед, — что пришли учителя гимназии.

Одаджи заглянул в кабинет, тут же вышел.

— Пожалуйста.

Ахмед, приподняв тяжелую занавесь, ввалился в кабинет. Мутесарриф сидел за столом. В черной папахе, черноглазый, крупный мужчина.

— Мы, — начал Ахмед, — преподаватель богословия Шабан-эфенди и я, пришли к вам...

Мутесарриф жестом прервал Ахмеда.

— Вас я вижу, а где преподаватель богословия?

Ахмед оглянулся. Шабана-эфенди не было. Ахмеда аж затрясло от злости.

— Шабан-эфенди остался за дверью. Ему пужно особое приглашение, — сказал он мутесаррифу.

— Не стоит...

— Но мы шли к вам впятером, только я...

— Вы-то мне и нужны. Присядьте.

— Вот уже сколько времени, как жалованье...

— Насчет жалованья я уже распорядился. Получите за один месяц...

— Хорошо, но ведь мы...

Мутесарриф снова жестом прервал Ахмеда. Нажал кнопку звонка. Заказал вошедшему одаджи два стакана чая и добавил:

— Скажи ходже-эфенди, который сидит там, пусть не ждет.

Одаджи вышел. Мутесарриф поднялся из-за стола, приблизился к Ахмеду, навис над ним глыбой, затем опустился на стул рядом.

— Ахмед-бей, — начал он, — мне известно, кто вы такой, каковы ваши убеждения, какую деятельность вы ведете в городе и окрестных селах. И что собой представляют

ваши друзья: член уголовного суда Юсуф-бей, бухгалтер Осман-бей,— мне тоже известно, равно как известны все ваши сторонники.— Он некоторое время молчал, затем, опустив массивную свою ладонь на колено Ахмеда, медленно продолжил: — Греческие войска снова идут на Анкару.

— Что вы говорите?

— Анкару, возможно, придется сдать.

— И что же тогда?

— Тогда мы объявим здесь большевизм.

— Большевизм?!

— Да. Вы меня сделаете президентом. Мы создадим Красную армию и освободим Анкару. Готовьте своих сторонников. Однако обо мне не говорите им пока.

Ахмед оторопело уставился в лицо мутесаррифа. Кое-что до него дошло, но кое-чего он никак не мог взять в толк.

— Юсуфу-бею и Осману-бею расскажите о моем предложении,— сказал мутесарриф, продолжая держать свою ладонь на колене Ахмеда.— Вы лично возглавите министерство внутренних дел. Осман-бей — министерство финансов, а Юсуф-бей станет премьером.

От растерянности Ахмеда внезапно не осталось и следа. Спокойно и внимательно он начал вникать в суть речей мутесаррифа. Одаджи принес чай, удалился. Медленно помешивая в стакане сахар, мутесарриф заговорил о жандармском начальнике и начальнике полиции. Сказал, что первого можно будет перетянуть на свою сторону, а вот на второго полагаться никак нельзя.

Когда Ахмед вышел из кабинета мутесаррифа, ему все было абсолютно ясно. Спускаясь по ступеням лестницы, он прикинул, на кого из учителей и участников молодежного кружка можно будет положиться. Преподаватель турецкого языка начальной ступени гимназии, преподаватель физкультуры, учитель физики и химии. В молодежном кружке состоят инженер муниципалитета и его друзья. А в селах? Он улыбнулся. В селах можно положиться на любого бедняка. Вспомнил про лудильщика Вели, что работает на рынке, и его товарищей.

Дождь перестал. Османа и Юсуфа я не застал на месте. Куда они могли подеваться? Пошел в кафе «Куюлу». Делегаты, избранные учителями гимназии, смущенно и встревоженно поджидали меня там.

— Жалованье нам выдадут,— сказал я,— но пока только за один месяц.— И, не спрашивая, почему эти люди

бросили меня одного на полдороге, выскочил на улицу. Осман и Юсуф все еще не вернулись. Где же они, черт побери?

* * *

Юсуф — член уголовного суда в Болу. Прокурор и другие члены суда очень ленивы, к тому же в летах. В суде всем распоряжается Юсуф. Я — простой учитель гимназии. Веду рисование в младших классах. Кроме того есть еще розовощекий Осман-бей, бухгалтер банка. Четыре года, с тысяча девятьсот пятнадцатого по девятнадцатый год, провел в Германии. От него я впервые услышал имя Маркса. Не только имя, но и слова: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!», «История есть борьба классов». Так как на уроках истории нам рассказывали только о королях и падишахах, я до сих пор был убежден, что история есть борьба между королями, падишахами и другими сильными мира сего. Слова Маркса показались мне откровением. Отныне история должна стать другой. Вместе с королями и падишахами мы уничтожим и всякую борьбу!..

На самом деле членов уголовного суда в Болу двое — Юсуф и Осман. Функции прокурора в действительности исполняю я. Заседания суда проводятся только для проформы. Для вынесения приговора мы собираемся по вечерам в моей комнате, над конюшней постоянного двора. Нам достаточно знать, кто истец — богач или бедняк, и кто ответчик. Если обвиняемый — бедняк, а истец — богач, мы выносим оправдательный приговор. Если же наоборот — получай, богач, наказание. В своды законов и материалы предварительного следствия мы заглядываем лишь в том случае, если и ответчик и истец либо богачи, либо бедняки.

В городке и в окрестных деревнях суд пользуется большой популярностью среди бедноты. Вернее, не суд, а Юсуф. А я рассадил детвору бедняков на передних партах и каждому — готов он к уроку или нет — ставлю отличные оценки. Есть в городе молодежный кружок. Мы в нем стали заправлять.

В своей комнате, что над конюшней постоянного двора, под звуки конского ржанья, звон цепей и запах навоза, доносившиеся снизу, при свете керосиновой лампы, я рассказал Юсуфу и Осману о том, что услышал от мутесаррифа. Мы единогласно приняли решение объявить в Болу большевизм, как только падет Анкара. Дважды беседовали с мутесаррифом. Разработали план. Но Анкара не пала. Мутесарриф снова вызвал нас.

— Здесь вам делать больше нечего, — сказал он. — Чтобы не подводить меня, уезжайте отсюда.

Как раз накануне Юсуф получил телеграмму. От кого, не знаю.

— Меня по одному делу вызывают в Трабзон, — сказал он нам. — Удобный случай, чтобы уехать, вы тоже приезжайте туда, а оттуда все втроем переберемся в Россию. Там мы как следует освоим большевизм.

Мы согласились с Юсуфом. Он уехал, однако Осман считал за лучшее вернуться в Стамбул. А я отправился в Трабзон.

В Трабзоне я не нашел Юсуфа по тому адресу, который он мне оставил. Хозяева дома посоветовали мне зайти в одну кофейню, куда он имел обыкновение заглядывать — играл там в нарды. Есть такой знаменитый мастер по игре в нарды — Хафыз, с ним-то и играет обычно Юсуф. Я пошел в кофейню, спросил о нем хозяина.

— Давно уже не заходил, — ответил хозяин.

Я вернулся в гостиницу. Мне не спалось. Спустился вниз, чтоб прогуляться. Встретил хозяина гостиницы.

— Куда это ты?

— Не спится что-то...

— Уже поздно. Кофейни закрыты.

— Я не собираюсь идти в кофейню. Поброжу немного, подышу свежим воздухом.

— Дело твое. Но время позднее...

Я удивился:

— А что? Грабят?

— Нет... Но...

— Что «но»?

— Ты не здешний. Только сегодня приехал в Трабзон...

— Ну и что же?

— Ничего, но после того дела интересуются всеми приезжими...

— После какого дела?

Хозяин гостиницы не ответил. Он, видимо, уже пожалел о своих словах.

— О каком деле ты говоришь?

— Если тебе так уж хочется, гуляй, гуляй. Бывает же, что и чужой человек придется по душе, вот мне ты сразу понравился.

Я вернулся в номер. Подняв батистовую занавеску, выглянул в окно. Предполуночная темнота анатолийских городов...

Ранним утром я выскочил из гостиницы и снова побежал в кофейню. У входа мальчик поливал мостовую. Внутри сидели два-три посетителя. Хозяин узнал меня.

— Вчера, только ты ушел, заходил Юсуф-эфенди. Я ему сказал про тебя. Молодой, мол, парень в такой островерхой папахе тебя спрашивал. Ты же мне не сказал, как тебя зовут... Похоже, мол, из Стамбула, сказал я. С такими, мол, обросшими висками.

— Что сказал Юсуф-эфенди?

— Сначала не мог понять, о ком речь. Потом говорит: «А, знаю, знаю».

— Ну?

— Больше ничего не сказал.

— Как ничего? Не сказал, чтобы я подождал, если приду завтра?

— Нет. Но если хочешь, подожди. Сегодня должен зайти шах нардистов Хафыз. Наверное, и Юсуф-эфенди придет.

Я ничего не понял. Но что поделаешь, придется ждать.

— Отсюда часто ходят пароходы в Батум?

Хозяин кофейни как-то странно посмотрел мне в лицо.

— Случается, ходят...

— Какие именно — баркасы, катера?

— А как же!

Он принес чай, бублик, брынзу.

— В Батум собрался?

— В Карс, через Батум и Тифлис.

В то время до Карса добирались двумя путями: первым — по суше, вторым — морем до Батума, оттуда в Тифлис, а из Тифлиса поездом до Карса. Мы выбрали второй путь с тем, чтобы остаться в Батуме.

— У тебя есть бумага на проезд через Батум?

— Есть.

Документы я оформил в Болу, у мутесаррифа: «Препровождается по делам в Карс через Батум и Тифлис».

— Ежели так, хорошо. По сухопутью и дольше и трудней. Бумагу выдали здесь?

— Нет.

— В Анкаре?

— В Болу.

— Не пойдет. Придется здесь брать разрешение.

— А дадут?

— Одному Аллаху ведомо.

Хозяин кофейни ушел. Я заметил, что соседи прислу-

шивались к нашему разговору, а потом зашушукались между собой.

Я заказал еще чашку чаю. Принес не мальчик, а сам хозяин.

— Послушай, тут какое-то дело было? — спросил я.

— Какое дело?

— Не знаю. Мне говорил хозяин гостиницы.

— А где ты остановился?

Я на всякий случай назвал не свою гостиницу, а ту, мимо которой проходил по пути сюда.

— Значит, ты ничего не знаешь? — спросил я.

— Нет.

По всему видно, что знает.

В тот день я прождал Юсуфа допоздна. Он не явился.

На следующее утро опять сунулся в кофейню.

— Приходил?

— Приходил, когда я уже закрывал ставни.

— Ну?

— Сказал — пусть подождет меня утром.

Вскоре Юсуф пришел. Мы обнялись, вернее, я обнял его.

— Выйдем, — сказал он.

Мы вышли.

— Послушай, Юсуф, ты ведешь себя так, будто...

— Молчи, я тебе все объясню.

— Что происходит?

— Молчи, говорю.

Мы шли очень быстро. Юсуф то и дело оглядывался. Мы шли быстро, очень быстро. Дошли до узеньких горбатых улочек, как я потом узнал, этот квартал называется Такке. Юсуф замедлил шаг.

— Ну, рассказывай, Юсуф-эфенди!

— Мне пришлось съехать с той квартиры.

— Но почему ты не сказал хозяевам, где тебя искать?

— Так нужно было.

— Что значит — нужно? Как бы я отыскал тебя в огромном Трабзоне?

— Отыскал же. Хозяину кафе ты что-нибудь говорил?

— Что именно?

— Откуда мне знать? Что-нибудь лишнее. От тебя можно ждать чего угодно.

— Я только спросил, часто ли ходят пароходы в Батум.

— Ну, кто тебя за язык тянул?!

— А что такого?

— По нашим документам в Батум не попадешь. Что ты сказал ему еще?

— Больше ничего.

— В Айн-Пе тебя не вызывали?

— Нет, что ты! Но как же мы попадем в Батум? — Вдруг меня осенило. — Послушай-ка, здешний губернатор — один из воспитанников моего деда. Пойду к нему, возьму разрешение для нас обоих.

Юсуф подумал.

— Мысль неплохая.

Я до сих пор не догадался спросить Юсуфа, чем он занимается в Трабзоне.

— Оформляй бумаги только для себя. Добиваться разрешения для нас обоих не стоит. Это вызовет подозрение. Месяца через три-четыре я придумаю что-нибудь и приеду. И давай больше не встречаться.

— В чем, собственно, дело?

— Ты говорил кому-нибудь о судебных и прочих наших делах в Болу?

— Кому я мог говорить?

— Кто тебя знает! От таких вертопрахов, как ты, всего можно ждать...

— Ну что ты ко мне цепяешься! Ты чем-то напуган? Что ты здесь делаешь? Кстати, что произошло в Трабзоне?

— Кто тебе об этом сказал?

— Хозяин гостиницы. И в кофейне я спрашивал.

— Ну, кто тебя за язык тянул?!

Он обернулся.

— Что ты все время оглядываешься?

— Не следит ли кто.

— С какой стати за нами должны следить?

— Ты думаешь, в Айн-Пе не известно, чем мы занимались в Болу? Послушай, Ахмед, — он понизил голос, — убили Мустафу Субхи и его товарищей.

— Кто они такие?

— Турецкие большевики.

— Как убили? За что?

— За то, что они большевики.

— О, господи! Когда?

Мы вышли на заросший соснами холм.

— Мустафа Кемаль вызвал их из России, — проговорил Юсуф. — Среди них были и стамбульцы. В Баку собрался какой-то конгресс, что ли, они в нем участвовали.

— Какие дела творятся, а мы ничего не знаем!

— Кязым Карабекир-паша встретил их на границе.

Мы присели под соснами. До чего же хороша погода, до чего хороша! С моря веет мягкий-мягкий ветерок.

— В Эрзеруме из ходжей и других чалмоносцев, из всякого сброда организовали общество, кажется, под названием «Общество защиты святынь». Уже на городской заставе толпа этих подлецов с воплями и улюлюканием начала осыпать камнями пролетки, в которых ехали Мустафа Субхи и его товарищи. «Они хотят превратить наши мечети в конюшни для ишаков! Хотят сорвать покрывала с наших жен! Надеть на нас шляпы!» Тогда Карабекир отнял у субхистов оружие и отправил их в Трабзон.

Пустынная морская гладь простиралась из края в край. Ни паруса, ни пароходного дымка.

— Здесь их всех, у Дейирмендере, посадили ночью на моторный бот. Было это двадцать восьмого января. Есть тут некий Яхья-Кяхья, староста лодочников, злобный как пес. Холуй Хромого Османа, начальник охраны Кемаля. Вскоре после того, как бот с Субхи и его товарищами вышел в море, Яхья-Кяхья сажает своих людей на другой бот. На траверзе Сюрмене те берут бот субхистов на abordаж. Субхистов, говорят, было пятнадцать человек. Субхи привез с собой жену, русскую женщину. Схватка, говорят, продолжалась около двух часов. Мустафе Субхи удалось завладеть винтовкой. Он уже готов был выстрелить, когда Фаик, этот подлый пес, в упор выстрелил ему в затылок. Остальных тоже прикончили, кого ножом, кого задушили, а потом, привязав к ногам камни, железо, бросили в море. Русскую женщину привезли в Трабзон. Говорят, красивая. Сидит взаперти в доме у Яхьи. Сейчас в Анкаре опасаются, как бы после этого в Трабзоне что-нибудь не случилось.

— Здесь есть коммунисты?

— Не знаю, Айн-Не начеку.

Море, по-прежнему пустынное и ярко освещенное солнцем, все так же распластано из края в край.

* * *

Ахмед прождал Юсуфа в Батуме не три, а шесть месяцев. Не приехал Юсуф. В тысяча девятьсот двадцать четвертом году он вернулся в Стамбул, занялся торговлей. Разбогател. Обанкротился. Стал промышлять контрабандой. А в тридцать четвертом в Стамбуле, на улице Юксек Калдырым, погиб средь бела дня от полицейской пули.

Портрет Мустафы Субхи я впервые увидел в Батуме. В Москве раза два-три писал его портреты. В пенсне, с густыми черными усами. Один из самых уважаемых и, более того, самых любимых мною людей на земле.

Брожу по парку в Батуме. А есть так хочется, спасу нет! В кармане пара миллионов рублей. Свой чемодан я продал на прошлой неделе. Думал, он из натуральной кожи, оказалось, из заменителя. Выпить бы чаю, да не с сахарином, а с настоящим сахаром вприкуску. Слышу шум прибоя. Идти на пляж, где загорают голые женщины, нет никакого желания. Я был там вчера под вечер. Небо пасмурное. В темной сумеречной дали море светится фосфорическим светом. У меня не выходит из головы убийство Субхи и его товарищей. Когда пароход, увозивший меня в Батум, проходил траверз Сюрмене, я посмотрел на берег. Зеленые холмы, песчаный пляж, белеющие домики. Отрезок нашего черноморского побережья, такой же, как все другие. Бот с Субхи и его товарищами ночью подошел сюда, они видели лишь мерцающие на берегу огоньки. А может, и не видели. Может быть, тогда валил густой снег. Море было спокойно или штормило? Команда бота знала, что везет этих людей на верную смерть? А если матросы знали, то о чем говорили с ними? Может, матросы угощали их табаком, может, прикуривали от их сигарет? О чем беседовали между собой Субхи и его товарищи? Догадывались они, что их везут убивать? Или ни о чем не подозревали? Когда наконец догадались? В Эрзеруме, когда у них отобрали оружие? А может быть, еще при въезде в Эрзерум, когда озверевшая толпа с улюлюканьем стала забрасывать их камнями. А что Кязым Карабекир-паша, усмехался ли он про себя, беседуя с людьми, план убийства которых он подготавливал, словно план сражения? Теперь-то я знаю, паша одержал победу над дашнаками благодаря поддержке Красного полка, сформированного Субхи в России из военнопленных турок. Этой победой, который паша будет гордиться до конца своей жизни, он обязан Субхи и его товарищам. Вот этих-то людей и послал он в Трабзон, чтобы их там убили. Субхи и его товарищи были арестованы тогда тотчас по прибытии в Трабзон? Не знаю. Если да, то они сразу же все поняли. А если нет? Что они подумали, когда на траверзе Сюрмене увидели быстро приближающийся к ним катер? Может, сначала решили, что катер идет в Батум за

боеприпасами? Или же он неожиданно вынырнул из снежной тьмы перед их бортом? Но шум-то его двигателя они наверняка слышали. А может, и не слышали из-за шума воли и стука собственного мотора. Но увидев наконец, что катер приближается к ним, не подумали ли они, что это везут приказ из Анкары, что перед ними хотят извиниться и пригласить в столицу? Или же они сразу почувствовали, что это надвигается смерть? Эти пятнадцать были самыми мудрыми людьми, выращенными самим народом. И не только самыми мудрыми, но и самыми мужественными, самыми истинными турками. Кто другой так сильно, как они, любил нашу землю и живущий на этой земле полуголодный, изнуренный малярией, слепнувший от трахомы, одетый в лохмотья народ, народ, вспахивающий свои каменистые поля деревянными сохами, влекомыми заморенной скотиной, завшивленный народ, на четырех фронтах проливавший кровь и после этого вновь сражающийся на новых фронтах. Кто другой так беззаветно, как они, верил в лучшее и прекрасное в человеке, кто жил надеждой? Мне отчетливо видится лицо Субхи, но только его лицо, а лица остальных — словно в тумане. Я вижу спины, груди, шеи обреченных на смерть товарищей Субхи, но лица их как в тумане. Я вижу руки убийц, их винтовки, револьверы, ножи, веревки, глаза и даже искривленные рты. Перед моим взором возникает револьвер в руке трабзонского пса Фаика. Лицо Фаика я тоже вижу. Смуглая кожа, крючковатый нос. Я вижу его руку. Она приставляет револьвер к затылку Субхи. Я вижу, как из рук Субхи выпадает винтовка. Субхи свалился через борт в море. А может, он и не свалился в море, а рухнул на палубу бота, и вот ему привязывают к ногам железяку. И вот его бросают в море раньше других. Другие... Я знаю имя одного из них: Нежат. Он из Стамбула. Учитель. Трудно вообразить себе двухчасовую схватку на борту моторного бота. Двигатель остановился или продолжал работать? Двухчасовую схватку, рукопашную схватку между не умеющими убивать и опытными убийцами, вооруженными пистолетами, винтовками, ножами, веревками.

Я вижу не лицо Нежата, учителя из Стамбула, а его шею, камень, привязанный к ней канатом. Нежата выбросили в море, он, может, еще был жив, тяжело ранен, может, он видел мерцающие огоньки с дальнего берега. Я слышал, слышу всплеск темной воды, которая разверзается, чтобы его поглотить и тотчас сомкнуться вновь. Пятнадцать раз разверзалась и смыкалась вода.

И в Батуме, в парке. Озеро в парке сверкает на солнце среди зеленой листвы. Кто-то тронул меня за плечо. Оглянулся: Рашид! Вот это встреча! Он бросился меня обнимать. Тот самый Рашид, который играл Яго в театре Отелло-Кямиля.

— Что ты здесь делаешь? — удивился я.

— Приехал к большевикам, — ответил он. — Будущее — за ними!

Меня Рашид не спросил, что я здесь делаю. Дал свой адрес. Я не стал ему говорить, что остановился в гостинице «Франция», но через неделю он неожиданно появился у меня в номере. Сказал, что работает в газете. Я познакомил его с членами Зарубежного бюро Турецкой компартии. Он ушел. Месяц спустя явился снова. Сказал, что теперь он редактор газеты. Батум — столица Аджарской Советской Республики. Большинство аджарцев — мусульмане. Говорят по-турецки. На турецком же языке издается газета. Рашид ее редактирует. А мы издаем журнал «Красный профсоюз» и переправляем его на лазских баркасах в Анатолию, Стамбул.

В тот вечер, когда Рашид второй раз побывал у нас, пропала печать Зарубежного бюро. Я вышел вместе с Рашидом и вернулся через несколько часов. Окно, выходящее на балкон, открыто, рама взломана снаружи. Печать хранилась в запертом ящике стола. Замок был открыт. Мы заявили о пропаже в ЧК. На следующее утро меня вызвали туда. За деревянным столом сидел мужчина в пенсне, с густыми черными усами. По-турецки он говорил с азербайджанским акцентом.

— Печать украли не вы, это ясно. Она у вас и так была под рукой. Кого вы подозреваете?

— Никого, — ответил я.

— Ваш дед — паша, отец — крупный чиновник. Но это, в конце концов, неважно. Энгельс тоже был фабрикантом. У Мустафы Субхи отец паша.

— Вы похожи на товарища Мустафу Субхи, — сказал я.

Он улыбнулся.

— Оказывается, я похож на хорошего человека.

Если бы он сказал: на великого революционера, или: на геройски погибшего товарища, или: на большевика-богатыря, я бы понял, но просто «на хорошего человека» — это меня кольнуло.

* * *

На Москву льют весенние дожди. В десятый или пятнадцатый раз я рисую кошку. Си Яу сказал: «Сегодня Аннушка придет к нам на чай». Пошел за пирожками и чем-нибудь еще. Наша с Аннушкой любовь ни на йоту не повредила ее связи, ее странной связи с Си Яу. Окажись я на месте Си Яу, я бы, наверно, постарался больше с Аннушкой не встречаться.

И вдруг в комнату ввалился Рашид. Под мышкой — объемистый, битком набитый портфель. На голове — кепка, как у русских рабочих. Под пиджаком узкий кавказский ремень, отделанный серебром.

— Я приехал в Москву на съезд работников просвещения, — сказал он. — Теперь я нарком просвещения в Аджарии.

Наконец пришла Аннушка. Я представил ей Рашида. Нарисованная мною кошка ей понравилась.

— Но теперь хватит, — сказала она. — В моей комнате уже все стены увешаны кошками.

Пили чай с пирожками. Рашид ушел, вскоре вышли и мы с Аннушкой. Дождь кончился. Аннушка взяла меня под руку. Я стал упрашивать, чтобы она разрешила мне переночевать у нее сегодня, но она не разрешила.

— Почему? Вчера ты же согласилась, а почему сегодня нельзя?

— Просто так...

Под аркой их двора мы целовались. Прощаясь, она сказала:

— А знаешь, мне не понравился аджарский нарком. Нехороший он человек.

— Почему?

— Не знаю. Просто так. Не объяснишь, почему один человек нравится кошке с первого взгляда, а другой не нравится. Таково уж кошачье сердце...

— Ты же не кошка. Человек, и в первую очередь коммунист, должен в своих чувствах руководствоваться разумом. Будь я поэтом, я бы не употреблял слово «сердце».

— А ты любишь меня умом?

— Будь я поэтом, я не писал бы любовных стихов.

Возвращаясь домой, я поймал себя на том, что повторяю двести раз: «Внемли, это флейты тоскующий глас, о скорби разлуки ведет он рассказ».

Два месяца спустя Рашида арестовали как английского шпиона. Его задержали у самых дверей турецкого по-

сольства, где он надеялся найти убежище. Ахмед вспомнил историю с печатью Зарубежного бюро. Аннушке об аресте Рашида не сказал. Его сослали в Сибирь. Он бежал. В тысяча девятьсот двадцать девятом году вернулся в Стамбул, опубликовал серию статей: «Как я стал большевистским комиссаром просвещения». Работал в охране.

ДВАДЦАТАЯ ЧЕРТОЧКА

Ахмед проснулся с головной болью. Уходя, Исмаил опять не закрыл дверь как следует. Каждый раз, обнаружив это, Ахмед вскакивал с постели, закрывал дверь и зажигал лампу. На этот раз он и не пошевелился. В открытую дверь проникал утренний свет. Тарахтенье движка — тук-тук-тук, тук-тук-тук — отдавалось у Ахмеда в мозгу. Неужели началось? Эта головна боль... Двадцатый день. Протянув руку, взял с табуретки медицинский справочник. Когда должны начаться головные боли, не сказано. Зажег спичку, поднес к глазам, того и гляди подпалит ресницы. На пламя смотреть может. Но еще рано, не на двадцатый же день наступает светобоязнь. Опять полистал справочник. Да, ни слова о том, на какой день это должно начаться. Встал. Принял таблетку пирамидона. Есть не хотелось. Полное отсутствие аппетита! Приготовил чай. Выпил с охотой. Обрадовался, но голова просто разламывалась. Принял еще одну таблетку пирамидона. Притворил дверь. Зажег лампу, поднес к самому носу. Нормально! Убрал постель. Посмотрел на черточки. Все одной длины и примерно одинаковой толщины. Хотел начертить двадцатую, но раздумал. Подожду вечера, куда торопиться.

На газетном листе нарисовал кошку. Порвал, бросил. Без конца повторял: «Куда, в какую гавань войдет стомачтовый корабль?»

Итак, игра начинается. Позволь, но ведь я больше не хотел играть. Ладно, сегодня в последний раз... Он сел на табуретку. (Точь-в-точь «Мыслитель» Родена, разве что не голый.) Попытался поймать за хвостик хотя бы одну из мечущихся в мозгу мыслей. Мысли сталкиваются, набегают одна на другую, просачиваются друг сквозь друга, выстраиваются в длинные цепочки. Одни мысли тонкие и гибкие, другие — короткие, рваные. Порою одна порождает другую, порою в их путанице сама собою воз-

никает чужеродная мысль, ни отдаленно, ни близко ни с чем не связанная, растет, разветвляется. Стоит поддаться этой игре, и можно сойти с ума. Одно из правил — проносить вслух те мысли, которые успел догнать, ухватить, поймать. Но только одну из ста удастся поймать и высказать вслух. Нам кажется, что сновидения длятся часами, а на самом деле — мгновения. Я где-то об этом читал или выдумал сам? Голова как будто болит меньше. Выть, как собака! Наверное, человек теряет сознание. Да плюнь ты, ничего не случится. Надо думать о другом. О чем? О том, что надо думать о другом. О том, что надо думать. Думаю: о чем я думаю? Думаю о том, какие же мысли сейчас у меня на уме. Никаких мыслей, кроме мысли о том, что у меня сейчас на уме. Дверные щели заткнуты газетной бумагой. Пистолет. Куда Исмаил кладет пистолет? Мустафу Субхи в затылок из пистолета... Головная боль совсем затихла. Над левой грудью у Аннушки родинка. Ламповый фитиль. Почему я не стал искать Юсуфа в Стамбуле? А что бы из этого вышло? С Османом нос к носу столкнулся в Бейоглу, он отвернулся, прошел мимо. Так болит у меня голова или нет? Рашид, наверное, отдал концы в Сибири.

Ахмед взялся за роман, который вчера принес Исмаил. Посмотрел на часы. До обеда оставалось десять минут. Он обедал в четверть первого, минута в минуту.

ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ ЧЕРТОЧКА

— Ко мне мать приехала, Ахмед.

— Когда? Где она? Поздравляю!

— В обеденный перерыв смотрю: она ждет у входа. Устроил ее в гостинице. Пришел сказать тебе, чтобы ты не беспокоился. Я уйду сейчас часа на два-три. Сказал ей, что живу в общежитии. У меня ближе матери нет никого. Так хочется, чтоб ты с ней познакомился. Нельзя, конечно, но если бы ты ее видел! Такие матери бывают только в романах. Ну ладно, расскажу потом. После работы я заскочил к ней в гостиницу, сказал, что скоро приду.

— Не заставляй ее ждать.

— Но договорились: я ничего о ней не говорил, и ты никому не рассказывай. Я, когда влюблен, тоже никому ничего не рассказываю.

— В мой огород камешек?

— Нет, братишка. У каждого свой характер.

— Кончай трепаться. Ступай.

— Такие, как моя мать, встречаются только в книгах. Жилы из себя всю жизнь тянула, и прачкой работала, и солдатское белье шила, лишь бы я закончил ремесленную школу.

Ахмед не спросил: «А кем был твой отец? Почему матери пришлось одной растить тебя?»

— Заждалась тебя, бедняжка.

— Иду, иду! Ах, если бы ты ее видел! Такая маленькая, такая крохотная...

Ахмед не спросил: «Откуда приехала твоя мать? Что она теперь делает? Есть ли у нее дети кроме тебя?»

— Пробудет здесь дня три-четыре. Ты не жди меня. Ложись.

— Ладно, ладно, проваливай.

Вдруг Исмаил — вот этого никак нельзя было от него ожидать — обхватил Ахмеда за плечи. Они обнялись. Исмаил ушел. Погасив лампу, Ахмед оставил дверь открытой, чтобы видеть звезды.

Ахмед подумал, что вот уже сколько месяцев он даже ни разу не вспомнил о своей матери. Ему стало не по себе. Моя мать не работала ради меня прачкой, не тянула из себя жилы. Но разве я не люблю свою мать так же, как Исмаил любит свою? Мама у меня красивая, очень...

— Аннушка, вообще-то все женщины в нашей семье, по материнской линии, — красавицы.

— А ты, видно, пошел в отца.

— Верно. Постой-ка, дай вспомнить. Сейчас моей матери, должно быть, лет сорок.

Мы грелись на солнце, сидя на одной из скамеек возле памятника Пушкину. Был воскресный день.

— Как зовут твою маму?

— Гюзидэ.

— Гьюзидэ?

— Не Гьюзидэ, а Гюзидэ. У тебя «ю» никак не получается.

— А ты «ц» не можешь выговорить...

— Мать у меня пишет стихи по-французски.

— О любви?

— С какой стати? Замужняя, взрослая женщина.

— Ну и что?

— Как — ну и что? О ком она должна писать любовные стихи? Об отце?

— Почему обязательно об отце?

— А о ком? Мать у меня на рояле играет, Бетховена. А отец признает только турецкую музыку. Как-то раз в интернате я заболел, и меня отправили в изолятор. Пришла мать. Открыла лицо, а в комнате были доктор и учитель истории. Я стал кричать: «Немедленно закрой лицо!» Я страшно ревновал свою маму с самого детства...

На бульваре показался секретарь партийной ячейки Петросян. Он был задумчив и рассеянно грыз семечки. Увидел Ахмеда и Аннушку.

— Здравствуйте, ребята. Вот что я хотел сказать тебе, Ахмед. Мне нужны материалы о земельной собственности в Турции. Кое-что я нашел, но и у тебя...

— У меня нет таких материалов.

— Разве ты не бывал в ваших селах?

— Бывал.

— И ничего не изучил?

— Нет...

— Ваша партия ничего не публиковала на эту тему?

— Не думаю.

Петросян взглянул на Ахмеда с явным огорчением.

— Все-таки расскажи мне обо всем, что видел в селах. — Он угостил Аннушку семечками. Немного подождал, словно хотел сказать еще что-то, потом ушел, мурлыча под нос какую-то армянскую песню.

— Я могла бы влюбиться в Петросяна, — сказала Аннушка.

— Только этого не хватало! Почему же не влюбилась? Почему могла бы? Находишь его симпатичным? Женщины считают симпатичными мужчин, которые, на мужской взгляд, вовсе не симпатичны. Точно так же женщины, которые правятся мужчинам, совсем не красивы с женской точки зрения.

— Я могла бы влюбиться в Петросяна вовсе не потому, что считаю его симпатичным, хотя он и на самом деле симпатичный. Дело не в этом. Он знает, что жить ему осталось несколько месяцев, а живет так, словно не умрет никогда. Вот почему я могла бы в него влюбиться.

— А после его смерти ты больше ни на кого бы не взглянула?

— Думаю, что нет. Впрочем, кто знает, может быть, и взглянула бы.

Они поднялись. Ахмед спросил:

- Куда пойдем, Аннушка?
- Я иду домой. Мне надо постирать.
- А мне с тобой можно?
- Пойдем, если хочешь.
- Завтра вечером сходим к Мейерхольду?
- Завтра вечером я иду на концерт с Си Яу.
- А меня не возьмете?
- Нет.
- Почему?
- Потому что я иду с Си Яу.

Ахмед замолчал. На полпути распрощался с Аннушкой.

— У меня тоже есть дела. Только сейчас вспомнил. На этой неделе наш ансамбль выступает на фабрике... Надо подготовиться.

* * *

Когда Исмаил вернулся, Ахмед спал. Одеяло с него сползло. Исмаил укрыл Ахмеда. «Эх, Исмаил,— говорил Зия,— твоя мать не женщина, а явление природы. Не такое могучее, как море, ветер, огонь, а крошечное вроде атома, но ведь атом — основа всех основ».

...Мать Исмаила умрет в тысяча девятьсот сороковом году.

Среди тюремных надзирателей выделяется один, родом из Бурсы. Он любит немцев. Каждый вечер, пожелав арестантам спокойной ночи, будет снаружи задвигать дверные засовы и запирает замки. Потом через глазок будет подзывать Исмаила: «А ну-ка, подойди, уста, подойди. Гитлер снова бомбил Лондон». И еще будет говорить: «Выиграет немец войну. Не упрямясь, скажи, что выиграет». — «Не выиграет», — ответит Исмаил. «Ну что ж, тебе видней», — скажет надзиратель. Из вечера в вечер будет между ними повторяться один и тот же разговор. У ног вот этого самого надзирателя родом из Бурсы умрет мать Исмаила. За решеткой в зале свиданий. Крошечная, сморщенная старушка. «Я привезла тебе голубцы в оливковом масле, сынок. Пока везла сюда из Манисы, немного помялись. Угости и эфенди-надзирателя, сыночек», — скажет она и вдруг рухнет к ногам надзирателя из Бурсы.

Исмаил прислушался к шуму движка: «Двигатель, похоже, барахлит». Лег.

У меня гости. Они расселись как попало. Кто на земляном полу, кто на койках и табуретках, кто на корточках, привалясь спиной к стене возле шкафа, а один стоит у двери. Я то стою у двери, то сижу на земляном полу, на койках и табуретках, то на корточках, привалясь спиной к стене возле шкафа, то хожу взад-вперед, и лампа, горящая на столе, освещает наши лица — снизу, сверху, сбоку. Аннушка то входит, то выходит, не открывая двери и не закрывая ее; входит и выходит сквозь стены, через вырытую нами яму, входит и выходит через стекло лампы, а иногда и сквозь пламя. Среди моих гостей есть такие, кого я люблю всей душой, и такие, кто мне неприятен. Но врагов у меня нет. Я никому не враг, кроме тех, кто велел убить Мустафу Субхи и его товарищей, и тех, кто убил их. И еще кроме эксплуататоров, и не только наших, а всех эксплуататоров на земле. Кроме фашистов, империалистов, кроме той женщины, что стреляла в Ленина. И еще кроме Колчака, Деникина, кроме пучеглазого белобрысого офицера, убившего Аннушкиного отца, кроме правых социал-демократов, кроме греческого короля Константина и премьера Аверофа, кроме греческих оккупантов, которые сожгли Измир, кроме флота оккупационных держав (в двадцать первом году, когда мы бежали из Стамбула в Анатолию, наш буксир прошел прямо под серым стальным носом одного из кораблей этого флота). Вот, пожалуй, и все. Возможно, кого-нибудь я забыл упомянуть. Да, я еще враг Трибунала независимости, который арестовал наших и разыскивает меня. Все мои враги, само собою, тоже ненавидят меня, во всяком случае, те из них, кому известно о моем существовании. Например, мировому империализму нет пока до меня дела. Но есть и такие, которые ненавидят меня просто так. Почему? Кто знает? Иные люди мне враги, а я к ним вражды не испытываю. Странно, если знаешь, что человек тебе враг, а сам к нему вражды не испытываешь, то вскоре забываешь об этом человеке. Странно...

У меня гости. Все города, где я побывал, и города, которые знаю лишь по рисункам и книгам, все поселки, горные тропы, леса, улицы, почин, дни, речка в деревне Кирезли, текущая вместе с форелью, бухта Каламыш в Стамбуле, Тверская улица в Москве с торцовой мостовой, зеркальное кафе в Болу, в зеркале напротив я вижу свое отражение, так же как в гостиной Шюкрю-бея в тот день,

когда я приехал в Измир, только я без усов, на голове у меня большая островерхая папаха, виски заросли, брови сдвинуты — отдал бы все на свете, лишь бы выглядеть на десять лет старше. В зеркале я увидел: на меня смотрит, да не просто смотрит, а строит глазки, негодяй в желтой шелковой чалме, с округлой бородой и подведенными сурьмой глазами. Я обернулся. Он осклабился. Я запустил ему в голову стаканом с чаем. В Болу меня после этого случая прозвали Сумасшедшим учителем. Пожалуй, благодаря этому авторитет мой несколько поднялся. У Джевада нет чалмы, нет круглой бороды, он не строит глазки мужчинам, но чем-то все же схож с негодяем из Болу. Рыжеволосый Рашид, нарком просвещения из Аджарии, был актером-любителем, а Джевад был профессионалом. И очень гордится этим. Как он попал в Россию, не знаю. Работает в ЧК. Как поступил в ЧК, тоже не знаю. Я для него — враг. Почему? Не знаю. На Арбате в пивной мы с товарищами, с Петросяном пили пиво. Я рассказывал о деревнях в окрестностях Болу. Пришел Джевад, сел за наш стол. Он был пьян. Некоторое время молча слушал меня. Потом сказал: «Послушай-ка, ты — агент Мустафы Кемаля. У нас заведено на тебя дело. Твоя жизнь в моих руках. А душа твоя стоит одной пули». Не успел я ответить, как Петросян не крикнул, а тихо, почти шепотом сказал: «Убирайся вон, пьяный бродяга!» Взял Джевада под руку, вывел на улицу и вернулся. «Революция, — сказал Петросян, — поднимает на море такие волны, вызывает такой шторм, что со дна всплывает всякая плесень, засоряет наш порт». Через три дня я встретил Джевада перед кинотеатром «Шануар». Он пожал мне руку, потрепал по плечу: «Я напишу пьесу и поставлю ее, а вы сыграете».

Для Джевада я — враг. Однако я к нему вражды не питаю. Он мне просто противен. Вражда, видимо, слишком серьезное, значительное чувство, и растрачивать его на такое ничтожество не стоит.

Среди моих гостей есть и Нури Джемаль. С ним я познакомился в Батуме. Седая бородка клинышком. Ему уже лет пятьдесят, не меньше. В Турции писал книги и о кооперативном движении, и о грамматике турецкого языка. В эпоху Абдулхамида за причастность к иттихадистам был сослан в Африку. Пишет стихотворения для детей, одно хуже другого. После свержения царизма приехал в Баку, чтобы заняться торговлей, потом, познакомившись с Субхи, вступил в партию. Говорят, он отпустил бороду, чтобы скрыть шрам на подбородке. Так ли это, я не знаю.

Бабник, как все пожилые мужчины, охоч до молоденьких женщин. Возможно, не все пожилые мужчины таковы. Владеет французским, русским, греческим. Некоторые положения марксизма, например теорию прибавочной стоимости, я узнал от него. Мыться не любит, как и я, не очень любит. В Батуме, в гостинице «Франция», у нас была в номере одна кровать, но зато какая! Королевское ложе! Правда, не в смысле белья: простынь нет, настоящего одеяла тоже, так себе, тонкое байковое. Зато широченная, с упругим пружинным матрацем. Кроме кровати в номере был диван. Я уговаривал его лечь на кровати, но так и не уговорил. «Не сегодня-завтра, Ахмед, нам предстоит вернуться на родину, где ждут нас всяческие лишения, может быть, и тюрьмы. Если я на старости лет привыкну нежиться на пружинных матрацах, мне тюремные нары покажутся вдвое жестче». Он спал на диване, укрывшись пальто. Даже чай пил без сахара. Мы вместе приехали в Москву, он стал преподавателем университета. Я познакомил его с Аннушкой. Вскоре она мне сказала:

— Твой профессор объяснился мне в любви. Как красиво он говорил!

— Ты могла бы полюбить пожилого мужчину, Аннушка?

— Что значит пожилого?

— Лет тридцати пяти — сорока.

— Могла бы. И даже старше.

— Ты правду говоришь?

— Правду.

— Но ведь это ненормально!

— Почему? Когда пожилая женщина влюбляется в молодого мужчину, это действительно ненормально. А может быть и нет. Разве любовь бывает нормальная или ненормальная?

Профессор Нури Джемаль в двадцать восьмом году вернулся в Турцию. Работал в Лингвистическом обществе. Стал депутатом меджлиса. Умер в возрасте восьмидесяти двух лет.

...В тот вечер Аннушка и Си Яу собирались на концерт. Я ввалился к ней в комнату за час до их ухода. Си Яу был там.

— Откуда ты? — удивилась Аннушка. — У тебя же были дела.

— Я управился с ними.

Мы поговорили о том о сем. Си Ю почитал стихи китайских классиков, потом их переводы на русский. Им пора было уходить.

— Ну, мы пошли,— сказала Аннушка.

— Я останусь здесь,— сказал я.

— Оставайся,— ответила она,— но с одним условием: если ты вымоешься. Согрей на кухне воду, только не мешай соседям. Когда все уgomонятся, помойся на кухне в уголке. Не плечи вокруг себя. Возьми халат из гардероба. Сначала сходи домой, принеси чистое белье. Дашь слово?

— Даю.

Они ушли. Я удивляюсь Си Ю. Он же знает о наших отношениях с Аннушкой, но все равно любит ее, как сумасшедший, и не скрывает этого. Мужчина он или нет?

Я сбегал домой за чистым бельем. Всю дорогу думал об Аннушке и Си Ю. В Аннушкиной комнате лег на диван. Опять думал о Си Ю, но гораздо спокойней. Думал о них обоих. В голову лезли самые дикие мысли. Поставил на газовую плиту ведро воды. Вернулся в комнату. Разделся, снова лег на диван. Слушая музыку, Аннушка обычно кладет руку мне на колено. Сейчас, наверное, ее рука на колене Си Ю. Что из этого? Как что из этого? Будут возвращаться с концерта пешком, бок о бок по пустынным улицам. Почему она не захотела, чтобы я тоже пошел на концерт? Черт побери! Что происходит?! Оказывается, я заснул. Возле дивана Аннушка. В руках у нее ведро. Это она плеснула на меня водой.

— Ты с ума сошла?!

Все кругом — диван, мои трусы, майка — мокрым-мокрое. Я пришел в ярость:

— Это непорядочно с твоей стороны!

— Не кричи. Разбудишь соседей.

— С Си Ю разводишь шуры-муры, а мною командуешь!

— Что ты сказал?

— То, что слышала.

— Вот твое чистое белье. Одевайся. Уходи.

Неделю мы с Аннушкой не здоровались.

Я сделал монтаж и развесил его по стенам нашей комнаты. Лента шириной в полметра опоясывала всю комнату от одного края двери до другого. Аннушка и Керим рассматривают рисунки. Си Ю и я стоим у них за спиной. Монтаж изображает смену общественных формаций.

Справа от двери — картины первобытного общества. Посредине — племенного строя, рабовладельческого, а в конце — высшие ступени общественного развития, мировой коммунизм, слияние всех рас: человек единой нации — коммунистической, возвышается над миром без границ, без правительств, без классов.

— Я все думаю,— говорит Аннушка,— когда люди при коммунизме будут говорить на одном языке, какой это будет язык? Русский? А может быть, китайский?

— Конечно, китайский,— проговорил Си Яу.

Аннушка рассмеялась.

— Ах ты, националист этакий... Возможно, этот язык будет смешанным, а может быть, английский или какой-то совсем другой. Но если не русский, то как же люди станут наслаждаться Пушкиным?

— А я вот не читал Пушкина,— оброчил Керим, не отрывая от рисунка своих желтых глаз, его черные как смоль брови сошлись над переносицей.— Стыдно, но я не настолько хорошо знаю русский, чтобы понимать Пушкина. А на турецкий он не переведен. Я не думаю, что общим языком станет турецкий. К тому же дело не в Пушкине и не в языке. Главное, не останется ни одного голодного. Не будет безработных, неграмотных, хозяев, рабочих, крестьян, полиции, жандармов, страха друг перед другом. Работай, сколько хочешь, ешь, пей, читай, пиши, наслаждайся. Эх, мать честная, будет это, будет! Только бы поскорее! Конечно, до полного коммунизма мы не доживем, но мировую-то революцию увидим. И этого достаточно. Все ждут, когда поднимутся немецкие пролетарии, а я жду этого от французов. В Анкаре на военном заводе был такой Сейфи-уста, лет десять или даже больше проработавший в марсельских доках. Он говорил: «Вы еще увидите, на что способен французский рабочий». Взять хотя бы Парижскую Коммуну.

Керима направила в Московский университет анкарская организация. Здесь он у меня самый близкий друг. Терпеть не может двух вещей: курения и лжи. Не позволяет мне курить при нем. «Врать допустимо только врагу. Кто врет, пусть даже бабе, чтобы к ней подъехать, тот не мужчина». Он познакомился с Марусей, одной из подруг Аннушки. У Керима с ней был полный порядок, но она так ни разу и не добилась, чтобы он сказал: «Я очень люблю тебя».

— Значит, ты меня совсем не любишь, Керим?

— Как же мне тебя не любить?

- Очень любишь?
- Не очень...
- Почему не очень?
- Откуда я знаю? Не очень, и все. Если очень полюблю, так и скажу: очень. Но пока что такой любви к тебе у меня нет.

Тридцать градусов ниже нуля. Под вечер мы с Керимом пошли в баню в одном из переулков на Тверской. Фартуки или что-нибудь другое в этом роде здесь не приняты. Голые, мы стеснялись взглянуть друг на друга. Помылись, прячась за огромные шайки и опустив глаза. Вышли на улицу. Порядочно стемнело, зажглись фонари. Окна трамваев заледенели, витрины тоже заледенели. Скрипели полозья саней. Плюнешь — упадет льдинка. О таком морозе в Анатолии говорят: «Лисий помет медью станет». Прохожие почти бежали, у большинства на ногах валенки. Перед нами, поскользнувшись, упала женщина. Мы помогли ей подняться. Мы коченели в наших солдатских шинелях и буденовках с опущенными и застегнутыми под подбородком ушами. На морозе городской гул становится прозрачным. Я показал Кериму на девушку, попавшуюся нам навстречу:

— Смотри, как разругянилась. До чего ж хороша!..

— Это от мороза, — буркнул он, — и нос как свекла.

Город коротает еще одну из своих зимних ночей и не знает, что на него вот-вот обрушится страшное бедствие. И не только Москва. Не предчувствуют ничего ни Париж, ни Нью-Йорк, ни Стамбул, ни Сингапур, ни Пекин, ни один из городов на свете. Каждый из них — где-то сейчас вечер, где-то — предрассветные сумерки, где-то — полуденная жара, — каждый из них живет своей жизнью, там кто-то рождается, кто-то умирает, у кого-то горе, у кого-то радость, кто-то надеется, кто-то печалится, катят автомобили, конные повозки, едут трамваи, работают фабрики, магазины, улицы застроены каменными, деревянными или фанерными домами, люди спешат на работу, возвращаются с работы, заняты на работе, шатаются без дела, сидят в кафе, целуются в парках, смотрят фильмы в кинотеатрах. Никто на свете, кроме нескольких человек, не знает, что скоро, очень скоро, через пять минут случится страшное бедствие.

Мы приблизились к кинотеатру «Шануар». Вдруг где-то распахнулись огромные деревянные ворота. То ли вне-

реди, то ли сбоку, то ли напротив — я не заметил. Из ворот хлынули грузовики, люди, толпы людей. И я услышал крик. В этот миг наверняка кричало много людей, но мне показалось, что это кричит только один человек. Только один человек, подавивший своей мощью освещенную, суетящуюся, бесконечную улицу, ночь, мороз, прокричал: «Ленин умер!» Что было потом? Что было потом, я видел какими-то обрывками, перепутанными во времени, перемешанными друг с другом. И слышал я тоже так. Люди, выскочившие из ворот на улицу, держали в руках газеты. Их мигом расхватили. Передо мной остановился трамвай. Он опустел в одно мгновение. Все трамваи встали. Вагоны пустые. Я ничего не слышу. Плачет старик, сняв шапку, прижав ее к груди. На его лысину падает снег. Остановились сани. Мгновенно опустели. Опустели кинотеатры, и рестораны, и жилые дома. Словно спасаясь от пожара, люди выскакивали наружу. Тверская покрылась толпами, тесно сгрудившимися вокруг продавцов газет. Плачет вагоновожатый, присев на ступеньку трамвая. Плачет розовощекая девушка, которую мы только что видели, плачет Керим с газетой в руке. Но я ничего не слышу, и все, что я вижу, происходит как будто в огромном аквариуме, которому нет ни конца, ни края. Один человек упал на землю. Другой. Я вижу людей, которые рыдают, уткнувшись в плечо друг другу, но звуки не доходят до меня. Кто-то потянул меня за рукав. Я обернулся: сморщенная старушка, маленькая, в шубейке, голова укутана в шаль. Тянет меня за рукав и что-то говорит беззубым ртом. Я не понимаю. Нагнулся. Голосом шести-семилетней девочки и с испугом шести-семилетней девочки она спрашивает: «Умер Ленин?» Я киваю. «Значит, умер...» Я думал, она сейчас перекрестится, но она не крестится, отпускает мой рукав. «Беда нам». Повторяет: «Беда нам! Беда нам!» Беда нам! Голос крепнет, растет, расширяется во все стороны, словно сказочный джинн, выскочивший из бутылки, потом внезапно пропадает, и тогда я различаю подлинный голос. Я слышал, как плакали навзрыд десять, а может быть, и двадцать человек, когда хоронили моего деда. Можно представить себе, как одновременно плачут сто человек, но рыдание целого города ты не в силах вынести больше пяти — десяти минут. Ты его слышишь, но, инстинктивно стремясь защитить свои нервы, спастись от безумия, ты перестаешь его слышать, и справа, слева, спереди, сзади до тебя доносится уже не этот общий плач, а рыдания отдельных людей.

Когда мы вернулись домой, нам сказали, что коммунисты будут стоять в карауле. Мы с Си Яу не могли усидеть в комнате. Мы не могли совладать со своим одиночеством. Пошли в другие комнаты общежития. Все сидят на кроватях. Все молчат. Кто-то начал раздеваться. Мы смотрим на него не враждебно и даже не презрительно, а просто с удивлением. Смотрим так, будто он выполняет сложный акробатический трюк. Он улегся. Натянул на голову одеяло. Мы все смотрим на него.

Под утро я встал на пост в вестибюле общежития. В руках у меня винтовка. А как с ней обращаться, не знаю.

Тело Ленина перенесено в Колонный зал.

Со всех концов страны поезда доставляют в Москву людей, желающих увидеть Ленина в последний раз. Людские потоки, текущие через Колонный зал, чтобы проститься с Лениным, кончаются где-то за пределами города. На улицах и площадях днем и ночью горят огромные костры. Днем и ночью текут к Колонному залу людские потоки. Кареты «Скорой помощи» везут в больницы обмороженных, заболевших.

Вечером третьего дня пришел Петросян, велел собираться. Мы сели в кузов открытого грузовика, вернее, насили втиснулись. Проехав по улицам, заполненным людскими толпами, мимо гревшихся у костров, остановились у бокового подъезда Дома Союзов. Когда мы входили, Петросян сказал мне:

— От имени университета будешь стоять пять минут у гроба Ленина в почетном карауле.

В здании, которое называют Домом Союзов, при царе, говорят, находилось Дворянское собрание. Сейчас здесь профсоюзный клуб. Я поднялся по лестнице, откуда-то допосытся звуки траурного марша. Вошел в комнату. Мрамор, позолота, красный бархат. Многолюдно. Рабочие, командиры Красной Армии, бородатые и безбородые, крестьяне, мужчины и женщины всех возрастов, всех слоев населения. Траурный марш звучит совсем рядом. Видимо, играют в соседнем помещении. В комнате все молчат. Сколько я ждал? Подошел какой-то человек. Шепнул: «Пошли». Открыл дверь. Траурный марш мощной волной захлестнул меня. Невообразимо яркий свет. Такие громадные хрустальные люстры я видел в Кремлевском дворце. В их пронзительно-ярком свете медленно-медленно течет, течет, течет людская лавина. С человеком, который держит меня за рукав, мы медленно продвигаем-

ся вперед. И тут я увидел Крупскую. С гладкими седыми волосами, расчесанными на пробор, в строгом платье. У нее за спиной груды цветов. Руки бессильно повисли. Широко раскрытые глаза, слегка навывкате. Проследив за ее взглядом, я увидел Ленина. Его лоб, желтый, невероятной ширины лоб. Земной шар. Ленин лежал на спине, сложенными на груди руками. Я увидел орден Красного Знамени. На высоком постаменте в открытом гробу лежал Ленин среди красных полотнищ и цветов. У него в головах стояли двое, и двое — в ногах. Я принял караул у туркестанца. Передавая пост, он что-то шепнул мне. Я не ответил. С винтовкой в руках стою, не шевелясь, в изголовье у Ленина. Вижу Крупскую, вижу лоб Ленина. Бесперывно, четырьмя колоннами, две с одной стороны, две — с другой, течет людская лавина. Почти никто уже не плачет. Поравнявшись с гробом Ленина, люди на миг замирают. Затем, мягко подталкиваемые сзади, продвигаются вперед и до самого выхода, даже когда видеть Ленина уже невозможно, идут, повернув головы и глядя назад. В зал вошли моряки. Я почему-то решил, что это кронштадтские матросы. Конечно, это могли быть вовсе и не кронштадтцы, но я подумал именно так. Они были без бушлатов, грудь нараспашку. На улице, должно быть, снегопад. Плечи матросов припорошены снегом, волосы мокрые. Огромные, рослые парни. Они шли тесными рядами. Подойдя к гробу Ленина, их старшина приостановился, вскрикнул: «Ах, мамочка!» — и рухнул на пол. Порядок не был нарушен. Матросы подняли старшину и прошли мимо. Глаза у всех влажные, синие. Мне показалось, что они прощаются с морем, чтобы никогда больше к нему не вернуться. Только после этого я заметил, что многие в рядах падают в обморок. Их поднимают и уносят. Я вижу голову Ленина, слышу траурный марш. Меня уже не интересуют люди, непрерывно текущие четырьмя колоннами. Я смотрю на Ленина, и мне хочется плакать. Аннушка, мне нет дела до того, плачут или нет, стоя в карауле. Я хочу плакать, но не могу.

КОНЕЦ ДВАДЦАТЬ ВТОРОЙ ЧЕРТОЧКИ

У меня гости, они явились из дальних далей моей жизни. Ахмед мысленно улыбнулся: «Не столь длинна твоя жизнь, брат, чтобы в ней были дальние дали. Мы с тобой самую малость пожили». Ахмед даже ни разу не подумал

о том, что скоро может умереть от пули Исмаила. Пистолет мой и пуля моя, но стрелять-то будет Исмаил. Да, об этом Ахмед сегодня ни разу не подумал. Родная моя Аннушка, что ты сейчас делаешь? Что ты делаешь в эту самую секунду, когда я спрашиваю, что ты сейчас делаешь? Неожиданно я снова услышал шум движка. Тут-тук-тук, тук-тук-тук. А я уже позабыл о нем. Когда человек все время слышит один и тот же звук, он не то чтобы перестает слышать, а просто забывает о нем. Я обрадовался, как будто встретил старого знакомого, которого давно не видел. Долго-долго слушал. Потом опять забыл.

...Передо мной возникают желтые глаза Керима под черными как смоль бровями, потом он весь.

...Мы с Керимом стоим на мосту в Стамбуле. Пасмурно. Вот-вот пойдет дождь. Мы недавно вернулись из Москвы. Продаем первый номер газеты «Орак Чекич». Мы должны продавать в разных местах: я — на мосту, Керим — в Касымпаша, возле верфей. Но когда мы пришли на мост, я — чтобы продавать здесь газеты, а Керим — чтобы сесть на пароход, идущий в Касымпаша, я попросил его:

— Побудь со мной минут пять — десять, что тебе стоит.

— Боишься?

— Чего мне бояться? Нет. Просто мне кажется, я не смогу кричать: «Орак Чекич»! Свежий номер «Орак Чекич»!» Не смогу так кричать.

— Тебе стыдно?

— Что-то вроде. Никогда ничем не торговал.

— А я торговал! Мой отец был лоточником.

— Не сердись. Я не знаю, хватит ли у меня голоса.

— Эх ты, отпрыск паши!

Керим вытащил газету из своего свертка и, размахивая ею, завопил:

— Читайте «Орак Чекич»! Последние новости сообщает «Орак Чекич»!

Никто даже не обернулся. Начал накрапывать дождь.

— Свежий номер «Орак Чекич»! Покупайте!

Я тоже извлек один номер из своей пачки. Керим совал газету под нос всем прохожим.

— «Орак Чекич»! «Орак Чекич»!

Ноль внимания. Люди спешат, чтобы не вымокнуть под дождем. Те, кто проявляет какой-то интерес, огляды-

вают одежду Керима, совсем непохожую на одежду продавца газет. Возможно, поэтому и не гонят его от себя.

— Не нужно,— коротко отвечают они и проходят мимо.

Неужели ни один порядочный человек не пройдет по этому мосту?

— «Орак Чекич»!

— Фу-ты, мать честная, неужели не продадим ни одного номера на этом мосту, чтоб ему провалиться? Но уж в Касымпаша пойдет нарасхват, вот увидишь.

На глаза мне попались слова, набранные под названием газеты, которую я держал в руках: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» И тут я завопил изо всех сил, да так, что сам удивился силе своего крика:

— Пролетарии всех стран, соединяйтесь! Пролетарии всех стран... «Орак Чекич»! — Я кричал так, словно звал на помощь.— «Орак Чекич»!

— А ну, посмотрим, как соединяются пролетарии всех стран...

От радости я чуть было не кинулся на шею сказавшему это хорошо одетому господину. Дал ему номер.

— Возьми же деньги, сынок.

Только после этого я заметил, что он протягивает мне деньги.

— Когда я был молод,— улыбнулся он,— социалисты в Париже так же продавали свои газеты.

В тот день я продал на мосту сорок шесть экземпляров «Орак Чекич». Керим в Касымпаша — двести двадцать пять.

Мы медленно продвигаемся к Красной площади. Со всех сторон окружают нас люди, флаги, лозунги, портреты, песни. Мы поем наш Первомайский марш: «Что мы требуем в день Первомая...» Аннушка присоединилась к нам. Мы научили ее словам марша, она поет его по-турецки. Я держу Аннушку за руку.

— Боишься, как бы она от тебя не сбежала? — спросил Керим.

— Не знаю. Но мне почему-то все время страшно, вдруг я ее потеряю. Вдруг она превратится в дым и растает или в птицу и упорхнет от меня.

— Правду говоришь? Или рисуешься?

— Правду.

— А я думал, такое бывает только в романах.

Мы приостановились. Позади нас шли кавказцы. Они тотчас образовали круг и начали танцевать танец под названием «Шейх Шамиль», вытолкнув на середину парня-дагестанца, самого интересного в университете. Аннушка бросила меня и пошла смотреть. Я следом. Сначала парень медленными движениями изображает намаз — говорят, шейх Шамиль перед боем с царскими войсками совершал намаз. Сцена намаза сопровождается медленной, плавной мелодией. Затем внезапно меняется ритм: Шамиль бросается в бой. Выхватив кинжал и время от времени вытягиваясь на носках, танцор бешено кружится.

К дагестанцу присоединились еще два-три парня и девушка. Зрители, хлопая в ладоши, поддерживали темп. Я спросил Аннушку:

— Тебе нравится?

— Да. Не могу наглядеться.

— На дагестанца?

— Какой же ты пошляк! Да, представь себе, и на него. Ну и что?

Мы тронулись дальше. На боковых улицах демонстранты ждут, когда настанет их черед примкнуть к главной колонне. «Наши пекари!» — вскрикнул Керим. На одной из боковых улиц — парни с нашего Причерноморья, в шароварах, башлыках и с красными флагами. На некоторых флагах наш полумесяц со звездой. Другие — без звезды и без полумесяца. Первомайские лозунги на турецком языке. В Москве бесчисленное множество лазских пекарей. А китайцы в основном работают в прачечных. И наши и китайцы сохраняют свое подданство. Но и те и другие участвуют в выборах в Советы, могут выбираться в советские органы, вступать в профсоюзы и в партию. Как это замечательно, мать честная! Есть на свете огромная земля, где тебя не спрашивают, какой ты нации, какого вероисповедания, какого подданства. Спрашивают, не жил ли ты за счет другого, не был ли ты попом или имамом, не работал ли ты в буржуазной полиции или жандармерии. Стоит тебе отрицательно махнуть головой, и никому нет дела до твоего подданства, и ты становишься таким же сыном этой огромной земли, как если бы ты здесь родился и вырос. Как это замечательно, мать честная, как это замечательно, Аннушка! Попасть в страну, не зная ее языка, традиций, обычаев и не чувствовать, что ты на чужбине... Жить на чужбине, должно быть, очень тоскливо, не знаю, мне не пришлось испытать этого. Но на ялы у моего деда был садовник-албанец. Кто знает, сколь-

ко лет он прожил в Стамбуле, и все равно то и дело повторял: «Хорошее место Стамбул, дай Аллах счастья его хозяевам. Однако боюсь, что так и помру здесь, на чужбине».

Вдруг возник какой-то шум. Впереди нас ряды смешались. Там шли студенты-японцы. Крики, вопли на японском языке — настоящее светопреставление! Но не успели мы разобраться, что происходит, как японцы восстановили порядок. Мы заметили, что трое милиционеров что-то уносят. Оказалось, японские студенты разглядели в толпе агента своей политической полиции. Этот негодяй из-за угла фотографировал японских ребят. А они, в большинстве своем, приехали в Москву нелегально. Недолго думая, они навалились на подлеца, разнесли на куски его фотоаппарат, да и самого поколотили как следует. Мы спросили Петросяна, что там случилось. «Так, шпика потрепали немножко», — ответил он, но глаза его как-то странно смеялись. Все это нас немного задержало, но вскоре людской поток снова медленно поплыл к Красной площади. Я держал Аннушку за руку.

Ахмед печально улыбался. Не слишком ли часто вспоминается ему, как он при каждом удобном случае крепко сжимал руку Аннушки...

Он заметил, что пропустил время обеда. Уже два часа. Сегодня он будет есть горячее. Сколько времени он тоскует по горячей еде! Вареная фасоль, густо приправленная красным перцем!..

Исмаил опять пришел поздно. Свежие газеты он положил на табуретку поверх брошенной одежды Ахмеда. Прислушался к шуму движка. «Видно, отладили».

Он начал раздеваться. Ахмед что-то бормотал во сне.

...Первый раз Исмаила арестовали через три года после той ночи в тысяча девятьсот двадцать восьмом году. Судили его в Измире, потом отправили в диарбакырскую тюрьму. Отсидев два года, он вышел. В тридцать первом снова попался. После суда его направили в тюрьму в Бурсу. Там-то, в тридцать втором году, Исмаил познакомился с Нериман. В зале свиданий. Он — по одну сторону решетки, она — по другую. Нериман приехала из Стамбула повидаться со своим старшим братом, Османом-беем, бухгалтером банка, осужденным за растрату. Исмаил разго-

варивал с матерью, вернее, кричал, чтобы она его слышала. А рядом с ней стояла Нериман. Перед решетками стояли люди, и каждый старался перекричать другого. Осман-бей показал Исмаилу Нериман:

— Это моя сестра.

Нериман улыбнулась глазами, черными, еще не утратившими детскости. Исмаил махнул ей рукой.

— Мы с маленькой ханым приехали на одном пароходе из Стамбула! — прокричала мать Исмаила. — Маленькая ханым мне так помогла в автобусе, так помогла, дай ей бог здоровья!

Нериман снова улыбнулась.

— Спасибо вам, Нериман-ханым! — крикнул Исмаил.

— Мы с маленькой ханым остановились в одной гостинице. В одном номере.

Исмаил улыбнулся Нериман. Осман-бей крикнул:

— Я попрошу у начальника тюрьмы разрешение, и в следующий раз мы встретимся в комнате главного надзирателя!

До конца свидания Исмаил и Нериман то и дело украдкой поглядывали друг на друга сквозь решетки.

Исмаил сидел в одной камере с Османом-беем. Вместе они съели то, что принесли мать Исмаила и Нериман: рахат-лукум с фисташками, да не какой-нибудь, а от Хаджибекира — его принесла Нериман; колбасу от Апикоглу — тоже Нериман принесла; фаршированные баклажаны в оливковом масле — их сготовила мать Исмаила.

В тот же вечер, доедая баклажаны, Осман-бей заговорил об Ахмеде:

— Вот уж кто любил покушать! (Это Осман выдумал, не зная, что Исмаил знаком с Ахмедом.) В те времена в Болу не только ресторана, даже более или менее чистой харчевни не было. Ахмед все сокрушался: как же, мол, так, в Стамбуле и то идет слава про кулинаров из Болу. Никогда не забуду, однажды вечером в компании над постоянным двором мы провели наше очередное судебное заседание и осудили на десять лет одного богатея. После этого я выложил на стол голубцы, которые приготовил собственноручно. Что тут началось! Ахмед с Юсуфом чуть в обморок не упали от удивления.

Слушая истории о Болу, которые Ахмед рассказывал в свое время в Измире, Исмаил всякий раз испытывал какую-то странную грусть. Почему — он и сам объяснить не мог.

Через шесть дней им разрешили свидание в комнате главного надзирателя.

В комнате главного надзирателя стояла железная койка, покрытая казенным одеялом, письменный стол с порванным черным дермантином да три табуретки. На стене рядом висели фалака и литографический портрет Ататюрка.

Нериман и мать Исмаила сели на табуретки. Осман-бей и Исмаил — на койку. Им дали всего час. Осман-бей вспоминал разные истории о временах, когда был в Германии. Спросил у Нериман, как дела в школе (она была учительницей в начальной школе в Стамбуле). Похвалил Исмаила («я этих ребят, коммунистов, с давних пор знаю, сам был причастен к их делам; честные ребята, будьте спокойны, ханым, придет день, так или иначе, а своего они добьются»). Нериман говорила мало. Голос у нее был низкий, никак не вязался с глазами, еще не утратившими детскости. Осман-бей очень понравился матери Исмаила. Исмаил и Нериман не сказали друг другу ни слова.

Через два месяца Нериман приехала снова, на этот раз всего на один день. Осман-бей позвал Исмаила с собой в зал свиданий. Надрываясь от крика, Исмаил и Нериман перебросились несколькими словами. Нериман спросила Исмаила о его матери, а Исмаил спросил Нериман, когда начнутся экзамены в школе. Осман-бей прокричал, что к десятой годовщине республики ожидается амнистия.

— Теперь в Стамбуле Исмаил будет приходить к нам каждый день. У тебя появился еще один старший брат, Нериман.

— Разве вы не поедете в Манису, к своей матери, Исмаил-бей? — спросила Нериман.

— Если отпустят на свободу, съезжу, конечно, повидаться. Но жить собираюсь в Стамбуле.

В ту же ночь Исмаилу приснилась Нериман. Мужчинам в тюрьмах часто снятся женщины, и сны бывают порой самые нелепые. Случается, пригрезится во сне такая уродина, что и смотреть тошно, а то приснится какое-то безликое существо, но тебе кажется, что это самая желанная на свете женщина. Желанная, но недоступная. Нериман тоже была недоступна. Она держала Исмаила за руку, и они гигантскими шагами, едва касаясь пола, почти невесомые, летали по камере, навроде того, как летают в аттракционе «гигантские шаги».

В тысяча девятьсот тридцать третьем году Исмаила освободили по амнистии. Первым делом он съездил к ма-

тери в Манису. А когда вернулся в Стамбул, так закрутился, так закрутился — причесаться некогда: и на партийное собрание сходить надо, и на работу устроиться, и листовки на шапирографе печатать, и расклеивать их по ночам. Только однажды, в воскресный день после полудня, он выбрался в Кадыкёй, в гости к Осману-бею. Того дома не оказалось. В одном из тихих переулков неподалеку от кинотеатра «Сюрейя», в нижнем этаже узкого, невзрачного каменного дома, в тесной гостиной он выпил чашку кофе, который приготовила Нериман. В доме стояла тишина. За окнами не проходил ни один пешеход, как здесь всегда бывает в этот послеполуденный час. Теплый, мягкий ветерок слегка колышет тюлевые занавески на открытых окнах. На Нериман платье с короткими рукавами. Они молчат. Исмаилу вспоминается, как они с Нериман «летали» по камере. Он смотрит на ее обнаженные руки, золотисто-смуглые, покрытые легким пушком. «Ну, не робей, парень,— нашептывает ему черт.— Хоть за руки возьми ее. Вы же здесь одни!»

— Отчего вы молчите, Исмаил-бей?

— Мне нечего рассказывать. Лучше вы расскажите о чем-нибудь.

— Как здоровье вашей матушки?

— Хорошо, спасибо. У Османа все в порядке?

— Наверное. Я в его дела не вникаю. И никогда ни о чем не спрашиваю. Женщины не должны вмешиваться в мужские дела, ведь правда?

— Нет, не правда. Вы тоже, слава богу, работаете, не меньше и не хуже некоторых мужчин. Зарабатываете себе на жизнь.

— Да, это так. Но все-таки... Женщина есть женщина, даже если она содержит семью.

Исмаил заговорил о равноправии мужчин и женщин, о том, что нужно освободить женщину, тем более работающую, не только от эксплуатации капитала, но и от корыта и кухни. Нериман слушала Исмаила, и в глубине ее черных-черных глаз, еще не утративших детскости, отражалось то удивление, то одобрение. И в то же время она, видимо, не вполне соглашалась с тем, что говорил Исмаил.

Прошло около месяца. Исмаила арестовали опять. Почти восемь месяцев просидел он в «ложах» тюрьмы Султанахмед. «Ложи» — это каменные клетушки с одним окном, выходящие в узкий коридор и изолированные от других помещений тюрьмы. В нижнем этаже — такие же «ложи», но коммунистов сажают в верхние.

Был день свиданий. Исмаил и Керим говорили об Ахмеде. Керим вспоминал, как в двадцать пятом году они с Ахмедом продавали на мосту «Орак Чекич».

— Эту историю я знаю. Расскажи-ка лучше о другом,— перебил Исмаил.— Я слышал, ты встречался в Москве с одной девушкой, и у вас с ней был полный порядок, а все-таки она никак не могла заставить тебя сказать, что ты ее очень любишь...

Керим улыбнулся.

— В те времена я ненавидел вранье...— он затянулся сигаретой,— и курение... Сейчас привык и к тому и к другому...

— Коль речь зашла о курении, дай-ка сигарету,— сказал Исмаил.

Керим порылся в карманах, вынул три сигареты, протянул одну Исмаилу. Тот разломил ее пополам, вставил половинку в длинный деревянный мундштук.

— Зия, бывало, говорил, что стрелять курево — самый презренный вид нищенства.

— Правильно говорил.

Исмаил начал сквозь зубы насвистывать марш в честь десятилетия республики, затем усмехнулся:

— А ты знаешь, братишка, в словах этого марша сначала была такая строка: «За десять лет мы взрастили пятнадцать миллионов героев». А при пении получалось: «пятнадцать миллионеров»¹. Пришлось заменить текст.

— Напрасно меняли,— сказал Керим и повторил: — «За десять лет мы взрастили пятнадцать миллионеров». Так оно и есть.

— «Наши господа давно утратили свою революционность» — так сказал когда-то Ахмед. Подожди-ка, вспомню, он даже выражал это в процентах. «На восемьдесят процентов»,— говорил он.

— Не знаю, на восемьдесят или на девяносто, но Субхи с товарищами они утопили; земельный вопрос не решили; пуще смерти боятся, как бы рабочие не организовались. Что еще остается? Сговор с империалистами?

— Сговорятся, братишка, вот увидишь.

— Что осталось из их реформ? Новый алфавит, шляпы, гражданский кодекс, отделение религии от государства.

— В армии опять ввели чтение Корана.

¹ Непереводаемая игра слов: «он беш миллион эр» — пятнадцать миллионов героев; «он беш миллионэр» — пятнадцать миллионеров.

— Мулла был плохим, если хвалил в мечети халифа, а нынче плох тот мулла, который не превозносит до небес Народную партию. Господам это, конечно, на руку.

Арестант, который прислуживал в дежурке, гаркнул во все горло, так что вспугнул голубей на тюремном дворе:

— Исмаил-уста! К тебе пришли.

Исмаил ожидал чего угодно, только не прихода Нериман.

— Нериман-ханым! Вот уж никак не ждал!

— Вам привет от Османа. Он не смог прийти. Уехал по делам в Анкару.

— Спасибо. Оказывается, вы лучше меня. Я-то всего один раз удосужился зайти к вам. Вы даже представить себе не можете, как я рад. Ей-богу, братишка... Тьфу ты, черт побери! (Тут же он вспомнил, что это «черт побери» постоянно говорил Ахмед.) Простите, Нериман-ханым. У меня все время на языке это проклятое слово «братишка». Никак не отвяжется.

Посетителей и заключенных было на этот раз не так уж много. Исмаилу и Нериман удалось поговорить спокойно, даже не напрягая голоса.

— Полиция берет на заметку всех, кто к нам приходит,— вдруг сказал Исмаил.

— Ну и пусть... Я к политике отношения не имею...

Вечером, отдавая в общий котел рахат-лукум от Хаджибекира, который принесла Нериман (коммунисты в тюрьмах жили «коммуной» — что бы кому ни принесли: еду, напитки, курево, деньги — все сдавалось в общий котел), Исмаил так гордился, словно принес нечто такое, при виде чего каждый должен рехнуться от радости.

Когда Исмаила выпустили из тюрьмы Султанахмед, он на другой же день явился в Кадыкёй. Нериман дома не было. Исмаил с Османом зашли в кондитерскую на Алтыёл. Осман, выйдя из тюрьмы, заделался маклером.

— Вы, может, теперь и знаться со мной не желаете, Осман-бей?

— С чего бы это? — Он подумал с минуту.— Послушай, помнится, в двадцать пятом или в двадцать четвертом, кажется, на Тепебаши, мы с Ахмедом столкнулись чуть ли не нос к носу. Я притворился, что не узнал его, прошел мимо. М-да, тогда я служил в Сельскохозяйственном банке. А сейчас я кто? Я сам себе начальник, сам себе голова.

Исмаил и Нериман первый раз поцеловались в заливе

Каламыш. Со слабым шелестом струился лунный свет. Море гладкое, как зеркало. Исмаил взял напрокат лодку, у причала Мода. В казино Каламыш — джаз, танцы. На море полно лодок. Исмаил налег на весла и стал грести к Фенербахче. Там, на Фенербахче, моргал маяк — то вспыхнет ярким светом, то погаснет. Мимо, сверкая огнями, прошел пароход, держа курс на Принцевы острова. «Куда, в какую гавань войдет стомачтовый корабль?» Исмаил, бросив весла, перешел на корму, сел рядом с Нериман.

— Можно тебя поцеловать, братишка? — Нериман не ответила. — Ты хочешь сказать, в таких случаях разрешения не просят?

Он поцеловал Нериман. Лодка слегка покачивалась на волнах от только что прошедшего парохода.

— Жизнь прекрасна, братишка.

Своим низким голосом, ставшим сейчас еще ниже, Нериман очень серьезно повторила:

— Жизнь прекрасна, братишка.

А пять месяцев спустя Исмаил снова угодил за решетку. Десять месяцев его держали в полицейском управлении. Нериман носила ему передачи. Свидания им не разрешили. «Кем доводится тебе Исмаил?» — спросили девушку. «Он мой жених», — ответила она.

Дело Исмаила тянулось в общей сложности полтора года. Нериман регулярно ездила к нему в тюрьму Султан-ахмед. В первый день заседания суда и в последний, когда зачитали приговор, она была в зале. Она все время улыбалась Исмаилу. На другие заседания ее не пустили: суд, как всегда в таких случаях, проводился при закрытых дверях.

Исмаил вышел на свободу. Они виделись с Нериман каждое воскресенье. Исмаил пытался заинтересовать Нериман политикой, коммунизмом. Но девушка избегала подобных разговоров. Только его рассказы о жизни революционеров, о том, что он слышал от вернувшихся из Москвы, и о том, что кое-как прочел по-русски, — а в тюрьмах Исмаил изучал и марксизм, и русский язык, — Нериман слушала с волнением. Особенно о женщинах-революционерках, и в первую очередь о Крупской.

— Ах, какая верная, преданная женщина! — восклицала она. — Всю жизнь без остатка отдала мужу!

— Дело не в этом, братишка. Всю жизнь отдала революции.

— Конечно, конечно. Но как она, должно быть, любила

мужа! Она ему была и женой, и матерью, и другом. Удивительно, на какую любовь женщина способна!

Исмаил, если не сидел, был постоянно занят поисками работы. Но чаще всего не он искал, а его искали, то и дело он прятался от полиции. О какой постоянной работе могла идти речь! Он перебивался заработками в небольших мастерских — лудильных, металлоремонтных. Только однажды ему удалось устроиться на завод, но не прошло и недели, как полиция вышвырнула его оттуда.

— Тебе хотелось бы сейчас очутиться вои на том пароходе, Нериман?

Они сидят на холме в Эмиргяне под Стамбулом, в тени фисташкового дерева. Внизу, то пропадая из виду, то возникая опять, вьется Босфор. Черный однотрубный грузовой пароход, вспенивая воду винтом, наполовину торчащим из воды, направляется к Анадолухисару.

— Нет, не хотелось бы. Что мне там делать? Куда он идет?

— Кто знает. Может, в Одессу. Ты и в Одессу не хотела бы попасть?

— Если с тобой, то хотела бы. Но лучше всего на свете мне здесь, под этим деревом.

— А что, если сейчас появится сказочный джинн — одна губа по земле волочится, другая до неба достает, и скажет: «Нериман-ханым, проси у меня, что хочешь...»

— Что я попросила бы?.. Постой, подумаю... Не так уж много. Чтобы моего Исмаила больше не сажали в тюрьму, никогда, никогда... Это раз. Потом я хотела бы, чтоб у нас был свой дом. Конечно, с садом, конечно, здесь, на этом холме в Эмиргяне. Маленький, хорошенький, полный ребятишек дом. Богатства я ни за что не стала бы просить. И здоровья просить не надо. Ты и так, слава богу, богатырь. Да и я на здоровье не жалуюсь...

— Ты у меня кровь с молоком...

— Вот и все.

— Мелкобуржуазная идиллия...

— Который раз ты меня укоряешь в мелкобуржуазности! Уж какая я есть, такая есть.

— Не обижайся.

— И не думаю обижаться...

— Народ за оградой твоего сада мрет от голода, работает как вол, а тебе и дела нет?

— Почему дела нет? Если можно попросить у сказочного джинна и для других, пусть он каждому даст по маленькому домику с зелеными ставнями на окнах. Каждо-

му, кто пожелает и где пожелает. И пусть никто не голодает. И пусть никому не надо будет работать как вол.

— Никаких джиннов нет и быть не может. Мы сами себе должны добыть все, о чем мечтаем. Мы, мировой рабочий класс, создадим для людей свободный братский мир без классов, без государственных границ.

— Ты сам придумал этого джинна. И меня же ругаешь.

— Я тебя не ругаю. Это классовая борьба, братишка. Во имя нее и приходится в тюрьмах сидеть.

— А нельзя ли устроить так, чтобы пореже попадать за решетку?

Исмаил не ответил. Он начал напевать себе под нос любимый свой марш:

Товарищи в тюрьмах,
В застенках холодных,
Вы с нами, вы с нами, хоть нет вас в колоннах,
Взорвите затворы, и смело вперед!
На бой, пролетарий,
За дело свое!
На бой, пролетарий, за дело свое!

* * *

Исмаил закурил. Ахмед все еще что-то бормочет во сне. О чем это он? Исмаил прислушался. Не понял. Взял стамбульскую газету. Шел двадцать восьмой год. Еще раз прочел сообщение на второй полосе. Положил газету на место. Задул лампу, уснул.

В тысяча девятьсот тридцать восьмом Исмаила снова забрали. Отправили в Анкару. Там его держали в военной тюрьме, в одиночке. Одиночка — это каменная комната. Окно без стекол забрано толстой решеткой. Снег сыплет в камеру прямо на цементный пол. Ни подушки, ни матраца; тонкого одеяла и то не дали, стервецы. Шагая из угла в угол, Исмаил вспомнил, как тринадцать лет назад в измирской хижине шерстяное одеяло кололо ему подбородок, как Ахмед дул, дул и все никак не мог погасить лампу.

После вынесения приговора Исмаила отправили в стамбульскую тюрьму Мехтерхане. Только тогда он смог увидеться с Нериман.

— Здесь меня держать не будут, — сказал он. — Переправят куда-нибудь. Посмотрим, куда на этот раз...

Нериман с трудом удерживалась от слез. Потом, стараясь улыбнуться, проговорила:

— Я советовалась с адвокатом. Он сказал, что мы можем пожениться, даже в тюрьме. Давай поженемся, братишка. Если я буду твоей женой, мне будет легче спросить, где ты, как отыскать тебя. Куда бы тебя ни отправили, я приеду. Если не дадут учительствовать, буду шить. Проживем как-нибудь.

Через месяц рано-рано утром офицер, два унтер-офицера и три матроса надели на Исмаила наручники. Не говоря ни слова, они вывели его из тюрьмы Мехтерхане, привели на мост кадыкёйской пристани, посадили в военную моторку и отвезли на корабль «Эркин», стоявший на якоре у траверза Принцевых островов. По дороге Исмаил пытался разобраться в том, что происходит. Вдруг он вспомнил морского унтер-офицера Хюсейна. Но ведь у них было только шапочное знакомство. Раза два побывали вместе в кабаке. И все.

На корабле «Эркин» Исмаила бросили в матросский галльюн. Иллюминаторы в галльюне задраены. На полу пощикелотку моча. Вонь нестерпимая! Да еще жара. Некоторое время Исмаил стоял, посвистывая, не решаясь сесть. В дверном иллюминаторе мелькнула голова офицера. Исчезла. Показалась другая. «Смотрят, что я буду делать, мерзавцы!» Он сел на пол, прямо в лужу мочи. Закурил. Да еще песню затянул. А в голове все одна и та же мысль: «Зачем они привезли меня сюда?»

Под вечер Исмаила вывели. Сопровождаемый унтером и двумя вооруженными матросами, он спустился по множеству железных трапов, крутых и узких. Открыв металлическую дверь, матросы толкнули Исмаила в темноту. Дверь за его спиной захлопнулась. Исмаил ощущал все вокруг. Канаты, блоки, тумбы. Он понял, что его бросили в одно из трюмных помещений. Жара страшная! Снял с себя пиджак, потом рубаху. Снял брюки. Остался в одних кальсонах. Все равно пот катится градом. Он сел на моток каната. Глаза понемногу начали привыкать к темноте. Он не заметил, как уснул.

— Вставай! Одевайся!

По глазам резанул луч электрического фонарика, направленный прямо в лицо. Он отвернулся.

— Вставай! Одевайся!

Луч скользнул по сваленным в кучи канатам и блокам, по тумбам, переборкам трюмного отсека. Исмаил заметил, что фонарь держит в руках офицер в белой форме, стоящий перед дверью. Позади офицера, в желтом свете электрических ламп, загораживая проход с металлическими

стенами, окрашенными в свинцовый цвет и обвитыми трубами, стоят два матроса с винтовками. Ночь сейчас или день — неясно. Электрические лампы горели здесь и тогда, когда его привели. Он оделся.

— Выходи.

Офицер и матросы пропустили Исмаила вперед, а сами пошли следом. Так они и начали подниматься по узким железным трапам. Двигатели работают шумно, от этого шума вибрирует весь корпус. «Тронулись», — подумал Исмаил.

— Налево!

Они оказались на узкой площадке с железным решетчатым полом. Все здесь было опутано толстыми и тонкими трубами, которые тянулись слева направо и наоборот, снизу вверх и сверху вниз и были переплетены электрическими проводами. Исмаил свернул на трап налево и стал медленно подниматься. «На допрос ведут. О чем будут спрашивать? Что им от меня надо, этим мерзавцам?»

Вышли на палубу, в ночь, на свежий воздух.

— Вперед! Не оглядываться!

Перед Исмаилом нет никого и ничего, кроме звездной ночи. Палуба пустынна. Стук двигателей отдается в море, таком безбрежном, таком бескрайнем, с едва различимыми в темноте гребешками волн. Судно «Эркин» медленно-медленно продвигается вперед. Исмаилу подумалось: «Никто не знает, что я здесь. Но ведь когда меня забирали из тюрьмы, должны же они были подписывать какие-то бумаги. Значит, след остался. Куда мы идем? Мне страшно? Нет, пока не страшно».

— Иди. Не оглядывайся!

А идти-то, можно сказать, уже некуда. Через два шага — борт.

— Стой!

Он замер. Позади раздалось щелканье винтовочных затворов. Вдруг на память ему пришли Мустафа Субхи и его товарищи. «Стало быть, прикончат в затылок и бросят за борт. Но почему? Если б эти сволочи решили просто отделаться от меня, они давно могли это сделать. Но почему, почему именно меня?» Все это мгновенно пронеслось у него в голове, но не в таком порядке, а в какой-то мелькающей путанице. «Надо обернуться и броситься на этих мерзавцев». Он обернулся. Увидел два направленных на него винтовочных ствола с примкнутыми штыками и белым пятном выделяющуюся форму офицера. Как раз в этот момент рядом с первым офицером возник еще один.

Что-то прошептал тому на ухо. Первый скомандовал Исмаилу:

— Кругом марш!

Спустились по тем же трапам. Исмаил вошел в темноту трюмного отсека. Разделся. Лег на канаты. «Комедию разыграли, мерзавцы. Зачем я им вообще понадобился здесь?»

В ту ночь Исмаилу приснился сон. Они с Нериман на галионе, на кормовой его части. Галион мчится на всех парусах. Парусов так много и они так наполнены ветром, что кажется, будто судно вот-вот поднимется в воздух. Штурвал — не штурвал, а огромный ворот — крутит Барбаросса Хайреттин. Борода у Барбароссы пламенно-рыжая. Нериман спрашивает Барбароссу:

— Почему у вас такая рыжая борода?

— Вместо того чтобы смотреть на мою бороду, взгляни на бороду своего мужа,— отвечает Барбаросса.

У Исмаила до пупа изумрудно-зеленая борода. Они с Нериман лежат на спине среди нескошенной изумрудно-зеленой травы, где-то на берегу Босфора. Место Исмаилу не знакомо. Глядя на пухлые белые облака, Исмаил протягивает руку и как бы случайно дотрагивается груди Нериман.

— Что ты делаешь? — говорит Нериман.

— Разве я не муж тебе?

— Мы еще не поженились.

— Почему не поженились?

— Потому что мое свадебное платье не готово.

— А когда оно будет готово?

— Завтра.

— Идем в Одессу,— говорит Барбаросса Хайреттин.— Если только ветер не стихнет.

— Я не хочу в Одессу! — сердится Нериман.

— Я познакомлю тебя с Крупской,— обещает ей Исмаил.

— Разве она еще жива?

— Конечно, жива,— отвечает Исмаил и тут же думает, что ему неизвестно, жива Крупская или нет.

Ахмед, Осман-бей и Юсуф — лицо Юсуфа видится Исмаилу расплывчато и нечетко — сидят в комнате над постоянным двором, и там же, в комнате, множество мулов, позвякивают их колокольчики и мотаются кисти на сбруях. Идет судебное заседание.

— Сегодня вместо меня выступишь обвинителем ты,— обращается к Исмаилу Ахмед.

Исмаил требует, чтобы офицер в белой форме, направлявший ему в глаза электрический фонарик, был осужден на пять лет.

— У тебя нет жалости,— говорит Нериман.

— Какая может быть жалость? — кричит Исмаил.

Нериман плачет. Исмаил обнимает ее. Они целуются. Офицер в белой форме с электрическим фонарем в руке кричит:

— Довольно! Пли!

Войдя в спину Исмаила, пули выскакивают из его груди и со звоном рассыпаются по железной палубе. Вскочив с места, Исмаил проснулся.

Еще две ночи водили Исмаила по палубе судна «Эркин». Потом привели в офицерский салон на допрос к военному следователю. Оказывается, во время обыска в тумбочках рядовых матросов и унтеров были обнаружены книжки одного поэта-коммуниста. Эти книжки открыто продавались в магазинах. Одну из них нашли у унтера Хюсейна. Хюсейн сказал, что ее положили к нему в тумбочку без его ведома. На него как следует надавили. Тогда он сказал, что знает одного коммуниста по имени Исмаил, и что это наверняка его рук дело. Все это Исмаил узнал из обвинительного заключения. Ему нечего было сообщить следователю, да и тот не проявлял особого интереса к его показаниям. Щуплый смуглый человечек. Увлекается радиотехникой. Особенно ремонтом приемников. Поскольку ему известно, что Исмаил в этом деле разбирается (из полицейских протоколов он узнал, что перед последним арестом Исмаил работал в радиоремонтной мастерской), он главным образом говорит с заключенным о радиотехнике. Это порождает некое подобие близости между ними.

Следователь приказал, чтобы Исмаила перевели из трюмного отсека в каюту одного из унтеров. Однажды Исмаил спросил следователя:

— Шериф-бей, а зачем меня гоняли ночью по палубе, зачем разыгрывали комедию, будто хотят меня застрелить и бросить в море?

— Начальник штаба флота вычитал в какой-то немецкой книжке о практике психологического давления. Ты на этот прием не поддался. Когда я сюда прибыл и узнал об этом, то сразу сказал, чтобы тебя оставили в покое. У нас нет надобности в таких штуках.

Суд состоялся в офицерском салоне. Во время суда — надо думать, из предосторожности — между членами суда

и обвиняемыми поставили три ряда стульев. За неделю до начала суда Исмаил видел Шерифа-бея в последний раз. Опять поговорили о ремонте радиоприемников. Затем,ковыряя остро отточенным карандашом в белоснежных зубах, Шериф-бей сказал:

— Исмаил, мы с тобой оба доки, каждый в своем деле. Ты заметил, что я тебя ни разу не спросил: организовал ты с Хюсейном ячейку или нет? Я давно убедился, что ты к этому не причастен. Но дело в другом. Нам предстоит воевать на стороне немцев. Отобрать у англичан Мосул, у французов Алеппо, у русских Батум. Понял? Надо провести чистку. Мы начнем с коммунистов и кончим теми, кто настроен проанглийски. Увидишь, ты еще встретишься с Иسمетом-пашой за решеткой. (Исмаил не встретился с Исметом-пашой за решеткой. Турция не вступила в войну на стороне Германии. По требованию англичан начальник штаба флота за свою слишком явную связь с немцами был уволен в отставку. Шериф-бей вышел сухим из воды.)

К старому сроку наказания Исмаилу добавили новый. Были также осуждены пять унтер-офицеров и три рядовых матроса. Выяснилось, кстати, что книгу в тумбочку Хюсейна подсунул старшина Али, который мстил ему из-за какой-то женщины. Но признание невиновности Хюсейна автоматически значило бы, что Исмаил тоже невинновен, а это, в свою очередь, доказывало беспочвенность обвинения в участии в «коммунистическом заговоре на флоте».

Исмаил был направлен в тюрьму, находившуюся во Внутренней Анатолии. Один. Тюрьма окружена высоченными стенами, оставшимися, как говорят, со времен генуэзцев. Многие сооружения и развалины древних памятников в Анатолии считаются оставшимися от генуэзцев. Стены сложены из огромных камней, пагроможденных один на другой безо всякого скрепляющего раствора. Они настолько широки, что по ним прохаживаются два жандарма, вооруженные винтовками с примкнутыми штыками. Крохотные вакуфные мастерские на нижнем этаже тюрьмы сдаются в аренду заключенным: портняжная, лудильная, зеркальная, две столярных и четыре сапожных. Камеры на верхнем этаже лепятся одна к другой и имеют выход на галерею без перил, опоясывающую все здание по периметру. На нижнем этаже — канцелярия, кабинет старшего надзирателя, две одиночки и карцер. Во дворе — источник да хилое деревцо неизвестной породы.

Исмаила поместили в камеру номер три. Через месяц приехала Нериман.

— Я устроюсь здесь на работу в школе,— сказала она.— Уверена, что мне не откажут.

Они отложили женитьбу до того, как Нериман получит назначение.

— Тактика, братишка! Кого мы собираемся водить за нос?! Но может быть, и удастся провести. Узнают в министерстве, что ты жена политического заключенного,— ни за что не утвердят твою кандидатуру.

Нериман вскоре уехала в Стамбул.

«Вот уже сколько лет девушка из-за тебя не знает счастья. А сколько ей еще придется вытерпеть! Оставь ее в покое. Пусть ищет свое счастье с другим человеком». Так следовало бы подумать Исмаилу, но он так не подумал. Наоборот, Нериман еще не успела получить назначение и вернуться из Стамбула, а он уже пошел к начальнику тюрьмы и заявил, что желает оформить брак. Когда Нериман вернулась, после того как были сделаны необходимые приготовления и нашелся адвокат, согласившийся стать их доверенным, они поженились в муниципальном бюро оформления браков. Пошли в полумраке по шаткой деревянной лестнице. Нериман была в строгом сером костюме. Наручники с Исмаила сняли только перед столом регистратора. Усталым голосом, но вполне искренне регистратор пожелал им долгих лет счастливой совместной жизни. Поздравил. Одним из свидетелей был старший надзиратель, другим — одаджи из бюро по оформлению браков.

Следующий день был днем свиданий. В виде исключения начальник разрешил им встретиться в своем кабинете, но остался сидеть за письменным столом. Он все время делал вид, будто занят лежащими перед ним бумагами, однако не спускал глаз с Нериман и Исмаила. Они сидели на диване с облезлой обивкой из зеленого бархата и с торчащими пружинами. Молчали. Раз два-три начальник сказал им:

— Не стесняйтесь, эфенди, говорите. Чего стесняться? Не обращайтесь на меня внимания. У меня дел по горло, так что, даже взорвись бомба, я не услышу. Говорите, не стесняйтесь. Вы же молодожены.

— Спасибо, господин начальник. Мы разговариваем,— каждый раз отвечал Исмаил, и они продолжали молчать... Исмаил попытался взять Нериман за руку, но она, отдернув руку, посмотрела на него осуждающе.

Исмаил проснулся от крика. Ахмед вопил, будто его резали. В темноте подойдя к спящему, Исмаил встряхнул его.

— А! — сказал Ахмед и проснулся.

Исмаил зажег лампу.

— Опять ты кричал во сне.

— Дай стакан воды, если тебе не трудно.

Он вынул воду, захлебываясь, словно после многодневной жажды.

— Прости.

— Хочешь закурить?

— Нет... У меня, кажется, температура...

Исмаил дотронулся до его лба.

— Никакой температуры нет.

— Это свежие газеты?

— Завтра прочитаешь.

Ахмед лег, взял газеты.

— Я должен как-то отвлечься, чтобы опять не было кошмаров.

Он пробежал глазами измирскую газету, взял стамбульскую, задержался на второй полосе.

— Керим арестован.

— Да...

— Черт побери! Ну и мерзавцы! Ни слова о том, при каких обстоятельствах был задержан. Черт побери!..

ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ ЧЕРТОЧКА

Наутро, проснувшись, Ахмед первым делом вспомнил об аресте Керима. Еще раз перечитал газетное сообщение. Встал. Исмаил, уходя, оставил лампу зажженной. До чего осточертел шум движка! В трусах и майке, босиком Ахмед пошел к шкафу. Конечно же, у меня температура... Сунул руку под мышку. Да, температура... Сел на табуретку, прямо на одежду. Всего ломает... Хотел было вскипятить чаю, но раздумал. К тому же тошнит... Прислонился к щербатой каменной стене. Ну вот, началось... Лег навзничь на койку. О повышении температуры говорится в справочнике или нет? О ломоте упоминается — это точно. О тошноте, кажется, тоже. О головной боли определено упоминается. Будто тисками сдавило... О тисках в справочнике не говорится... Голова болит. И как я раньше не заметил? Страшно болит голова! И температура... Но ведь о температуре...

Справочник лежал на столе, из-под газет выглядывал уголок переплета. Нет, не буду смотреть... А впрочем, если посмотрю, что из того? Нет, не стоит... Какая разница, говорится там о повышении температуры или не говорится? Ломота в суставах, тошнота, головная боль... Все, как по писаному... Не стану смотреть. Хоть на пороге смерти сохраняю остатки силы воли. С каким-то странным наслаждением он окунулся в тоску, как окунают измученное долгим путешествием тело в теплую воду. Но в следующий миг внезапно выпрямился. Одевался быстро, стремительно, будто готовился к драке. Вскипятил чай. Первый глоток делал, преодолевая отвращение, но потом пил с удовольствием. Его пробил пот. Жалко, градусника нет... А может, и есть где-нибудь — от Зии остался. Он пошел искать градусник, его качало из стороны в сторону. Не нашел. Прислушался к себе. Тошнота вроде бы отпустила. О медицинском справочнике больше не думал. Прямо в одежде лег в постель. Голову распирало изнутри, она от этого пучилась, вспухала, стала такой огромной, что уже не уместалась среди стен. Но ощущения тяжести не было, напротив, голова казалась необычайно легкой, пенистой. Громадная голова...

— Аннушка говорит, что могла бы в тебя влюбиться, Петросян.

— И правильно поступила бы...

— А ты в нее?

— И я мог бы... Но мы оба опоздали. Явился один турок и встал между нами...

— Если хотите, уйду.

— Что толку... Мало, что ли, мы, армяне, терпели от вашего брата! Вы нас, как мясо, через мясорубку пропустили...

— Среди тех, кто вас рубил, меня не было.

— Не ты один непричастен. Если смотреть в корень, непричастен был и турецкий крестьянин, которому сунули в руки нож... Он этим ножом резал, но сам оставался непричастен... Его разум и душу обрядили в жандармскую форму и приказали: иди, режь!

— Как бы там ни было, но это позорное пятно на совести моего народа...

— У какой нации нет на совести пятен? — проговорил Си Яу. — Не английский же народ, к примеру, убивал штыками китайцев в Шанхае, а индийцев морил голодом.

— Пора бы наконец всем людям в мире образумиться,— сказала Аннушка.— Моего отца убил такой же русский, как он сам. Но то был колчаковский офицер, помещик. Он знал, почему убивает. А казаки? Они рубили таких же крестьян, как они сами. И мы должны считать их агнцами безвинными только потому, что они из народа? Так, что ли?

— Никто об этом не говорит,— возразил я.

— Почитай статью Ленина «О национальной гордости великороссов»,— сказал Си Яу.

— Я читала ее раньше тебя,— отрезала Аннушка.— Ленин говорит там, что ему стыдно, когда русских крестьян, одев в военную форму, посылают подавлять другие нации.

— О чем, собственно, спор? — сказал Петросян усталым голосом.— Все вы говорите об одном и том же...

— Нет, не совсем об одном и том же,— вскинулась Аннушка.

Петросян совершенно неожиданно спросил:

— Ты когда-нибудь думала о смерти, Аннушка?

— Я ее видела. И не раз.

— Кто ее не видел! — молвил Петросян.— Я чаще тебя видел смерть других, смерть вообще. Я спрашиваю, думала ли ты о собственной смерти? Кто-нибудь среди вас думал об этом по-настоящему?

Вопрос Петросяна поразил нас. Еще недавно мы не поверили бы, что он может задать подобный вопрос.

— Я не думал,— признался Си Яу.— Конечно, я знаю, что когда-нибудь умру. Я не говорю: ничего, мол, не поделаешь, не в нашей власти избежать смерти, не надо об этом думать. Но я не думал.

— А я думала,— тихо проронила Аннушка.— Когда мама умирала от тифа, я думала об этом у ее изголовья. Кроме нас, в избе никого не было. Только мы вдвоем и смерть. Она и меня могла прибрать к рукам, унести на тот свет. Я тогда была уверена, что она меня унесет и никогда не вернет обратно. Куда? Я с пятнадцати лет не верю в бога. Куда уходят люди после смерти? Никуда. Вот я и думала тогда об этом самом «никуда».

Петросян с интересом спросил:

— И ты смогла вообразить себе это «никуда»?

— Нет. А ты?.. Прости меня... То есть...

— За что я должен тебя прощать? — переспросил Петросян.— Да, я часто думаю о смерти. В моем положении это естественно. Я не дурак, чтобы не задумываться о том,

что может произойти очень скоро.— Он затих, потом продолжил: — Завтра на вечере, Аннушка, ты будешь танцевать со мной не меньше пяти раз.

Еще около часа мы болтали о том о сем. Пospорили о Мейерхольде. Я сказал, что Большой театр следует приспособить под зернохранилище. Аннушка была вне себя. А Малый театр, продолжал я, всего лишь музейный экспонат. Аннушка готова была накинуться на меня с кулаками. Петросян встал. Мы проводили его до лестницы. Он, как всегда, сел на перила и, махнув нам рукой, скользнул вниз с четвертого этажа. Аннушка вскрикнула, перескакивая через ступеньки, мы бросились вниз. В вестибюле, немного в стороне, лежал Петросян с разбитой головой...

Много дней спустя поздно вечером мы втроем — Аннушка, я и Си Ю, возвращались с мейерхольдовского спектакля «Лес». (Вот уже сколько времени мы повсюду — и в кино, и в театр — ходим в компании с Си Ю.)

— Петросян кончил самоубийством,— сказал я.

— Нет! — запальчиво вскрикнула Аннушка, будто я ее умышленно оскорбил. Потом так же запальчиво повторила: — Нет! Ты врешь!

Я не ответил. Она взяла Си Ю под руку, и они ушли вперед. Так мы шли некоторое время — они впереди, я следом — вдоль бульвара по направлению к памятнику Тимирязеву. Тогда я любил этот памятник больше многих других в Москве. Аннушка оставила Си Ю и подошла ко мне.

— Почему ты так сказал? — спросила она со слезами в голосе.— Ты меня нарочно мучишь. Тебе доставляет удовольствие чернить все самое лучшее, что есть во мне.

Я не понял, что она хотела этим сказать. Молча протянул ее к себе и поцеловал. Си Ю стоял в стороне, низко опустив голову, как будто разыскивал что-то в темноте...

Я не был уверен, что Петросян покончил самоубийством...

* * *

Такие вот воспоминания пронеслись в моей распухшей голове, пенистой и громадной голове. Почему именно эти воспоминания, а не какие-нибудь другие? Не знаю.

Ахмед встал и принял сразу три таблетки аспирина. Начертил на двери двадцать третью черту, снова бросился в постель.

Когда Исмаил вернулся, он застал Ахмеда в глубоком забытии, одетым, мокрым от пота. Взял его за руку. Пульс был частым и неровным. Температура. На глаза Исмаилу попался уголок переплета книги, лежавшей под газетами. Он открыл, прочитал. Закрыл.

— Это ты, Исмаил? — очнулся Ахмед.

— Я. Раздевайся. Я помогу.

— Это не бешенство.

— Конечно, нет.

— Посмотри справочник. Про температуру там написано?

— К чему это, братишка?

— Посмотри, говорю.

Исмаил не мог сказать: «Я уже смотрел». Ему было неловко. Он открыл книгу, сделал вид, что читает.

— Ни о какой температуре не говорится.

— Не врешь?

— С какой стати, братишка?

— Ты не Керим. Можешь и соврать.

Ахмед заснул.

* * *

...На следующий день после женитьбы они сидели в кабинете начальника тюрьмы на диване с облезлой обивкой из зеленого бархата, с торчащими пружинами, и Нериман осуждающе посмотрела на Исмаила, когда он попытался взять ее за руку. Исмаил отдернул руку.

— Я получила письмо от брата, — сказала Нериман. — Его опять мучает ишиас.

— У меня тоже, представьте, ишиас, — вставил начальник тюрьмы. — Чем лечится ваш брат? Ни уколы, ни салислат мне не помогают. Я даже закапывался по шею в горячий навоз. Никакого толку.

— Брат принимает какие-то таблетки, — сказала Нериман.

Начальник тюрьмы рассмеялся:

— Мертвому припарки... Сколько лет вашему брату?

— За сорок.

— Эта дрянь цепляется к любому, не глядя на возраст. Но под старость труднее вылечить.

«Под старость...» — мысленно повторил Исмаил и впер-

вые подумал, что и он не молод, что ему уже сорок. «А сколько лет Нериман? Должно быть, двадцать восемь — двадцать девять.— Он украдкой взглянул на Нериман.— А с виду не больше двадцати двух. Мне же сорок. Можно сказать, жизнь прошла. Звучит как название книги: «Жизнь прошла...» Разве плохо прошла? Вовсе не плохо, братишка. И все же прошла...»

Начальник тюрьмы посмотрел на часы.

— Мне пора,— сказала Нериман.

Она пожала руку Исмаилу. Пожала и начальнику тюрьмы.

— Что тебе принести на этой неделе? — спросила она Исмаила.

Исмаил не ответил. Он смотрел на ноги Нериман. Он впервые обратил внимание на то, какие они маленькие, какие стройные. «А мне уже сорок...»

Однажды Нериман привела с собой на свидание бритую наголо девочку лет пяти-шести с виду. Одета она была как стамбульские дети. Исмаила больше всего поразила ее бритая голова. Девочка крепко ухватилась за руку Нериман и боязливо оглядывалась по сторонам.

— Что это ее, бедняжку, оболванили?

— Столько было вшей, что кажется, ни мытье, ни лекарство не помогли бы. И я отвела ее в парикмахерскую. Ничего, гуще будут волосы.

— Ты отвела ее в парикмахерскую?

— Я ее удочерила. Теперь у нас с тобой есть дочь. Зовут ее Эмине.

— Выходит, Эмине — наша дочка? — рассмеялся Исмаил.— Хорошо, пусть только волосы поскорей отрастут. Да и худенькая она больно.

— Через пару месяцев не узнаешь — и поправится, и волосы отрастут. Моей Эмине очень пойдет голубой бант. Я свою Эмине...

И вдруг Исмаилу стало все ясно.

— Ты очень хочешь иметь ребенка, Нериман?

— Очень... Но теперь у меня уже есть.

— Хочешь стать матерью?

— Почему бы нет?.. Материнство... Иногда, если бы ты знал... Но я уже стала матерью. А ты отцом...

— Давай разведемся, Нериман.

— Мы всего три месяца женаты...

— Через шесть месяцев разведемся. Ты молода. Тебе двадцать восемь — двадцать девять... Я уже сорокалетний мужик... И еще неизвестно, когда освободят. Я испортил

тебе жизнь... Ты выйдешь замуж. По-настоящему станешь матерью.

Нериман заплакала — сначала беззвучно, потом навзрыд. Вслед за ней разревелась и Эмине. В камере свиданий никто не обратил на это никакого внимания — ни посетители, ни заключенные. Рыдания по ту сторону решетки, где стояли посетители, были здесь обычным делом.

— Бога ради, молчи, братишка! Не плачь! Я же пошутил. Посмотри, и Эмине разнюнилась. Утри ей сопли.

Глотая слезы, Нериман вытерла девочке нос.

Вечером того же дня Исмаил сел в камеру на подоконник, ухватился обеими руками за толстые прутья решетки. Он долго смотрел на горы, с лысыми, красноватого цвета макушками. К вершине одной из гор прилипло облако величиной с платок, с платок Нериман. Крохотное, как платок, которым она вытирала нос Эмине. Абсолютно недвижимое, висит облако в начавшей набирать темень голубизне. «Нериман двадцать восемь — двадцать девять. Но с виду ей можно дать двадцать два, самое большее, двадцать четыре. У нее отличное здоровье. Не помню случая, чтобы она прихворнула. Но даже будь она слабенькой, — какая разница? Нет такой женщины, которая не хотела бы стать матерью. Вот и Нериман... Женщины вообще не могут без мужчин. Им это вредно. Тьфу, что за вздор! Это наш брат, мужики, горады на выдумки. И все-таки почему мы не были близки с Нериман? Почему мы не поженились, когда я еще был на воле? Разве обязательно в таких случаях жениться? Впрочем, Нериман ни за что не согласилась бы. Однажды в Кадыкёе мы чуть было... Но так ничего и не произошло. Почему? Да потому что я был ослом! Ахмед рассказывал, что тоже долго не смел дотронуться до Аннушки. И ничего, через каких-то шесть месяцев они прекрасно поладили... Но зачем мы с Нериман сейчас поженились? Это не я говорил: давай поженимся. Я не уговаривал. Ах ты, черт побери! Ахмед обычно говорил просто: «черт побери», безо всяких «ах ты». Я не принуждал Нериман... Впрочем, какое это сейчас имеет значение? Разве тебя кто-нибудь винит?»

На следующее утро, бреясь в парикмахерской — здесь он брился обычно лишь в дни свиданий, но на этот раз нарушил правило, — Исмаил спросил парикмахера Али, отбывающего срок за убийство:

— Сколько, по-твоему, мне лет, Али?

— Сорок — сорок пять...

Исмаил арендовал у портного Ремзи половину его мастерской, где и занимался ремонтом радиоприемников, швейных машинок и тому подобного. В тот день, до позднего вечера, он проработал скучая.

Мать Исмаила время от времени приезжала из Манисы и жила с невесткой одну-две недели. Исмаил упрашивал мать:

— Переезжай сюда насовсем. Тебе здесь будет лучше. Мать не соглашалась:

— В одном доме не могут ужиться две хозяйки. Я люблю Нериман, как дочь родную. Но если мы будем жить в одном доме, не пройдет и полугода, как мы начнем ссориться. Это обычная история. А обзаводиться отдельным домом я уже не в силах.

Заклученные в большинстве своем — крестьяне. Тюремный рацион скуден — по семьсот граммов черного хлеба на брата и ничего больше. Есть еще вода и электрический свет, но лучше бы света не было, по крайней мере по ночам, а то выключать не разрешают, и лампочка в камере всю ночь бьет в глаза. Ни о какой нормальной постели, с одеялом и подушкой, и речи быть не может. Об одежде тоже. Хорошо, если принесут родные, в противном случае — выкручивайся как можешь.

Среди тюремных надзирателей выделяется один, родом из Бурсы. Он любит немцев. Каждый вечер, проходя по коридору, задвигая засовы на дверях камер и навешивая замки, он громко желает всем спокойной ночи, а минуту спустя через глазок подзывает Исмаила:

— А ну-ка, подойди, уста, подойди! Гитлер снова бомбил Лондон. Выиграет немец войну! Не упрямясь, скажи, что выиграет.

— Не выиграет,— говорит Исмаил.

— Ну что ж, тебе видней...— вздыхает надзиратель.

На следующий вечер такой же в точности разговор повторяется снова. У ног этого самого надзирателя родом из Бурсы, умерла мать Исмаила. За решеткой в зале свиданий. Крошечная, сморщенная старушка.

— Я привезла тебе голубцы в оливковом масле, сынок. Пока везла сюда из Манисы, немного помялись. Угости и эфенди-надзирателя, сыночек,— сказала она и вдруг рухнула замертво к ногам надзирателя из Бурсы.

Нериман в тот день не пришла, лежала дома с гриппом — впервые в жизни заболела, поэтому старушка была

одна. Ее отправили в городскую больницу. «Разрыв сердца», — сказали доктора. Вот уже шесть месяцев лежит она на кладбище, что виднеется из тюремного окна, за стенами, оставшимися от генуэзцев. Исмаил опять сидит на подоконнике в своей камере и смотрит на кладбище. В лунном свете оно похоже на пожарище. Исмаил никак не может свыкнуться с мыслью, что матери уже нет в живых. Она скончалась у него на глазах. В это самое окно, при ярком солнечном свете, он видел, как ее после полудня отнесли на кладбище. Но одно дело видеть, знать, а другое дело поверить. Примерно месяц спустя после похорон Нериман сказала:

— Теперь я буду для тебя и матерью...

О нападении Гитлера на Советский Союз Исмаил узнал в мастерской, когда налаживал приемник марки «Филиппс» для старшего прокурора. Это известие так поразило его, что он, должно быть, изменился в лице. Портной Ремзи сразу спросил:

— Что случилось?

— Смерти своей ищет, собака...

— Кто?

Вскоре вся тюрьма знала новость. Заключение шептались: «Амнистия! Выходим на волю!»

Возясь с приемниками, Исмаил всячески затягивает их починку. Он включает их и, кое-как разбирая русскую речь, силится понять советские сводки. Если не считать одной-двух газет вроде «Тан», все органы информации настроены пронемецки. Надзиратель из Бурсы уже не говорит по вечерам Исмаилу: «Выиграет немец войну, не упрямясь». Исмаил так часто ругал на чем свет стоит и самого надзирателя, и всех его родичей, что тот лютой ненавистью возненавидел Исмаила. Однако отвести его в дежурку и избить не решался: как-никак этот заключенный чинил приемник самому губернатору! Если дежурство этого надзирателя приходится на день свиданий, он нагло встает между Нериман и Исмаилом, чтобы они не могли видеть друг друга. Своим железным прутон он шурует в корзине до тех пор, пока принесенная Нериман еда не превращается в сплошное месиво.

Узнав о том, что Красная Армия отступает, Исмаил сначала растерялся. Он считал, что у русских самая сильная в мире армия. Товарищи, возвращавшиеся из Москвы, рассказывали, как во время воздушных парадов все небо было усеяно белыми куполами парашютов. «Почему же сейчас не засылают парашютистов в тыл немецкой ар-

мии?» — часто задавался вопросом Исмаил. Потом брал себя в руки, успокаивался, внушал себе, что это тактический прием, что Красная Армия отступает преднамеренно. Он не верил, что русские теряют в боях сотни тысяч людей. Но иногда ему приходило в голову: а вдруг цифры немецких сводок верны хотя бы наполовину? И тогда он испытывал такую невыносимую горечь, что в конце концов запретил себе думать об этом.

Немцы подошли к Москве. В газете «Джумхуриет» Абидин Давер писал, что падение Москвы — это вопрос дней.

Исмаил бродит по тюремной галерее, которая опоясывает все здание. За генуэзскими стенами вдали виднеются покрытые снегом вершины гор, ставшие белыми крыши домов. Двор тюрьмы тоже в снегу. Исмаил набирает полную горсть чистого снега. Старается представить себе Москву, о которой столько слышал от Ахмеда и от других товарищей. Ему доводилось видеть Москву только на фотографиях. Мавзолей Ленина мог бы даже нарисовать по памяти. Теперь Москва, заснеженная Москва, окружена фашистами. «Там народ бьется, истекая кровью, а мы здесь бока отлеживаем. Какое это испытание!»

Однажды Нериман пришла на свидание без Эмине.

— Меня уволили из школы.

— Почему?

— Прибыл приказ из министерства.

— Но почему же?

— Не огорчайся. Я займусь шитьем. Это даже лучше. У меня есть швейная машинка. Недавно она, правда, сломалась, но ты ведь починишь?

— Конечно, почию, братишка. И все-таки за что тебя уволили?

— Месяц, нет, полтора месяца, как учитель географии, ужасный невежа, пристает ко мне. Я тебе не говорила...

— Как пристает? Это еще что такое?

— Говорит всякие пошлости. А ведь он женат, бесстыдник этакий. Я просто не знала, куда от него деваться. Видел бы ты этого плешивца!

Исмаил испытал такую боль, будто ему нож в спину всадили. «Плешивая дрянь, а туда же, пристает. Но ведь и кроме него есть в городе мужчины, и среди них — вовсе не плешивые. А Нериман — молодая, красивая, притом из

Стамбула. Муж в тюрьме. Мало ли желающих добиться ее расположения?»

— В учительской как-то зашел разговор,— продолжала Нериман.— Старший учитель...

— Он тоже пристаёт к тебе?

— Что ты!.. Думаешь, каждый за мной волочится?

— Почему бы и нет? Ты у меня вон какая красавица!

— За кого ты меня принимаешь?

— Ладно, ладно, не сердись! Так что этот старший учитель?

— Старший учитель сказал: здорово, что немцы устроили русским мясорубку. У коммунистов, мол, нет никаких понятий о семейной чести, у них, мол, даже жены общие. А географ говорит мне: «Нериман-ханым, ваш супруг тоже коммунист? Он тоже придерживается подобных правил?» У меня в голове помутилось, и я залепила этому мерзавцу пощечину.

— И правильно сделала! Молодец! Я рад за тебя, братишка. Но почему ты мне не рассказала об этом до сих пор?

— Чтобы ты не расстраивался из-за пустяков.

— И тебя уволили за то, что ты дала негодяю оплеуху?

— Нет. Они обвинили меня в коммунистической пропаганде. Старший учитель и географ послали в министерство докладную записку. Донесли, что мой муж был не раз судим за коммунистическую деятельность. И сейчас сидит. Остальные учителя возмутились такой несправедливостью. Говорят: будем писать коллективное прошение, будем добиваться правды. Но теперь я сама ни за что не вернусь в школу, не хочу. Буду портнихой. Вот увидишь, я даже зарабатывать буду приличней.

В камере вместе с Исмаилом отбывают срок тридцать человек. Пол цементный. Вдоль стен тянутся очень широкие и очень высокие деревянные нары. Середина камеры пуста. В крайнем правом углу на нарах — постель Сулеймана-аги. Когда постели на день убирают, складывая в одну стопу матрацы, одеяла и подушки, то постель Сулеймана-аги оказывается под самым потолком. Днем Сулейман-ага расстилает маленький молитвенный коврик и садится на него, поджав ноги и откинувшись на мягкую грудку подушек и матрацев. До самого вечера он перебирает четки, пьет чай или кофе, которые заваривает прямо тут

же, в камере. Сулейман-ага — богатей из большой деревни в двух часах езды от города. Посадили его за подстрекательство к убийству. Велел своему пастуху убить одного из жителей соседней деревни, тоже богатея. Пастуха повесили, а Сулейману дали пятнадцать лет.

Портной Ремзи и лудильщик Шефик — тоже соседи Исмаила по камере. У бедняков подстилки тонкие, как блин. Почти никто из них не убирает свои постели днем, сидят на них. Прислужник спит рядом с дверью на бараньей шкуре, лоснящейся от грязи. У Сулеймана-аги даже прислужник свой собственный. Зовут его Красавчик Ихсан. Парень из бедняков, с белым и нежным, как у девушки, лицом. Поговаривают, будто ага пользуется его услугами в постели.

Исмаил спит рядом с портным Ремзи. Снимая на ночь свои ботинки, чувяки, чарыки, заключенные оставляют их посередине камеры. Керосинки, мангалы, примусы — самый шумный примус у Сулеймана-аги, причем чем шумней примус, тем выше он ценится, — стоят на галерее перед камерой. Зимой обогреваются, зажав свои мангалы или жаровни между коленями. И такой угар стоит, такая вонь, что иной раз кажется, вот-вот задохнешься. Торговля гашишем среди заключенных тоже в руках Сулеймана-аги. Получает он доход и от игроков, которые платят ему процент с каждого выигрыша.

В тысяча девятьсот сорок втором году сюда перевели нескольких заключенных из синопской тюрьмы. Двое — убийцы из Измира, и трое — стамбульские контрабандисты. Они промышляли наркотиками, и слава о них шла по многим центрам. Из Стамбула прибыли «праотцы-адамы». Этих прозвали так потому, что они ходили разве что не нагишом, слегка лишь прикрытые невообразимыми лохмотьями, подобно праотцу Адаму. Их поместили в угловую камеру, где держали заключенных из самых бедных крестьян. В этой камере арестанты спали на голых нарах, подстилая под себя газеты. Прибывших из Синопа поместили во второй камере справа. Появился еще один новичок — лейтенант артиллерии, осужденный за шпионаж в пользу немцев. Его направили в камеру Сулеймана-аги. Через некоторое время в тюрьме бойко пошла торговля гашишем. Эту коммерцию организовали синопцы. Вскоре между Сулейманом-агой и синопцами возник конфликт: синопцы вознамерились прибрать к рукам и торговлю гашишем и игру. Начальник тюрьмы поддерживал синопцев, главный же надзиратель — Сулеймана-агу. Лейтенант, не-

мецкий шпион, сначала был за Сулеймана-агу, потом переметнулся к синопцам. А жандармский старшина заодно с лейтенантом. Синопцы подкупили прислужника Сулеймана-аги Красавчика Ихсана. Однажды, когда ага совершал полуденный намаз, трое из синопцев вошли в камеру и ударами ножей в спину убили его. Исмаил и портной Ремзи находились тогда в мастерской. Лудильщик Шефик разогревал себе обед на галерее.

— Скорей сюда! — крикнул он. — Агу убили!

Синопцы пырнули ножом и его. Жандармы выстроились на генуэзской стене. Старшина свистел в свисток и кричал:

— Всем оставаться на местах! Не шевелиться! Прикажу стрелять!

Синопцев месяц продержали внизу в карцере, потом вернули наверх.

Однажды портной Ремзи сказал в мастерской Исмаилу:

— Не лежит у меня душа к этому лейтенанту, холую немецкому. Он что-то замыслил против тебя. Поберегись.

— Что этот подлец может мне сделать, братишка? Я ведь не наркоман и не картежник.

— И все же будь осторожен.

Месяца два спустя, в воскресный день, Исмаил после свидания с Нериман зашел в дежурку. Трое синопцев ждали возле двери, их должны были в тот день повезти в суд в связи с делом об убийстве Сулеймана-аги. Все трое в наручниках. Вдруг еще двое синопцев, Красавчик Ихсан да лейтенант вошли в дежурку и, набросившись на своих дружков-приятелей, начали пырять их ножами, а те, будучи в наручниках, оказались беспомощны.

— Стойте! Что вы делаете? — вскрикнул Исмаил.

Ворвавшийся в дежурку надзиратель, тот, что был родом из Бурсы, произительно засвистел в свисток. Один из синопцев, по имени Муртаза, из измирских албанцев, хоть и был в наручниках, изловчился, выхватил нож у Красавчика Ихсана и всадил ему в бок. В тот же миг лейтенант, немецкий шпион, кинулся на Исмаила. Исмаил отпрянул и тяжелым луженым судком, который ему только что принесла Нериман, трахнул лейтенанта по голове.

Через час, умирая в лазарете на руках у Исмаила, Красавчик Ихсан попросил:

— Дай стакан воды, эфенди.

Осторожно опустив голову парня на рваную беловатую клеенку лазаретной кушетки, Исмаил подал воду.

— Выходит, последний глоток воды мне суждено вы-

пить из твоих рук, эфенди... А ведь я должен был убить тебя. Не поминай лихом...

— Хорошо, хорошо.

К вечеру выяснились подробности. Портной Ремзи, тебя каштановые усы, сказал Исмаилу:

— Разве я не предупреждал тебя? Синопцы не поделили что-то между собой, вот и перерезали друг дружку.

Исмаил не спросил, чем же это теперь кончится. И так было ясно: убийцы отсидят месяц в карцере, потом их переведут наверх, и там они снова примутся за прежнее.

— Одно не пойму: почему Красавчик Ихсан должен был убить и меня?

— Лейтенант сказал им, что, если они заодно прикончат и коммуниста, им снизят наказание. Потому что, мол, все коммунисты — сволочи и главные враги правительства. Он даже сказал, что договорился с жандармским старшиной. Разделаться с тобой поручили Красавчику Ихсану, но Ихсан поторопился, набросился на Муртазу и сам схлопотал нож в бок. Тогда-то на тебя и кинулся лейтенант...

Последствия этой истории оказались совсем не такими, как предполагал Исмаил. Лейтенанта и прочих вскоре судили и отправили отбывать наказание в тюрьму Чанкыры. А сюда прибыл новый прокурор, поговаривали, сторонник реформы.

— Ей-богу, женушка, мне совестно есть кушанья, которые ты мне приносишь.

— Почему?

— Здесь народ с голоду помирает.

— На воле тоже не сытно. Но что поделаешь?.. А Эмине сегодня сама приготовила тебе тархану.

В черных кудряшках Эмине — голубой бант.

— Ешь, папа. Я и фаршу положила много-много, и перцу.

В тюрьме голод. Хлебный паек срезали до четырехсот граммов. Праотцы-адамы играют не на деньги, а на хлеб. Из их камеры каждый день выносят одного-двух покойников. От голода люди сначала пухнут, потом усыхают, потом умирают. К заключенным-крестьянам посетители тоже приходят с тощими, почти пустыми торбами.

Исмаил шагнул за порог мастерской. Все вокруг залито ярким солнечным светом. Исмаил полной грудью набрал воздух. Огляделся. У подножия генуэзской стены

праотцы-адамы и еще несколько крестьян — все в жутких лохмотьях — ползают на четвереньках и прямо зубами, как скотина, рвут свежую траву. Потихоньку, печально, без суеты и давки пасутся, как голодная скотина.

ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ ЧЕРТОЧКА

Ахмед открыл глаза. Исмаил что-то делает, присев на корточки возле шкафа. И лампа горит.

— Исмаил... Сейчас вечер? Ты только пришел с работы?

— Я не пошел сегодня на работу. Спи. Еще рано.

— Что ты там делаешь?

— Варю суп. Тархану. Поесть с утра будет очень кстати.

— Спасибо,— отозвался Ахмед.

Он не сказал: «У меня нет аппетита». Промолчал.

— Как ты себя чувствуешь?

Ахмед не сказал: «Очень плохо». Вместо этого:

— Ничего.

— Температура есть?

— Нет... Разве что чуть-чуть.

Исмаил дотронулся до его лба.

Он не сказал: «Пылаешь как огонь». Вместо этого:

— Да, снизилась. Не совсем, но все-таки снизилась. Чуть позже я пойду за лекарствами.

— Хорошо,— промолвил Ахмед.

Он не сказал: «Какая польза от лекарств?» Промолчал.

Они поели суп, приготовленный Исмаилом. Ахмед давился, но ел.

— Я люблю поострей. Может быть, переперчил?

— Есть малость.

— Дать тебе аспирин?

— Дай. Пару таблеток.

— Говорят, аспирин вреден для сердца.

Ахмед не сказал: «Какая теперь разница, вреден он моему сердцу или нет. Теперь все равно». Проглотил сразу две таблетки. «Как меня, однако, трясет. Не хватало еще зубами дробь выстукивать».

Закутавшись по шею в одеяло, Ахмед сел в постели.

— Я расскажу тебе, Исмаил, то, о чем еще никому не рассказывал.

— Лучше бы ты, братишка, прилег и отдохнул.

— Нет-нет. Ты не рассказываешь ни о матери, ни о женщинах, которых любил. Ты известный молчун. А я трепло.

— Почему трепло? Просто такой характер. Главное — не переутомляйся.

— Некоторые из тех китайцев, что учились в Москве, в университете...

— Понимаю.

— ...некоторые из них вернулись на родину. С ними и Си Яу. А первая группа уехала раньше. Не успели они пересечь границу, как их поймали и всем отрубили головы. Понимаешь, всем...

— Понимаю.

— Среди них были и три девушки. Понимаешь?

— Что тут непонятного, братишка? Прекрасно понимаю.

— Я хочу сказать, понятно ли я рассказываю?

— Вполне.

— Мы знали, что им всем отрубили головы. Тем, из первой группы. Провели митинг протеста. Я хочу сказать, и те, кто поехал с Си Яу, тоже знали об этом.

— Конечно, раз вы знали.

— Си Яу тоже знал. В тот вечер в клубе были организованы проводы. Произносились речи. Они уезжали на другой день. Вернувшись из клуба, Аннушка сказала мне: «Сегодня я проведу вечер с Си Яу». Они ушли. Си Яу вернулся поздно. Я притворился спящим. Ни о чем не спросил. Он не стал ложиться. Собрал вещи. Я встал. Мы обнялись. Он уехал.

— Ему тоже отрубили голову?

— Не знаю. Я ведь и сам вскоре вернулся домой с Керимом. Дай-ка сигарету.

Зачем попросил? Курить-то мне совсем не хочется. Во рту будто отрав.

— Отдохни немного. Ты устал.

— Нет. Слушай дальше.

Почему мне так хочется рассказывать, не знаю. Может быть, потому, что всю ночь мне снилась Аннушка.

...Вечером я пошел к Аннушке. Днем искал ее в канцелярии. Ее не было. Пошел к ней домой. Она лежит на диване.

— Ты больна?

— Немножко.

Я присел на край дивана.

— Приготовить тебе чаю?

— Не нужно.

— Тебе, конечно, очень грустно. Мне тоже. Но ты не волнуйся, его не поймают. Если бы каждого ловили...

— Прекрати этот разговор!

— Почему ты грубишь мне, Аннушка?

— Я не грублю.

И вдруг я спросил — со мной вечно такое случается: не успев подумать, словно меня бес пихает в ребро, словно за язык меня тянут, говорю, спрашиваю:

— Вы с Си Яу опять гуляли по бульварам?

Она взглянула на меня. В глубине ее внезапно потемневших синих глаз появилось жесткое выражение.

— Мы пошли к Марусе.

— Она же в Ростове.

— У меня ключ от ее дома.

— Где? Покажи.

Она резко сдвинула свои соболиные брови.

— Я обязана перед тобой отчитываться?

— Нет, что ты! Не обязана. Конечно, с какой стати ты будешь передо мной отчитываться! Что вы там делали?

— Что хотели, то и делали.

Мои глаза как будто прокололи иглами.

— Как понимать — что хотели, то и делали?

— А вот так и понимать. Мы были близки... Как с тобой.

— Врешь!

— Я не вру.

— Зачем же ты это сделала?

Аннушка как-то странно, как-то пренебрежительно, натянуто рассмеялась:

— Может ли быть вопрос глупее этого?

Схватив кепку, я выскочил вон. Весь вечер бродил по улицам, по бульварам, заходил в кинотеатры, в четырех или пяти кинотеатрах побывал. Не досмотрев фильма и до половины, уходил.

— Вай, мать честная! Ну и положение, Ахмед!

— Не из легких.

— Потом?

— Потом мы не виделись с Аннушкой две недели. Стоило мне ее где-нибудь увидеть, я убегал.

— Потом?

— Потом однажды вечером дверь распахнулась, она входит в комнату. После отъезда Си Ю я стал жить с Керимом. Входит и как ни в чем не бывало говорит:

— Привет, ребята!

У меня челюсть отвисла. Керим ничего не знал, однако заметил, что я уже давно хожу сам не свой.

— Слушай, Аннушка,— сказал Керим,— с нашим Ахмедом что-то неладное творится. С чего бы это?

— Не знаю. Ты у него спроси.

— Спрашивал. Молчит.

— Может быть, не хочет говорить правду. Не всякому же так правда дорога, как тебе.— Она коснулась моих волос.— Мы с Ахмедом проведем лето на даче у моей тети. Через две недели у меня начинается отпуск. А в университете каникулы. Ты согласен, Ахмед?

— И ты скрывал от меня! — набросился на меня Керим.— Ну и болван! Я буду приезжать к вам в гости по воскресеньям.

— Конечно, Керимчик. К тому времени и Маруся вернется из Ростова. Будете приезжать вместе. Вот так... Да... Я ведь пришла за тобой, Ахмед. У меня два билета в Малый.

Мы с Аннушкой идем по Тверской. Вдруг я остановился:

— Не пойду в театр! И вообще, что это за выдумки с дачей?

— Я договорилась с тетей. Она согласна отдать нам одну из комнат.

— Премного благодарен. Я буду отдыхать на университетских дачах. Вот так!

— Ну что ты стоишь? Пошли.

Она взяла меня под руку. Мы спускаемся мимо «Елисеева». Идем молча.

— Все дуешься?

— Я человек восточный.

— Разве это преступление, если я на одну ночь сделала счастливым человека, который, быть может, идет на смерть и который так меня любит?

— Нам не понять друг друга. Оставь меня!

— А ты уверен, что я действительно была близка с Си Ю?

Я остановился в растерянности.

— Видно, это тоже восточная традиция — то и дело останавливаться на ходу. Иди же, прошу.

— Так было это или нет?

— Можешь считать — да, можешь считать — нет. Разве это имеет какое-нибудь отношение к тому, что я тебя люблю?

— А как же?

— Тогда ничего между нами не было.

— Врешь!

— Тогда было.

— Не своди меня с ума!

— Не было.

— Так было что-то между нею и Си Яу, братишка?

— Не знаю, Исмаил. До сих пор не знаю.

— А эта Маруся или как там ее... Ты не зашел к ней, не спросил?

— Она к родным уехала в Ростов, а жили они в старом деревянном доме из двух комнат.

— Может, Аннушка наврала тебе, чтобы позлить? Если послушать тебя, она девица взбалмошная, с нором. Такая и наговорить на себя может.

— Может... — Ахмед вздохнул: — Это вроде моей болезни. Может, собака была бешеная, а может, нет. Может быть, мне следовало поехать в Стамбул, а может, и не следовало. Может быть, я умру, а может...

— Брось ты эти разговорчики! Не похоже по твоей физиономии, что у тебя бешенство.

— Сегодня двадцать четвертый день. Начерти-ка на двери двадцать четвертую отметину, Исмаил.

— Да брось ты, братишка!

— Начерти, говорю!

Исмаил нанес на двери мелом двадцать четвертую черточку.

— Постарайся заснуть. А я схожу за лекарствами. Наверно, кроме аспирина, есть какое-нибудь лекарство по сильнее, чтобы сбить температуру.

Исмаил вышел.

...Исмаила освободили в тысяча девятьсот сорок третьем году. За день до этого Нериман сказала ему:

— Завтра у тюремных ворот меня не будет. Ты сам придешь домой, как будто возвращаешься с работы. Мы с Эмине тебя встретим, как будто ты возвращаешься с работы. Не забудь адрес. Запиши.

Оформление документов заняло много времени. Лишь

после полудня Исмаил, нагруженный чемоданом и ящиком с инструментами, распрощавшись, вышел за ворота тюрьмы.

Прошел немного по улице. Городок как две капли воды похожий на другие города Центральной Анатолии. В тюрьму его доставили ночью, так что он тогда города не видел, однако шел уверенно. На главной площади свернул налево. Миновал муниципальный сад. Нырнул в переулок. Пахло кизяком и вареной пшеницей. К калиткам вели большие каменные ступеньки. «Завтра первым делом схожу на могилу матери». Вошел в узкую улицу. Сады обнесены высокими деревянными заборами. «А вот и наш дом». Побеленный белой известью двухэтажный деревянный дом. Верхний этаж не достроен. Черные столбы поддерживают крышу. Не успел ударить в дверную колодушку — дверь распахнулась, и он оказался в объятиях Эмине.

— Постой, дочка. Прими вещи.

— Она ждет тебя у окна с самого утра.

Исмаил вошел в дом. Снял ботинки. Надел домашние туфли.

— Добро пожаловать, муженек.

— Спасибо, женушка.

— Очень устал сегодня на заводе?

— Как всегда.

Две комнаты. Кухня в саду, уборная тоже. Одна из комнат — гостиная. Вдоль стен — тахты с жесткими валиками. Посредине ковер, яркий как солнце. Небольшой письменный стол, один стул.

— Едим на полу, с подноса.

— Правильно делаете.

На стене — портрет Исмаила, увеличенный с маленькой фотографии.

— Я собираюсь увеличить и карточку Эмине. Только фотограф ждет, когда пришлют из Стамбула бумагу.

— Свою тоже увеличь.

— А еще мы снимемся все вместе, верно?

— Можно, папа?

— Можно, доченька.

Они прошли в спальню. У одной стены тахта, у другой — кровать с четырьмя медными шариками на спинках. Кровать покрыта белоснежным вышитым покрывалом. В углу зеркальный комод. В изголовье кровати тумбочка. Комод и тумбочку смастерил в тюрьме по заказу Исмаила столяр Зеки-уста.

— Я сплю с мамой в обнимку, вот здесь, папа.

— А сегодня я здесь буду спать. Ладно?

Нериман покраснела.

— Я постелю Эмине в той комнате.

— Я не буду спать в той комнате.

— Послушай, доченька, давай сразу договоримся: ты капризничать не будешь. Ты же знаешь, упрямых, непослушных девочек я не люблю.

Когда они обедали, усевшись посреди гостиной вокруг сверкающего медного подноса, Исмаил спросил:

— А хотела бы ты иметь братика, Эмине? Маленького, еще меньше тебя? Он звал бы тебя «абла».

— Прямо сейчас, папа?

— Нет, сейчас нельзя. Но вот увидишь, однажды он возьмет и придет.

— Хочу. Пусть приходит. Сначала мы ему обстрижем волосы, чтобы не было вошек, а потом я сошью ему платьице.

Исмаил не сводит глаз с Нериман, сидящей против него. Щеки ее пылают. Только сейчас он обратил внимание на ее платье.

— Какое у тебя красивое платье! Ну-ка встань, я погляжу.

Нериман поднялась, прошла перед Исмаилом.

— Тебе в самом деле нравится?

— Не то слово! Неужели сама сшила?

— А кто же! Я шью даже губернаторше...

После обеда Исмаил включил радио. Нериман привезла из Стамбула батарейный приемник.

— Послушаем, что говорит Москва.

Послушали сводку.

— Вперед продвигаются наши, вперед! Теперь попробуй останови их! До чего жизнь прекрасна, братишка!

Нериман повторила своим низким голосом:

— Жизнь прекрасна, братишка.

Исмаил вспомнил, что он сегодня так ни разу и не поцеловал Нериман. Он прижался к ней, хотел обнять.

— Не надо... При ребенке...

— А когда дочка заснет? Насколько мне известно, детишкам положено ложиться рано.

— А мне не хочется спать, папа, ни капельки.

— Не капризничай. Помнишь наш уговор?

Нериман уложила Эмине. Поцеловала в обе щеки. Идя в спальню, шепнула Исмаилу:

— Посиди немного с девочкой.

Исмаил сел на тахту у изголовья Эмине.

— А ну-ка, закрой глазки.

Эмине закрыла глаза.

— Если сразу заснешь, завтра я куплю тебе вертушку.

Эмине открыла глаза.

— А что такое вертушка, папа?

— Ну, не вертушку. Куплю тебе куклу. Хорошо?

Эмине крепко сомкнула веки.

Исмаил снял пиджак. Аккуратно положил его на белый чехол тахты. Встал, подошел на цыпочках к лампе, горевшей на столе, погасил ее. Эмине сладко спала. Исмаил тихонько открыл дверь спальни. Там горел ночник. Нерима лежала в постели. Атласное одеяло натянуто до подбородка. Волосы сплетены в две тугие косы. В ее широко открытых, взволнованных, испуганных глазах пляшут отблески ночника. Исмаил приостановился. «Погасить ночник или не надо?» Погасил. Разделся он в темноте.

А месяц спустя они уехали в Стамбул.

КОНЕЦ ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТОЙ ЧЕРТОЧКИ В ИЗМИРЕ

Исмаил вернулся домой. Ахмед лежал, недвижно вперив глаза в потолок.

— Как чувствуешь себя, братишка?

— Ничего.

— Я принес тебе пирамидон. Сказали, что кофеин и уротропин тоже хорошо помогают.

— А как ты сказал, для кого лекарства?

— Для меня, конечно. Это продают без рецепта. Ну-ка, прими. Одну такую, одну такую и одну вот эту.

Ахмед проглотил таблетки.

— Знаешь, твой Шюкрю-бей сбежал!

— Не может быть!

— Ей-богу! Два дня назад драпанул в Европу.

— Каким образом?

— Никто не знает. Говорят, без помощи англичан не обошлось. Он ведь с ними торговал.

— Компрадор из самых махровых.

— Его жена доводится тебе теткой, правда?

— Да.

— Она отказалась открыть дверь полицейскому. Покажите, говорит, ордер на обыск. А у полицейских ордера

нет. Они силой. А тетка твоя говорит: «Сейчас буду в вас стрелять». Как тебе нравится, братишка? Вот это женщина!

— У меня вся материнская родня такая. Не женщины — порох! Когда мать была беременна мной, на скутарийское ялы нагрянули сыщики султана Хамида. Дед был как-то связан со сторонниками Намыка Кемаля. Он был моложе их, но очень любил Намыка Кемаля и особенно Зию-пашу. Он хранил у себя не то какие-то статьи, не то стихи. Мать спрятала бумаги под матрац. А сама легла в постель. Когда сыщики вошли в спальню, она закричала: «Убирайтесь вон отсюда, бесстыжие негодяи! Как вы смеете входить в спальню мусульманки? Если сейчас же не уберетесь, я вас перестреляю». И хватить с тумбочки отцовский револьвер. Он и сейчас у нас хранится. Ржавый, шестизарядный. «Отец, для чего ты его держишь?» — спрашивал я, бывало. «Воров пугать», — отвечал он. А сам, вроде меня, и стрелять-то не умел. Но воров всегда страшно боялся. Когда-то давным-давно он увидел во французском журнале «Иллюстрасьон» картинку: грабители залезли ночью в квартиру и режут ножами хозяев. Дело, конечно, не в том, что картинка так на него повлияла. Просто он трусоват по природе. Мама смелая, а отец робкий.

Ахмед не знал, что его отца в Стамбуле вызывали в полицейское управление на допрос, били и истязали, требуя сообщить, где прячется сын. Не знал, что отец ни слова не сказал об отъезде сына в Измир, хотя это было ему прекрасно известно.

— Еще когда я был в Москве, отца из-за меня прогнали с работы. Он мог бы стать послом, а стал управляющим гостиницей.

— Помогли таблетки?

— Разве они могут подействовать так быстро? Но наверняка помогут. Спасибо тебе.

Я знаю, от лекарств не будет никакого проку. Помогает ли пирамидон от бешенства? А вдруг это все-таки не бешенство? Я не уверен на все сто процентов. Петросян тоже не был уверен на все сто процентов, что у него рак. Догадывался, но не был уверен. А когда поверил... Неужели действительно Петросян покончил самоубийством? Как только я окончательно убежусь, что заразился бешенством, приму сразу двадцать снотворных таблеток и...

— Исмаил, у меня кончилось снотворное.

— Я принесу. Но лучше тебе не привыкать к нему.

И как я до сих пор не додумался до таблеток? Чем испытывать муки... Вопрос только в том, когда принять. Завтра вечером? Подожду еще немного. Пока еще не ясно на все сто процентов. Как утопающий хватается за соломинку...

— Те, что ты приносил, мне уже не помогают. Купи самых сильных, Исмаил.

СЕДЬМАЯ ЧЕРТОЧКА НА ДАЧЕ У АННУШКИ

— Что это, Ахмед?

Аннушка увидела семь отметок, которые я вывел на двери, выходящей на застекленную веранду дачи.

— Сегодня наш седьмой день. Нам осталось тринадцать, Аннушка.

— А потом?

— Что потом — известно, — спокойно говорю я. — Кончится твой отпуск, кончатся мои каникулы, и мы вернемся в Москву.

Я говорю неправду. Нет, мы действительно вернемся в Москву, но ложь заключается в том, что будто бы после нашего возвращения в Москву ничего не произойдет. Через неделю, самое большее через десять дней, после возвращения в Москву нам с Керимом предстоит отправиться в путь-дорогу. Дай руку, Стамбул! Но мы не будем устраивать прощального вечера, как Си Яу и его товарищи. Не тот случай. О нашем отъезде должно стать известно только после того, как мы вернемся на родину. Полиция, конечно, узнает на другой же день после нашего возвращения. Нас с Керимом ждет легальная работа в журнале «Айдындык». Весь вопрос в том, как добраться до Стамбула. О том, что мы едем, знают только один-два человека в Коминтерне. И еще представитель нашей партии. Нехорошо получается, что я скрываю это от Аннушки. Делаю вид, будто у нас впереди по крайней мере года два. Да, плохо. Но что поделаешь?

— Зачем считать, сколько дней нам осталось? Когда я смотрю в театре хороший спектакль, я никогда не думаю, сколько осталось до конца. Смотрю так, будто он никогда не кончится.

— А тот спектакль, который мы здесь смотрим, вернее, в котором участвуем, тоже хорош?

— Очень. Но выражение «участвуем в спектакле» мне не нравится. Не знаю, как ты, а я не «участвую».

— Но ведь ты же и не зритель?

— Нет. Мы здесь, как бы это сказать, не играем и не смотрим. Мы просто живем.

Аннушка, улыбаясь, бросила взгляд сквозь открытую дверь веранды на залитые солнцем березы и высокие сосны. Потом ее улыбка медленно-медленно исчезла, словно стираемая с губ невидимым платком губная помада (губ Аннушка не красит, но ведь в сравнении допустима любая вольность).

— Не могу себе представить, Ахмед, как я буду жить без тебя,— промолвила она.— Через год, два или три ты уедешь. И больше не вернешься.

— Почему же? Возьму да вернусь.

— Нет, не вернешься. Для меня ты все равно что умрешь. А как жить без тебя — не представляю...

— Ты сама сказала, стараешься не думать об окончании спектакля.

— Выходит, иногда думаю.

Я обнял ее. Поцеловал в губы.

Аннушкина дача, вернее дача ее тети, расположена в сорока пяти минутах езды от Москвы. В дачном поселке, в лесу. От станции — пятнадцать минут ходьбы. Стоит выпасть дождю, что до сих пор случалось только один раз,— по лесным тропинкам не пройти. Такая грязь! Чтобы добраться до дачи, нужно быть искусным акробатом. Дом одноэтажный. Собственно, не дом, а настоящая крестьянская изба из круглых сосновых бревен, рубленая, как здесь их называют. В доме три комнаты. Одну из них Мария Андреевна, Аннушкина тетка, предоставила нам. Муж ее в пятнадцатом году погиб на Кавказском фронте.

Из деревни, что неподалеку, нам приносят молоко, обычно Петя, мальчик лет четырнадцати. Волосы у него густые, кучерявые, как у молодого барашка. Ворот рубашки распахнут, так что грудь открыта, бегают он неподпоясанный, босой. Симпатяга парень.

Мы взяли полотенца и пошли к озеру. Аннушка то и дело наклоняется и собирает в траве какие-то ягоды — как по-турецки они называются, я не знаю, а русское название никак не запомню. Некоторые выглядят вроде мелкой клубники, другие — как капельки-смородины. Наберет полную горсть и говорит мне: «Открой рот». Я открываю. Она бросает в него ягоды. Мне их вкус непривычен, и жую я без всякого удовольствия. Но мне нравится, что Аннушка угощает меня.

На берегу озера многолюдно.

— У-у, нэпманы! Вылезли с утра пораньше, — притворно сердится Аннушка.

Женщины, почти все раскормленные, в комбинациях или купальных костюмах, окруженные голыми ребятишками, расселись группами на берегу. Кое-кто прячется от солнца под дождевыми зонтиками. Кое-кто купается в озере. Все эти люди снимают здесь, в лесном поселке, дачи. По вечерам, расфуфыренные и покрашенные, приходят они на станцию, прогуливаются по деревянному перрону.

Мы нашли более или менее уединенное местечко. Разделись. Никогда, наверно, не привыкну к виду Аннушкиного тела. Вот и сейчас я аж зажмурился, когда она предстала передо мной в голубом купальном костюме, открывающем ее стройные, полноватые ноги.

Мы плывем рядышком. Ее голова покрыта белой косынкой, над водой взлетают сверкающие на солнце руки, вода вспенивается, закручивается бурунчиками.

Мы лежим на берегу, на спине.

— Какая ты красивая, Аннушка!

— Сегодня ты говоришь это уже в четвертый раз.

— До вечера, пока мы не ляжем в постель, я скажу это еще двадцать раз. А потом...

— Терпеть не могу, когда ты говоришь такие бесстыдные вещи!

От нечего делать я разглядываю лежащих на берегу. Взгляд невольно задерживается на хорошенькой, смешливой девушке. Я знаю, это поповская дочка. Молодые дачники и местные деревенские парни так и выются вокруг нее. Я вспоминаю батумский пляж. Вспоминаю женскую морскую купальню в Скутари. Крохотный участок в море, недалеко от берега, окруженный деревянным забором. Оттуда брызгами взлетает женский визг. Вспоминаю слова тетушки Джемиле: «Я мыла тебя в бане skutарийского ялы, зажав между коленями». Рассказываю об этом Аннушке.

— У тебя склонность о самых обычных вещах рассказывать так, что стыдно становится, — говорит Аннушка.

Днем я хожу в сатиновых трусах, которые надеваю поверх плавок. И в лес так хожу, и иногда даже на станцию. Многие городские парни ходят так же.

Мы вернулись на дачу. Каштановые волосы Марии Андреевны подернуты сединой. Если всмотреться, они с Аннушкой похожи — разрезом и цветом глаз, фигурой, осанкой.

— Ребята, вам письмо, — говорит она.

Письмо оказалось от Керима и Маруси. Они писали: в следующее воскресенье ждите нас в гости.

Аннушка обрадовалась. Я тоже. Она улеглась на коврик перед входом в дом, в тени высокой, аж до поднебесья сосны. Раскрыла учебники. Аннушка каждую свободную минуту использует для занятий, она твердо решила стать инженером. А я взял палитру и краски и опять принялся за портрет Марии Андреевны.

ПЕРВАЯ ЧЕРТОЧКА В ПОЛИЦЕЙСКОМ УПРАВЛЕНИИ

Исмаила арестовали поздно ночью и увезли в управление. Нериман была на втором месяце беременности.

Стамбульское полицейское управление помещалось в просторном здании в тихом переулке между Эминеню и Сиркеджи. В этом же переулке — еще несколько таких же зданий. Все они принадлежат домовладельцам и сдаются в аренду. Ни лавок, ни магазинов с витринами здесь нет. Когда-то дом, в котором сейчас расположено полицейское управление, принадлежал Санасарьяну, богатому армянину. В доме четыре этажа. Есть внутренний двор, мощенный камнем. На верхние этажи со двора ведут лестницы. Четвертый отдел, то есть по борьбе с коммунистами, расположен на четвертом этаже. Миновав последний лестничный пролет, упираешься в дверь с изображенными на ней двумя полумесяцами. Это значит, что посторонним вход строго воспрещен.

Стояла зима. Одна из тех суровых зим, которые все-таки редкость в Стамбуле.

В сопровождении трех полицейских в штатском Исмаил вошел в бывший санасарьяновский дом. Во дворе — множество автомобилей и мотоциклов. Поднялись на четвертый этаж. Вошли в дверь с двумя полумесяцами, оказались в коридоре, переполненном арестованными. Они сидели на расставленных вдоль стен стульях. Все как один сидели, понуро уставясь в пол. Вдоль по коридору вышагивал полицейский. Когда Исмаила вели мимо, некоторые арестованные искоса, незаметно посматривали на него. Кое-кого Исмаил узнал. «Если даже в коридоре полно народу, значит, на этот раз была большая облава». Вошли в кабинет начальника отдела. Кресла, обитые дерматином, массивный письменный стол. За столом — начальник отдела, дородный шатен. Несколько полицейских

стоят перед ним, в том числе комиссар. Этого высокого, тощего, смуглолицего комиссара в очках и двух сыщиков Исмаил знает. Вообще отличить сыщика от обыкновенного человека не так трудно: все, как один, носят серые или коричневые костюмы в узкую полоску, приобретенные на средства Сумербанка, на всех одинаковые ботинки и темно-серые шляпы.

— И пишущую машинку, и восковку тебе передал Зия,— сразу же заявил Исмаилу начальник отдела.

— Я не знаю человека по имени Зия. Никто ничего не давал мне. Я и в участке говорил об этом, и вам повторяю. Вы обыскали мой дом. Если бы у меня хранилось что-нибудь запрещенное, вы бы нашли.

— Машинку и восковку ты передал Кериму.

— Я не знаю человека по имени Керим.

Начальник отдела повторил тот же вопрос, но другими словами. Исмаил стоял на своем.

— Принесите палки! — вспылил под конец начальник.

Один из полицейских в штатском удалился.

— Не первый раз ты сюда попадаешь, прекрасно знаешь, что тебя ждет. Другие уже давно раскололись. Говори и ты: где Зия? Где Керим? Не мучайся сам и нас не вынуждай к крайним мерам.

Это и многое другое в том же роде говорил начальник отдела. Исмаил вперился взглядом в угол, где в железной печке полыхали комья каменного угля. Мысли, как сумасшедшие, метались в голове. «Если даже коридоры переполнены, значит, была большая облава. Кто же всех заложил? Кто предал? Зию и Керима им не удалось схватить. Есть ли кто-нибудь, кроме меня, кто знает, где они?»

Полицейский в штатском вернулся, неся пук кизиловых палок, толстых и тонких.

— Ложись!

И тогда Исмаил с отчаянной решимостью бросился на стоявшего рядом очкастого комиссара. Давно испытанный прием. Исмаил наперед знает, что его в тот же миг собьют с ног, но покорно ложиться под палки — нет, увольте, это ниже его достоинства. Это — во-первых. А во-вторых, пусть ему достанется вдвое больше побоев, но от мысли, что он напал первым, у него прибавляется сил выдерживать побои.

Исмаил не заметил, успел ли начальник выскочить из-за стола или не успел, как на него со всех сторон набросились все, кто был в кабинете, свалили на пол. Они били его ногами, злобно, остервенело, захлебываясь бранными

словами. Он сам себе кажется рыбой, застрявшей в ячейках сети, вытащенной на берег. Мотая головой, он все еще силится поймать взглядом слюдяное окошко в дверце железной печки, за которым полыхают раскаленные угля. И когда ему это удастся, огненные сполохи через глаза проникают прямо в мозг.

Ему ловко насадили на ноги фалаку. Двое взгромоздились ему на грудь. Привычно, мастерски и проворно стянули ботинки. Начальник отдела взял в руки палку.

— Будешь говорить или нет?

— Мне нечего сказать.

Начальник бил по обнаженным ступням Исмаила. Вот уже бьют двумя, тремя палками. Исмаилу ни капли не больно. Он вообще не чувствует ничего, кроме яростной злобы. Он не кричит, не ругается. Только думает: «Кто меня заложил? Кто донес, что я взял у Зии и передал Кериму?» В глаза хлещет свет лампы с потолка. Чтобы кровь истязуемого не замарала пол, с него не сняли носки. Исмаил знает: кровь накопится под ногтями, потом они почернеют и отвалятся. Сняли фалаку. На полу наготове стояло ведро с водой. Исмаила схватили под мышки и, осыпав пощечинами, когда он попытался вырваться, сунули ноги в ведро. Вода была ледяная. Держа под мышки, поводили по комнате. Ноги после пытки немеют, а через некоторое время становятся совсем бесчувственными. Но стоит опустить их в холодную воду и после этого пройти, как кровь приливает к ним, и боль становится нестерпимой. Исмаила опять уложили. Опять надели фалаку. Опять начали бить палками по ступням. Удары комиссара Исмаил отличает от других. Бьет, сволочь, с оттяжкой. Начальник отдела уже отошел в сторону. Исмаил начал кричать. От боли он теряет рассудок. Начальник отдела, утерев пот с лица, произнес:

— Хватит пока. Ну, будешь говорить?

— Мне нечего сказать.

Удары посыпались с новой силой. Исмаил словно со стороны слышит собственные крики. Сколько времени прошло? Как он попал в эту комнату? Он ничего не помнит. Прошло, может, два часа, а может, и три... Свет лампы под потолком уже не кажется таким ярким.

— Увести!

Двое снова подхватили Исмаила под мышки. Ступать на ноги он не мог. Его волоком вытащили из кабинета. Напоследок он бросил взгляд за окно. Там занималось утро, промозглое зимнее утро. Миновали коридор. Сидев-

шие вдоль стен подняли головы. Кое-кто даже улыбнулся ему — то ли испуганно, то ли грустно, то ли с любопытством, то ли ободряюще.

Так же, волоча под мышки, Исмаила спустили по лестнице. Пальцы судорожно сжимают ботинки. В ногах такое ощущение, будто их переломили в коленях. Серый утренний свет перемешивается с желтоватым светом электрических лампочек. Исмаила втолкнули в одну из дверей на нижнем этаже, рядом с камерой предварительного заключения.

Каменная одиночка. Пол цементный. Стены в потеках грязной извести. Едва Исмаила отпустили, он рухнул на пол. Его подняли и ловко раздели почти донага. Оставили только кальсоны, завязанные на щиколотках. Ботинки он так и держит в руках. Сидит, прислонившись голой спиной к стене. На потолке тусклая лампочка. Ноги горят, будто их прижгли каленым железом... Полицейские в штатском забрали одежду Исмаила, заперли дверь и ушли. Холод страшный. Зубы у Исмаила лязгают. Он хлопает себя руками, как это делают рыбаки, промокнув в ледяной воде. Голая грудь, голый живот покрылись гусиной кожей. «Вай, мерзавцы! Они еще хуже, чем военные. Там, в трюме, было по крайней мере тепло». Вдруг он почувствовал, что в камере еще кто-то есть. Повернул голову. Какой-то тип, словно курица на насесте, сидит на чем-то вроде ящика из-под апельсинов. Между краями поднятого ворота виднеется круглая черная борода. На голове — берет. Два блестящих навывкате глаза испытующе уставились на Исмаила. Руки засунуты в карманы пальто. «Не наш», — подумал Исмаил.

— Здравствуй.

— Селям-алейкум.

— Дай тебе Аллах поскорее выбраться отсюда.

— Тебе тоже.

— Ты давно здесь?

— Уже неделю.

— За что посадили?

— Поклеп возвели.

— Ясно, что клеветы, братишка. Но в чем обвиняют?

— Якобы мы печатали арабскими буквами и продавали священный Коран.

Бородач не стал, в свой черед, спрашивать Исмаила, за что он сюда попал. Закрыв глаза. Исмаил попытался встать на ноги. Куда там! На раскаленное железо легче ступить. Кровь, скопившаяся в носках, запеклась.

— А здесь не жарко, земляк...

Бородач открыл глаза, смерил Исмаила ничего не выражающим взглядом и опять закрыл глаза. С большим трудом, преодолевая мучительную боль, Исмаил встал на колени. Но долго находиться в таком положении невозможно, вскоре колени заоченели. Исмаил опять сел. Потом вдруг догадался: подсунул под себя ботинки и сел на них. Стало немного легче.

Окна в камере не было.

Исмаил вспомнил, как в двадцать пятом году Ахмед делал заметки на двери хижины. Отколупывая ногтем штукатурку, он вывел на стене одну черту. Первую. «Кто еще из наших попался? Как же меня не предупредили, что начались повальные аресты? Неужели за одну ночь всех взяли?»

Открылась дверь. Вошел полицейский в форме. В руках у него хлеб и бумажный кулек.

— Отец!

Бородач открыл глаза. Слез с ящика. Взял у полицейского хлеб и бумажный кулек. Пока он снова забирался на ящик, дверь закрылась. Бородач открыл кулек. Маслины и хлеб.

— Мой сын, наследник.

— Кто?

— Сын принес мне хлеб и маслины.

— Если у тебя сын в полиции служит, ты здесь не удержишься.

— Что он может поделаться? — пробубнил бородач с набитым ртом. Напраслину на меня возвели, да такую, что, объединись семь царств в одну державу, изучай дело хоть семь недель, все равно до правды-истины не докопаться.

Покончив с хлебом и маслинами, бородач встал, подошел к жестянке в углу камеры, помочился, влез обратно на ящик.

Где-то около полудня дверь снова открылась. Сын принес отцу котлеты, завернутые в лепешку. И бутылку воды. Бородач умял котлеты. Отпил воды, рыгнул. Спросил Исмаила:

— У тебя никакой родни нету? Если с воли не будут жратву носить, ты здесь с голоду околеешь.

— Скорей от холода.

Очевидно, к вечеру дверь открылась снова. Сын принес отцу хлеб и вяленое мясо. Исмаил начал чувствовать голод. «Нериман наверняка принесла что-нибудь». Он

начал стучать в дверь. Ее открыл полицейский в форме, не сын бородача, а другой, с такими кривыми ногами, что казалось странным, как он на них держится. А сам небритый, щетина с вершок.

— В чем дело? Чего шумите?

Исмаил не успел ответить, как бородач затараторил:

— Ваш покорный слуга тут ни при чем. Это он, он!

— Чего тебе надо?

— Мне передачу не приносили?

— Сейчас узнаю.

Дверь закрылась.

— И чего стучать? — заворчал бородач. — Если пищу принесли, никуда она не денется.

Исмаил со злостью посмотрел на бородача, ковырявшего в зубах щепочкой. И откуда только у него взялась эта щепочка?

Дверь открылась. Появились очкастый комиссар и еще один полицейский. Швырнули Исмаилу одежду.

— Мне поесть не приносили?

— Жена приносила. Мы ее прогнали.

— Почему?

— Ничего с тобой не сделается, если немного поголодаешь.

Ушли. Исмаилу насилу удалось одеться. Но после этого ему почему-то сделалось еще холодней. Его трясло так, словно сквозь тело пропускали электрический ток.

Ночь он провел, сидя на ботинках и втянув голову в поднятый воротник пиджака. Пальто ему не дали. Проснулся от невыносимой жажды. Бородач храпит, по-прежнему сидя на своем ящике, как курица на насесте. Исмаил подполз к ящику, взял стоявшую возле него бутылку, глотнул разок, другой, третий... Потом выпил все.

Утром его разбудил вопль бородача:

— Ты выпил мою воду!

— Уж очень пить хотелось.

— Тебе запрещено! И есть и пить. Я доложу.

Немного погодя дверь открылась. Сын бородача опять принес хлеб и маслины.

— Вот он ночью выпил мою воду.

— Ну и что? Я принесу еще.

— Ему запрещено и есть и пить.

— Оттого, что выпил немного воды, ничего не случится, отец.

— Да, таким вот все с рук сходит, а на меня поклеп возвели. Падет беда на твою голову, сын!

Молодой полицейский ничего не ответил. Белокурый парень, подтянутый, опрятный. Взяв бутылку, вышел и вскоре вернулся с водой.

Исмаил процарапал на штукатурке еще одну черту.

Примерно в полдень сын опять принес бородачу котлеты с лепешками. А вскоре дверь распахнулась. Очкастый комиссар, не глядя на Исмаила, бросил бородачу:

— Смотри, ходжа, этому человеку еды не давай. Не то и тебя заставим поститься.

— Что вы, что вы! Разве я дам?

У Исмаила скопился немалый опыт сидения в камерах-одиночках. Он знает, как должно вести себя человеку, которому предстоит долгие месяцы пробить одному в четырех стенах. Надеяться на разговор с бородачом — дело гиблое. Исмаил счел за лучшее причислить его к неодушевленным предметам, после чего приступил к тщательному изучению этого предмета. Бородач все так же сидел на своем ящике, как курица на насесте. Когда он встанет и походит по камере? Под длинными ногтями скопилась грязь, а пальцы желтые, словно восковые. Нос кривой. «Досчитаю до тысячи, и «оно» поднимется со своего насеста». Досчитал до тысячи. «Оно» сидело по-прежнему. «Досчитаю до трех тысяч, «оно» закроет глаза». Бородач закрыл глаза на счете две тысячи двести шестьдесят четыре. «Сколько свечей эта лампочка? Самое большее двадцати пяти. Как в нашей уборной. Что там ползет по потолку, клоп, что ли? Откуда здесь взяться клопу? Досчитаю до десяти тысяч, «оно» откроет глаза». Досчитал. Бородач глаз не открыл. «Какого роста Эмине? Должно быть, около метра. А может, меньше. Надо смерить. Нериман прогнали, не взяли у нее передачи? Или забрали, а мне не дают? Обычно с передачей не прогоняют. Значит, забрали и слопали, мерзавцы. Чтобы не чувствовать холода, не надо думать о холоде».

Открылась дверь. Полицейский принес отцу ужин. Халву, хлеб. Бородач жует, громко чавкая. Жирные крошки халвы застряли в бороде. «Оно» постучало в дверь. Открыли.

— Мне надо по-большому.

— Мне тоже, — сказал Исмаил.

Сначала сводили бородача, потом Исмаила, но велели:

— Прихвати с собой жестянку с мочой.

С большим трудом Исмаил поднялся, чтобы взять же-

стянку. До сих пор нельзя ступить на подошвы. Полицейский взял его под руку.

В уборной Исмаил досыта напился воды, глотая ее из пригоршни. Вернулся в камеру. Бородач ходит из угла в угол. Исмаил принялся считать его шаги. Пятьсот пятьдесят два. Тот снова вскарабкался на свой ящик. Спрятал круглую бороду в пальто, заснул. Исмаил знает, что в тюрьмах не следует думать о тех, кого любишь, не следует думать о воле. Лишь мысли и воспоминания о подлых людях, о вещах и явлениях, которые злят, дают силы выжить. «Сегодня вечером опять потащат на допрос». С усилившимся сердцебиением он стал ждать, когда откроется дверь и его позовут. Дверь не открывалась.

Голод когтями скреб внутренности. «Отсутствием аппетита ты никогда не страдал, братишка». И на следующий день бородачу исправно приносили еду и питье на завтрак, обед и ужин. Исмаил старался не смотреть на него, когда он ел. Боль в ступнях потихоньку ослабевала.

«Вроде и теплее стало, или привык». Он процарапал третью черту на стене.

На следующий день, уминая котлеты — а какой от них дух идет, спасу нет! — и пыщущие жаром лепешки, бородач сказал:

— Хорошо! До чего вкусно! Сынок наверняка покупает их на Бабыали.

Исмаил насилу сдержался, чтобы не ругнуться.

В тот вечер его тоже не вызвали на допрос. И на следующий вечер.

Исмаил провел пятую черту. Такое впечатление, что бородач только и делает, что с громким чавканьем жует то халву, то маслины, то вяленое мясо, то лепешки. Ковыряет в зубах. Отплевывает. «Ох, слава тебе, господи!» И опять ест, ест, ест...

Исмаил прочертил шестую черту. Улегся спиной на цемент. У него перед глазами встали праотцы-адамы, пасущиеся у подножия генуэзской стены. Свежая зеленая трава. Бородач уплетает вяленое мясо. «Ей-богу, сейчас наброшусь на этого мерзавца, вырву у него мясо». Его затошнило, в животе усилилась резь, словно там ковыряли ножом. «Ничего, и к голоду привыкнуть можно. Наш ишак совсем привык бы к голоду, кабы не околел». Исмаил силится вспомнить анекдоты про Ходжу Насреддина. Но ничего, кроме истории про ишака, не приходит на память.

Нацарапал седьмую черту. Все эти семь дней, сквозь запахи еды, сквозь все увиденное и услышанное, сквозь все ощущения и мысли, его мозг буравили три вопроса: «Кто сказал, что Зия передал мне восковку и пишущую машинку? Кто донес, что я отдал их Кериму? Когда откроется дверь и меня снова потащат на пытку?» Дверь не открылась и на седьмой вечер.

На следующий день, когда бородач уплетал котлеты, принесенные с Бабыали, Исмаил опрокинул ему на голову жестянку с мочой. Тот сперва не мог сообразить, что случилось. Потом с воплями начал стучать в дверь. Пришли. Связали Исмаилу руки за спиной. Той же ночью, подняв его на четвертый этаж в комнату, заваленную грудами битого кирпича и извести, не задав ни одного вопроса, молча, остервенело избили до полусмерти. Потом приволокли в одну из одиночных камер политической части и заперли там. Как и в первый раз, Исмаил увидел сидевших на стульях в коридоре. Однако никого из них он в лицо не узнал, разве что дантиста Акопа. Его белые волосы отсвечивали в тусклом свете электрической лампы.

ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ ЧЕРТОЧКА В ИЗМИРЕ

Исмаил подошел к двери хижины как раз в тот момент, когда Ахмед чертил на ней двадцать пятую черточку. Услышав звук открываемого снаружи замка, Ахмед отступил с куском мела в руках.

— Привет! Ты, слава богу, на ногах. Как температура?

— Вроде падает.

— Я принес градусник. Как мы до сих пор не догадались, братишка? А ну-ка, поставь его...

Ахмед поставил градусник. Тридцать восемь и пять.

— Вот и хорошо. Падает. Ты просто-напросто застудился.

Ни Исмаил, ни Ахмед не были уверены в том, что это обыкновенная простуда, но Ахмед уцепился за эту мысль.

— Похоже, простудился. Или подхватил грипп. Как там, в городе, болеют гриппом?

— Еще как!

«Врет».

— Люди мрут от гриппа, как мухи.

«Врет».

— Каждый второй на заводе болеет гриппом.

«Врет».

— Как у тебя с аппетитом?

— Нормально, Исмаил, дорогой.

«Врет».

— Готов слопать целого ягненка.

«Врет».

— Ягненка я не нашел, зато жареную курицу принес.

— Ай да молодчина!

Ахмед через силу ел курятину и давился. Маленькие кусочки казались ему огромными.

— Ломота тоже проходит?

— Еще ломает.

— На то и грипп. Сразу не проходит.

— Да, грипп...

— Я же говорю, у нас половина рабочих болеет.

— А верно, я больше не кричу по ночам, Исмаил?

— Последнее время нет.

— Хорошо.

— Конечно.

— А ты сказал товарищам, что я уехал в Стамбул?

— Сказал. Мы же договорились... Хотя это и ни к чему. Но разве тебя разубедишь?

— Хорошо. Пусть они лучше думают, что я в Стамбуле. Если что случится...

— Ничего не случится. Все пройдет. Пошли спать.— Исмаил, подражая трубе, сыграл вечернюю зорю.— Наш дом был рядом с казармой. Я могу изобразить не только вечернюю зорю, но и любой сигнал: «На обед», «В атаку».

— Послушай-ка, о чем я подумал. Если ты когда-нибудь попадешь в Москву, отыщи Аннушку.

— Сам поедешь и сам отыщешь.

Я подумал: «Мне намечен путь в другое место, не в Москву. Двадцать снотворных таблеток и айда...» И до того мне сделалось жалко себя, до того жалко...

— Когда ты окажешься в Москве, хоть через пять, хоть через десять лет, отыщи Аннушку. Она к тому времени обзаведется семьей. Будет работать инженером на каком-нибудь заводе. Может быть, даже главным инженером. Я представляю себе, какой она станет через десять — пятнадцать лет. Станет похожа на свою тетку. Располнеет, в волосах появится седина. Аннушка так любит клубничное варенье. Я тебе дам адрес их дачи. Спрячь где-нибудь. Сохрани.

— Хорошо, хорошо... Вечернюю зорю ведь уже протрубили.

Они улеглись. Движок тарахтит: тук-тук-тук, тук-тук-тук.

ДЕСЯТАЯ ЧЕРТОЧКА НА ДАЧЕ У АННУШКИ

Мы сидим на застекленной веранде и завтракаем, я и Мария Андреевна. Клубничное варенье, молоко, что принес Петя, ржаной хлеб... Аннушка еще у себя в комнате.

Мария Андреевна вдруг, понизив голос, задает мне вопрос, к которому я не готов. Она явно боится, как бы не услышала Аннушка:

— Вы с ней поженитесь? То есть я хочу спросить, распишетесь?

Что я мог ответить?

— Конечно.

— Вот и славно. Я очень довольна,— говорит Мария Андреевна.— Она поедет с вами в Турцию. Ведь вам рано или поздно придется вернуться на родину...

— Естественно...

— Если не сможете сразу поехать вместе, она приедет потом. Все-таки лучше быть законными мужем и женой. Загс — это законное советское учреждение, верно?

— Конечно.

Пришла Аннушка. Села за стол. Мария Андреевна переменила тему разговора.

— Я пойду на рынок. Обменяю клубнику на манку, если удастся.

В саду у Марии Андреевны есть клубника. В этом году ее уродилось очень много. По дороге мимо дачи проходят нэпманские семейства. В Москве, гуляя по улицам, мы с Аннушкой то и дело считаем, сколько нэпманских лавочек вновь открылось, сколько закрылось. На месте закрывшихся чаще всего открываются государственные книжные магазины.

— Пойду собирать клубнику,— повторяет Мария Андреевна.

Аннушка, сверкая белыми зубами, аппетитно откусывает ржаной хлеб, намазанный клубничным вареньем. Где-то в лесу прозвучал выстрел. Чтобы сказать что-нибудь, я спросил Аннушку:

— Ты умеешь стрелять?

— Умею.

— Да ну?! — удивился я. — А вот я не умею.
— Не умеешь — и ладно.
— Ты меня, наверное, презираешь за это?
— Ну что ты!
— А когда ты научилась стрелять?
— После того как отца убили на моих глазах, я решила, что обязательно должна научиться стрелять.
— Ну?
— Потом мама умерла от тифа в Сибири, а я... я пошла в партизанский отряд.
— Ты мне об этом никогда не рассказывала.
— О чем тут рассказывать? Месяцев шесть-семь партизанила.
— Расскажи об этом.
— В другой раз. А сейчас — марш на озеро. Купаться.

Я встал из-за стола. На глаза попался вчерашний номер «Правды», за двенадцатое июня тысяча девятьсот двадцать четвертого года. В Китае У Пейфу преследует рабочих лидеров. Казнили председателя профсоюза железнодорожников.

— О чем пишут?

— Террор в Китае.

Аннушка стремительно выхватила у меня из рук газету.

— Где об этом написано?

— Вот.

Она прочла. Ничего не сказала. Положила газету на стол.

— Пошли.

Мы молча дошли до озера. Комаров — тьма-тьмушая. Я то и дело шлепаю себя по затылку, по рукам, по груди. А Аннушке хоть бы что.

— Тебя комары не трогают?

— Нет. Наверно, я им не по вкусу.

Мне не дают покоя слова Марии Андреевны. Взять Аннушку с собой в Турцию? Это невозможно. Она придет ко мне потом? Тоже исключено...

Мы идем бок о бок. Идем втроем по березовой роще, сквозь солнечные лучи, пробивающие листву, идем втроем: я, Аннушка и разлука. «Внемли, это флейты тоскующий глас, о скорби разлуки ведет он рассказ».

— Что ты бормочешь?

— Есть такой великий поэт — Мевляна. Он мистик, но все же великий поэт. Я вспомнил одно его двустишие.

Я перевел Аннушке это двустипшие на русский язык. Объяснил, в чем заключается его мистический смысл. Если флейту сделать из тростника, растущего в самых непроходимых зарослях, голос ее всегда будет исполнен тоски и грусти. Человек — частица вселенной, то есть частица бога, но оторванная от него и затерявшаяся в этом мире. Вот отчего голос тростниковой флейты, которую у нас называют неем, поет об извечной разлуке.

— Прочти по-турецки.

— Мевляна писал на персидском. На турецкий его перевели позже. Я тебе прочту на том и на другом языке.

Я прочел.

— Как выразительно звучит! На обоих языках. Когда вы с Керимчиком говорите по-турецки, мне очень нравится, как звучит турецкий язык.

— Почему ты зовешь его Керимчиком, а меня ни разу не назвала ласкательно?

— Действительно. Странно. Сама не знаю почему. Иногда я мысленно называю тебя Ахмедушкой, но произнести вслух... Нет, не могу.

Мы выкупались. Лежим на берегу рядышком. Наши плечи касаются друг друга. Рука Аннушки в моей ладони.

— Ты соскучился по родине, по Стамбулу?

Она спросила об этом, как бы обращаясь и не ко мне, и выдернула руку из моей ладони.

— Зачем убрала руку?

— Чтобы тебе легче было ответить.

Не поворачивая головы, я нащупал Аннушкину руку и сжал сильнее. Она опять спросила как будто не меня:

— Почему не отвечаешь?

— Что же, могу ответить. Бывает так, что целыми днями я не вспоминаю о родине, но потом вдруг ни с того ни с сего начинаю ощущать ее запах. Он кружит вокруг меня, этот запах, пропитывает все собою, и длится это много дней, недель. Тогда я тоскую, грущу, иногда наворачиваются на глаза слезы.

— Понимаю.

— Не убирай руку.

— А что это за запах? Ты можешь его описать?

— Это не запах моря или сосен. Он вообще не имеет общего с географией моей страны. Конечно, есть места, по которым я особенно тоскую. Но запах родины — это запах любви к ней, и в первую очередь — к ее людям. Когда я говорю о людях, я имею в виду...

— Не буржуев, понимаю.

— Они, по-моему, не люди — не турки, не русские, не французы. Вообще не люди.

— По-моему, тоже.

Наши плечи касаются друг друга.

— Если бы зависело от тебя, ты бы вернулся в Стамбул, ну, скажем, завтра, через неделю, через месяц?

— Почему именно в Стамбул?

— А куда же?

— Да, конечно, прежде всего в Стамбул.

— Так хотел бы ты вернуться? Прямо сейчас? Сегодня? Вот в эту минуту ты хотел бы быть там? Почему ты отпустил мою руку? Ой, не надо... Не трогай... Хотел бы? Ахмедушка... Ахмедушка... Ты прав... Давай пойдём... Что-то мне вдруг стало холодно.

Мы одевались молча. Я думал: «Сейчас? В эту минуту? И да и нет».

* * *

По дороге я предложил Аннушке зайти к Багрицким. Багрицкий — один из самых мною любимых русских поэтов. Он и человек замечательный, чистый и ясный, как не разбавленное водою вино.

В Багрицком мне больше всего нравится, что он революционный романтик и настоящий мужчина. Он романтичен и вместе с тем мужествен настолько, что способен превращаться в женщину и ласкать дерево, траву, паровоз, весну. По-моему, поэт, лишенный этих качеств, не может стать настоящим художником.

Багрицкий встретил нас у калитки. Улыбнулся беззубым ртом. Может быть, у него и есть зубы, но мне кажется, что он улыбается беззубо.

— Добро пожаловать, Осман-паша! — Османом-пашой он называет меня, видимо, в память о коменданте Плевны Гази Османе-паше. — До чего ж ты хороша, Аннушка! Как пшеничное поле.

Мы вошли. Дом у Багрицкого маленький, темный, серый. В аквариумах плавают японские рыбки, в клетках распевают птицы, но мне кажется, что в полумраке этой дачи рыбы плавают свободно, как в море, а птицы весело распевают и хлопают крыльями, как в небе.

Жена Багрицкого приготовила чай. Багрицкий прочел новые стихи. Его теплый голос доносился до нас, словно откуда-то издалека, словно из какой-то глубины. Как я

люблю этого человека, как я его люблю! Целыми днями я могу сидеть, глядя в его братские глаза, среди его рыб, среди его птиц, среди его стихов.

* * *

Мы вернулись домой, оставив у Багрицкого частицу моего сердца. Мария Андреевна обменяла клубнику не на манку, а на картошку.

Сейчас полночь. Мы с Аннушкой лежим рядом. Окна открыты, но тюлевые занавески задернуты. Чтобы комары не залетали. Когда темнеет, мы даже не зажигаем в комнате лампу.

Аннушка спит, лежа на спине рядом со мной, совершенно нагая. Дыхание у нее легкое, как у ребенка, она чуть слышно причмокивает губами. Ее рука в моей. Мне хочется повернуть голову, чтобы видеть ее светлое тело, освещенное проникающим в окно лунным светом, но я боюсь ее разбудить. В груди у меня набухает какая-то тяжелая, липкая, крошечная тьма. Сердце бьется учащенно. Я крепко сжимаю руку Аннушки. Гляжу на лунный свет, серебрящий тюлевую занавеску. Тьма, поднявшаяся из глубины моей души, захлестывает меня всего, и руки и ноги. Что было между Аннушкой и Си Яу? Я не знаю. И никогда не узнаю. Я стараюсь не давать воли фантазии, отгоняю от себя видения любовных сцен, разыгранных в Марусиной комнате. Но перед глазами отчего-то все время стоит диван в Марусиной комнате. Я думаю об Аннушке и Си Яу, об их близости. По-моему, мужчина и женщина могут по-настоящему сродниться только в минуты самой сокровенной близости. Мысль о том, что не только со мной была близка Аннушка, сводит меня с ума. Я уеду, Аннушка, конечно, встретит другого мужчину. Они поженятся. Они пойдут в загс. Конечно, пойдут. Но это случится после того, как я уеду. Когда меня совсем не станет. Когда я для Аннушки умру. Нет. Не в этом дело. Все гораздо сложнее. Я выпустил руку Аннушки и встал. Оделся. Вышел из дома в лес, освещенный луной.

СНОВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ ЧЕРТОЧКА В ИЗМИРЕ

— Исмаил!

Исмаил спал. Ахмед повторил громче:

— Исмаил!

— Что?! Это ты, Ахмед? Что случилось?

— Ничего. Прости меня.

— Ну, говори же, братишка, что произошло?

— Ты забыл принести снотворное.

— Мне не дали. Без рецепта не дают. Завтра возьму рецепт у одного знакомого доктора. Постарайся заснуть. Считай до пятисот.

— Прости меня.

— Спи, спи...

Глупо было будить Исмаила. Я мог бы написать записку: не забудь, мол, купить таблетки — и положить на его одежду.

Я повернулся на правый бок, потом на левый, лежу на спине. Вытянул руки по бокам. Так и в яме буду лежать, на спине, вытянув руки по бокам, как лежат в могилах. Ах, черт побери! А в Москве есть крематорий? Или нет? Разве кремация лучше? Полно, если после моей смерти захотят... А вот Энгельс пожелал, чтобы его тело после смерти сожгли и пепел бросили в океан. Так, говорят, и сделали. Один из самых мудрых старцев на свете и один из самых юных романтиков... Энгельс... Надо заснуть... Спать, спать, и больше ничего... Надо заснуть...

Прежде чем Исмаил, растолкав, разбудил меня, я услышал свой крик, услышал, что я кричу, словно меня режут. Страшный голос. Мне показалось, что я кричу уже много часов. Никак не соображу, где я. В Москве, в комнате Аннушки? Или в Стамбуле? Или в вестибюле дедовского ялы? В яме, под крышкой, захлопнувшейся надо мной?..

— Эй, братишка, проснись.

Исмаил одной рукой трясет меня за плечо. Зажег керосиновую лампу. В другой руке Исмаил держит что-то. Мне кажется, я разглядел, что он держит в руке, но он быстро спрятал руку за спину.

— Не бойся, Исмаил.

Он смотрит на меня выпученными глазами.

— Чего мне бояться, братишка? Приди в себя. Хочешь воды?

— Не хочу.

— Как себя чувствуешь?

— Хорошо. Не гаси лампу.

Исмаил вернулся к своей постели.

— Постарайся заснуть.

— Ты тоже.

Но мы оба так и не смежили глаз до рассвета. Молча лежали, исподтишка наблюдая друг за другом, как наблюдают друг за другом охотник и дичь.

ЧЕРТОЧКИ В СТАМБУЛЬСКОМ ПОЛИЦЕЙСКОМ УПРАВЛЕНИИ

Камера, куда поместили Исмаила, была темной. «У этих мерзавцев особое пристрастие к темноте. Военные тоже держали меня в темноте». Исмаил узнает, день сейчас или ночь, только когда его ведут коридором в уборную и обратно. На стене камеры он ногтем выцарапывает черточки, но увидеть и сосчитать их не может. На допрос его не вызывают. Пищу, которую приносит Нериман, передают. Исмаил знает, что без всяких допросов его могут продержать здесь и три месяца, и пять, и девять. Зия рассказывал, что во время повальных облав в двадцать восьмом году его после пыток продержали в камере целый год. Исмаил в тот раз отделался легче. Зия рассказывал, как, оставив на нем одни кальсоны и сковав руки за спиной, ему прижигали грудь, живот и ноги горячей сигаретой. Он показывал места ожогов — темно-коричневые пятна. С мизинца и среднего пальца левой руки ему сорвали ногти.

Каждый раз, когда Исмаила проводят по коридору, он видит сидящих на стульях новых арестованных. Только дантист Акоп все еще сидит на той же табуретке. Вид у него такой одурманенный, словно он накурился гашиша. Один раз, когда Исмаила проводили мимо, Акоп упал. Его тотчас подняли, с издевкой приговаривая: «Помилуйте, Акоп-эфенди, просим вас, сидите спокойно». И снова усадили на табуретку. Исмаил понял: дантисту Акопу не дают спать. Есть у этих гадов такая пытка — бессонницей. Некоторых в течение многих дней держат на ногах, не давая уснуть. Рядом дежурит полицейский. Стоит тебе забыться — расталкивают, будят. Свалишься, как мешок, — поднимут, снова поставят на ноги. Акопа (должно быть, потому что он очень старый) держат на табуретке. Через несколько дней Исмаил увидел, как Акоп опять свалился на пол. Опять подняли. Уже примерно двадцать семь дней, нет, двадцать пять, нет, все-таки двадцать семь Акоп на табуретке. Валится — поднимают. Падая, он ударяется головой об пол. Корни седых волос в запекшейся крови, лицо в синяках и ссадинах.

На площадке четвертого этажа перед дверью с двумя полумесяцами толпятся матери, жены, сестры арестован-

ных. Бог знает, на какой день после того, как Исмаил попал за решетку, Нериман заболела. Целую неделю передачи Исмаилу носил Осман-бей. «Я сам себе хозяин, что мне сделают? Но когда, даст бог, он выйдет, пусть хоть немного образумится. Я не говорю, что ему надо бросить политику. Но скоро он станет отцом. Да и Эмине считается его дочерью. Я не говорю, что ему надо бросить политику, но зачем же постоянно соваться в самое пекло?»

На площадке перед дверью с двумя полумесяцами Нериман познакомилась со старшей сестрой Керима. Керима схватили двадцать пять дней назад. Через два месяца после Исмаила. Сестра Керима — пожилая, полная, с приветливым лицом. По лестнице поднимается бегом, как четырнадцатилетняя девочка.

Нериман рассказала:

— Месяц тому назад я встретила Керима-агабея в автобусе. Гляжу, стоит впереди. Я так обрадовалась! Пока я пробиралась к нему, автобус остановился. Я не успела окликнуть его. Он соскочил. Я тоже. Быстро, быстро идет, не оглядываясь. Я за ним. Он свернул в переулок, побежал. Тогда только я смекнула: он просто не хочет видеть меня.

В руках у сестры Керима судок и четыре красные розы. Привезла из Сарыера. Одну розу дала Нериман.

— Эти розы мой братик растит в оранжерее, которую соорудил собственными руками,— объяснила она. Затем рассказала: — Когда мы отсюда выходим, голубушка, за нами следят. Всё берут на заметку: куда идем, с кем разговариваем. Должно быть, поэтому Керим и убежал от тебя. Среди шпионов есть один такой рябой, не отстает от меня ни на шаг. Позавчера утром я вышла отсюда, а он за мной по пятам. Зашла в баню на Фындыклы, мылась до вечернего эзана. Выхожу, и что ж ты думаешь? Стоит на мостовой против бани! Снег идет, продрог, собака, но стоит. Отдают ли хоть наши передачи ребятам в целости и сохранности? Или сами лопают?

В ушах у них вдруг зазвенело от крика женщины:

— Вы обязаны передавать моему мужу еду, пока она горячая! У него чахотка!

Дверь с двумя полумесяцами, не открывавшаяся вот уже два часа, отворилась. Полицейские приняли у женщин передачи. Красные розы, что принесла сестра Керима, тоже взяли. Но женщина, поднявшая крик, не умолкала.

— Прошу вас, не кричите.

— Почему не кричать? Кто дал вам право держать нас здесь часами?

Кричала молодая, редкостной красоты женщина. Отец ее — депутат меджлиса, муж — коммунист. Смуглый парень, грязный, словно лицо его никогда не видело воды. Раза два не устоял в полиции, не вытерпел пыток. Товарищи его не любят.

— Удивляюсь я этой Неджле, — сказала сестра Керима. — Разумная, красивая, кровь с молоком. Как она могла выйти замуж за этого типа? Даже с семьей порвала из-за него. Отец ее не проклял, но, говорят, знать не желает. Однако полицейские ее побаиваются. Что значит любовь! Ох, любовь зла... Ну ладно, получилось так, что бросила богатый отцовский дом и вышла за коммуниста. Но уж коли выходить за коммуниста, то хоть за такого, как мой Керим. — Она улыбнулась, обнажив ровные-ровные зубы. — Свой птенец и вороне кажется жар-птицей.

Женщины отдали передачи, но не расходились. Ждали, пока им вернут пустые судки, ждали и еще чего-то.

Дверь с двумя полумесяцами открылась. Двое полицейских в штатском вывели четырех арестантов. В руках у арестантов — корзины из-под угля. Их заставляют таскать уголь из подвала для печей. Ни одного из арестантов женщины не знали. И все-таки обрадовались, будто повстречали знакомых. Обменялись улыбками. Неджла развернула газету, которую держала в руках, сделав вид, будто читает. Один из арестантов, знавший по-французски, прочел заголовок в «Юманите»: «В Турции коммунистов подвергают пыткам. Демократы всего мира...» больше не успел — полицейский толкнул его в спину: «Иди!»

Неджла закричала:

— Даже у нас на глазах измываются над ними!

Полицейский косо взглянул на Неджлу, покачал головой, прошел. Арестанты с корзинами в руках спустились по лестнице.

— Керима, наверное, не пытаются, — сказала сестра Керима Нериман. — Я так просила, так просила: дайте хоть раз посмотреть на него. Не показывают.

— Исмаила, как он сюда попал, я тоже ни разу не видела.

Керим в «гробнице». Стены «гробницы» цементные, пол тоже цементный, дверь деревянная. Внутри может

поместиться только один человек. И то стоя. Плечи и спина упираются в стены, колени — в дверь. Вот уже двадцать дней Керим в «гробнице». В первую ночь после ареста его избили, в следующую ночь опять избили, потом бросили в камеру. А теперь вот — в «гробницу». Над теменем горит электрическая лампа. Свет пронзительно-яркий, сумасшедший свет. То зажжется, то погаснет. То крошечная темень, то режет глаза. Вот уже двадцать дней Керим в «гробнице». Он уже ни о чем не думает. Потерял способность думать. Усталости тоже не чувствует. Нет, это не усталость, а что-то другое. То тьма, то свет. Первое время он крепко зажмурился, чтобы избавиться от этого. Сейчас то закрывает глаза, то отрывает, то закрывает, то открывает.

Вечером двадцать шестого дня Керима привели в кабинет начальника отдела. Там был Исмаил. На столе начальника в стакане стояли три почти совсем увядшие красные розы.

Начальник отдела показал Исмаилу на Керима:

— Знаешь его?

Исмаил посмотрел в то открывающиеся, то закрывающиеся глаза Керима. Не только глаза, но и все его лицо то сжимается, то разжимается. Исмаил опешил. Потом вдруг понял: «гробница!»

— Не знаю.

— А вот он говорит, что знает тебя.

— Ложь.

Начальник отдела спросил Керима:

— Он передал тебе пишущую машинку и восковку?

Керим молчит. Он не здесь, он в другом мире. В мире, который то погружается во тьму, то освещается бешеным светом. Его глаза и лицо то сжимаются, то разжимаются. Под руки его поддерживают двое полицейских.

Исмаил понял, что Керим попал в «гробницу», потому что ни в чем не признался под пыткой.

Начальник отдела заорал на Керима:

— Ну, ты! Отвечай! Ты взял у него, мы знаем, взял! Кому отдал?

Исмаил смотрит в глаза Керима. На душе у него страшная горечь. «Сойдет с ума парень».

— Уложите их.

Исмаил опять было рванулся. Керима толкнули, и он свалился на пол. Сцепили фалакой по одной ноге каждого. Начали бить.

— Уведите.

Обоих бросили на старые места. Через десять дней Керим потерял рассудок. В полночь его отвезли в сумасшедший дом.

ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ ЧЕРТОЧКА В ИЗМИРЕ

Исмаил чиркнул зажигалкой, чтобы прикурить сигарету. Сидевший против него Ахмед отпрянул, будто его кольнули в глаз иголкой. Исмаил отогнал от себя внезапно пришедшую ему в голову догадку. Ни о чем не спросил.

— Это не от зажигалки, — сказал Ахмед, — не от огня. Я испугался, что ты подпалишь мне усы. — И сразу понял вздорность этих слов. Замолк.

Они легли. Ахмед подождал, пока Исмаил начнет похрапывать. Встал. Ощупью отыскал на столе зажигалку. В хижине — крошечная тьма. Поднес зажигалку к глазам. Подождал. Еще немного подождал. Зажег. Ему показалось, что пламя обожгло ему глаза. Он закрыл глаза. Открыл. Смотрит на огонь. Боюсь? Смотрит на огонь. Не боюсь, не боюсь, не боюсь. Погасил зажигалку. Лег в постель. Зажигалка в руке. Подождал. Зажег. Со страхом закрыл глаза. Боюсь. Погасил зажигалку. Вот и началось! Боязнь огня... Но воды не боюсь. Что наступает раньше — светобоязнь или водобоязнь? Надо посмотреть справочник. Он на столе. Но как я буду читать в темноте?

Он встал. Взял книгу, нужные страницы уже открывались сами собой. Чиркнул зажигалкой. Не глядя на пламя, всмотрелся в слабо освещенные строчки. Об этом не говорится. Положил книгу на место. Погасил зажигалку. Лег. Постараюсь уснуть без снотворного. Надо подождать еще два-три дня. Еще два-три дня. Значит, так... Два-три дня... Через два-три дня жил-был товарищ Ахмед. Жалость к себе, которую в последние дни я постоянно испытываю, сдавливает горло.

В эту ночь Ахмед так и не заснул до самого утра.

ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ ЧЕРТОЧКА НА ДАЧЕ У АННУШКИ

Наношу четырнадцатую черточку. Аннушка рядом. Думаю: «Здесь нам осталось шесть дней. Потом Москва, потом, через семь — десять дней... Дай руку, Стамбул».

Я посмотрел на Аннушку.

— Дай руку, Аннушка.

Взял ее полную руку с длинными белыми пальцами. В наших сомкнутых ладонях — разлука, но Аннушка этого не знает.

— Ахмед, мы опоздаем. На обратном пути со станции зайдем к Пете. Заболел парнишка, что ли?

Вот уже два дня как Петя не приносит молоко.

— Можно.

На станции по высокой деревянной платформе разгуливают в пух и прах разряженные нэпманы. Дачи Коммунистического университета трудящихся Востока также расположены в нашем лесу. По платформе прогуливается группа студентов, приехавших из разных восточных стран — Китая, Японии, Ирана. И поповская дочка там. У нее хорошие отношения с иранцем Хюсейном-заде. Они гуляют под ручку. Из наших, турок, нет никого. Много крестьян с мешками и торбами. Несколько беспризорных мальчишек.

Керим с Марусей сошли с поезда. Мы обнялись. Маруся в потертой кожаной куртке, с красной косынкой на голове.

— Маруся, — сказал я, — через десять, через сто лет тебя будут рисовать именно так. И через тысячу лет комсомолка войдет в фильмы, спектакли, романы именно в этом наряде.

Маруся — крупная, красивая, кареглазая шатенка.

— Погода с утра хмурилась, вот я и надела куртку, — сказала она.

— Сними. Сейчас жарко.

Сняв кожаную куртку, она перекинула ее через руку. Короткое ситцевое платье плотно обтягивает ее грудь.

Керим бросил мне по-турецки:

— Послушай, ты! Влюблен по уши, а на чужих женщин заглядываешься.

По пути Маруся рассказывала, как идут дела на их фабрике — она работница. Поговорили о беспризорниках, которых видели на станционном перроне, невероятно оборванных и грязных, — они напомнили мне наших деревенских ребятишек. Маруся пересказала речь Крупской о борьбе с беспризорностью.

— Мы на фабрике тоже этим занимаемся, — сказала она.

Мы пришли в деревню, где живет Петя, но как его найти, не знали. По обе стороны пыльной дороги стоят покосившиеся старые избы. Во дворах, в палисадниках

перед домами — никого. Я осмотрелся по сторонам. Перед одной крепкой избой с резными наличниками и свежепокрытой соломенной крышей увидел бородатого мужика в сапогах.

— Подождите. Я сейчас спрошу,

Подошел к мужику:

— Здравствуйте, товарищ. Я хотел спросить, где живет Петя, сын Дарьи Михайловны... Отец Пети красноармеец. Погиб в гражданскую войну. Петя нам молоко носит.

Не спеша с ответом, мужик долго глядит мне в лицо.

— Татарин?

— Турок. Из Турции. Из Стамбула...

Мужик почесал в бороде. Взгляд его стал колючим.

— Стал быть, турок. Турок... Чего тебе здесь надо?

— Учусь. В университете.

— Стал быть, как косоглазые китайцы с тех дач?

— Да.

— И ты тоже живешь там?

— Нет. У знакомых.

В это время к нам подошла Маруся.

Мужик, все так же неприветливо глядя на меня, спросил:

— Стал быть, Петя каждое утро молоко тебе носит?

Разговор явно начинал принимать странный оборот.

— Да. А что такого?

— Что такого? Как что такого? Мало вы поели русского хлеба, попили русского молока? Что вам здесь нужно? Заговариваете зубы, дескать, мировая революция, а сами сели нам на шею. Русского хлеба, русского молока нам самим не хватает.

Маруся накинулась на него:

— Ах ты свинья! Ах ты кулацкая морда! — Между нею и мужиком пошла словесная перепалка.

— Таких, как ты, паразитов-кулаков, мы с корнем выдернем!

Мужик сыпал руганью. Маруся ему не уступала. Подошли Керим с Аннушкой. Откуда ни возьмись набежали деревенские мужики, бабы, ребятишки, собралась целая толпа. Поднялся галдеж. Кто за Марусю заступается, кто за мужика. Одна из деревенских женщин, очень приятная на вид, оказалась матерью Пети.

— Петя захворал, — сказала она и повернулась к мужику: — Тебе не стыдно, Иван Петрович? Завидно, что мы молоко продаем? У нас одна коровенка, а у тебя три!

Чтоб повылазили твои глаза завидующие! — Оборотившись к нам, она повторила: — Петя мой захворал. А я так заработалась, что не выбралась к вам.

— А мы уж стали беспокоиться за Петю, — сказала Аннушка. — Пока мальчик не поправится, я сама буду ходить к вам за молоком.

Мы так и не навестили Петю. После всего случившегося мы как-то не догадались сделать это. Дарья Михайловна принесла молоко в глиняной крынке. По дороге на дачу Керим спросил по-турецки, как бы между прочим:

— Ты говорил своей что-нибудь?

— Нет, что ты! С какой стати? А ты?

— Тоже нет.

Вечером мы развели костер на лесной поляне.

Трудно себе даже представить что-нибудь более прекрасное, чем костер в русском лесу. Люди рассаживаются в круг, смотрят на пылающие сосновые ветви, мечтают каждый о своем. Как назвать это чувство, каким словом определить то состояние, которое охватывает тебя в ночном лесу у костра? Трудно подобрать более точное слово, чем слово «романтика». Оно по-турецки звучит нескладно, но я его все-таки повторю: романтика.

Рука Аннушки в моей руке. Маруся положила голову на колени Кериму. У нас на лицах пляшут красные отблески костра. Со всех сторон нас обступают объятые ночью березы и сосны.

Маруся с грустью произнесла:

— Керим, дорогой, ну хотя бы этой ночью скажи, что ты меня очень любишь.

Если Керим опять начнет мудрить и скажет «не очень», я, пожалуй, запущу ему чем-нибудь в башку.

— Люблю, — сказал Керим. — Очень, очень люблю тебя, Маруся.

Он приподнял с колен голову девушки, поцеловал ее в губы.

Я не отрываю глаз от Аннушки и думаю: «Самое большее дней через двадцать я уже не буду видеть этот лоб, эти волосы, рот, нос, глаза. Никогда. До конца своей жизни не смогу прикоснуться к этой руке. Мы умрем друг для друга. Никогда еще чувство близости к Аннушке не было таким полным и в то же время мучительным, как в эти минуты. И никогда оно уже не будет таким. У меня перехватило дыхание. Что это за чувство? Неужели тоже романтика? Наверное. Вся моя жизнь, по сути, романти-

ка. И жизнь Керима, и множества других людей, которых я пока не знаю, но с которыми меня еще сведет судьба. И жизнь Субхи, Петросяна, Маруси, Аннушки — тоже романтика. Что ждет нас с Керимом на родине? Романтика революции!.. Наверняка мучительная и кровавая борьба, но преисполненная той же романтики, что у красного партизана, во весь опор скачущего на коне. Куда мчится всадник? Неужто навстречу смерти? Ради чего? Ради того, чтобы жизнь стала лучше, справедливей, полнее».

Керим запел турецкую песню: «Вонзи в мое сердце кинжал, убей меня, любимая моя...» Голос у него грустный-грустный.

Керим поет, и лицо у него меняется, становится суровым и жестким. Желтые глаза его полны красных отблесков костра, как у молодого волка. В них страсть к жизни, к жизни без конца и без края.

ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ ЧЕРТОЧКА В ИЗМИРЕ

Движок тарахтит — тук-тук-тук, тук-тук-тук. Шум движка проникает в хижину, наполняет собою свет керосиновой лампы, мечется в наших с Исмаилом тенях на стене, плещется по столу, по трясущимся моим рукам... Не могу смотреть на ярко-красный, кроваво-красный, дикий фитиль лампы. Исмаил видит это. Он давно уже заметил, что я не могу смотреть на огонь.

И все-таки он мне не верит, снова и снова задает один и тот же вопрос:

— Как себя чувствуешь?

Я не говорю «хорошо». Я вообще ничего не говорю.

— Голова болит?

Я молчу.

— Тебе мешает свет?

Невольно он выдал себя.

Как может он спрашивать об этом? Как может задавать этот вопрос, будто бы невзначай?

Заставляю себя повернуться в сторону лампы, заставляю себя смотреть на горящий фитиль.

Взгляд Исмаила насторожен, напряжен. Так охотник следит за дичью. Я смотрю на горящий фитиль. Резь в глазах нестерпимая, но я смотрю, смотрю и вдруг... слепну. Темнота. Нельзя, чтоб Исмаил заметил это. Если я не

выдержу и закричу... Нельзя! Я встаю... Стараюсь не держаться за стол... Темнота, а глаза пылают. Темнота, а в голове бушует пламя. Я делаю шаг. Земля уходит из-под ног. Исмаил кричит:

— Садись!

Ахмед покоряется, нащупывает табуретку и садится.

— Открой глаза, братишка.

Вот оно что! Оказывается, он сам не заметил, как зажмурился. Глаза не выдержали и спрятались за крепко сомкнутыми веками. Ахмед открыл их. Лампа стоит сзади Ахмеда. Значит, Исмаил переставил ее. Я никогда не видел Исмаила таким напуганным и растерянным. Он даже не пытается скрыть свой страх.

Ахмед хочет крикнуть: «Не бойся!» Но молчит. Рука Исмаила в кармане пиджака. Значит, он переложил пистолет из кармана брюк в пиджак. Наверное, чтобы удобней было его вынуть. Сегодня ночью надо проглотить снотворные таблетки, все таблетки, разом. Да, так.

— Как себя чувствуешь?

— Хорошо, Исмаил. Голова немного закружилась... Уже прошло... Все хорошо... Давай спать.

Какой странный взгляд у Исмаила!

— Тебе разве не хочется спать? — спрашиваю я.

— Нет.

— Что будешь делать?

— Почитаю газеты.

Стоя спиной к лампе, Ахмед разделся. Лег в постель. Закрыв глаза. Открыл. Исмаил сидит за столом, делает вид, будто читает, а на самом деле следит за мной. Я отвернулся к стене. Некоторое время лежу так. Потом снова поворачиваюсь на правый бок. Исмаил пересел на другую табуретку. Теперь он, не скрываясь, наблюдает за мной. Я тоже смотрю на него, и свет лампы уже не обжигает моих глаз. В эту минуту я ненавижу Исмаила. Ненавижу, как самого заклятого врага. Он смотрит на меня, а я на него. Нащупываю под подушкой коробочку со снотворными пилюлями. Он что, собирается всю ночь просидеть за столом? Не могу же я у него на глазах глотать полную горсть снотворных пилюль. Черт побери! Сегодня же ночью — конец. Все! Я смотрю на лампу, глаза больше не болят. Но все равно — конец. Исмаил сидит за столом, и я хочу, чтобы он не вставал со своего места. Хочу, чтобы он до утра смотрел на меня.

Из камеры Исмаила перевели в коридор. Теперь он спит возле уборной, на койке без матраца и одеяла. Сколько месяцев он уже тут? В коридоре он тоже делает отметки на стене. Коридор опустел: тех, кого держали на скамейках, либо отпустили, либо перевели вниз, в камеры предварительного заключения. Исмаила больше не берут на допросы. О нем словно забыли. Он ничего не знает о судьбе других заключенных, не знает, арестован ли еще кто-нибудь. Вот уже три дня, как его держат в коридоре. Если бы арестовали кого-то еще, он бы увидел, как их проводят мимо.

Дантиста Акопа тоже поместили в камеру предварительного заключения.

Вот уже два дня Исмаил просит у Нериман, чтобы она приносила не жидкую пищу, а мясо, сыр или пирожки. За дверью рядом с его койкой кого-то — он не знает кого — пытаются голодом. По ночам, стараясь, чтобы не заметили полицейские, Исмаил подсовывает под дверь куски вареного мяса и сыра. Так проходит неделя. Однажды ночью его разбудили начальник отдела, очкастый комиссар и полицейский в штатском.

— Пошли.

Ведут по коридору налево. Очкастый комиссар открыл одну из дверей. Исмаил увидел Зию. В пустой комнате, перед окном без стекол, — а на улице хлещет весенний дождь, — голый Зия. На нем только трусы. Руки скручены за спиной. Ноги тоже связаны. Под мышками у него пропущена веревка. Концы ее привязаны к самой верхней перекладине решетки, под самым потолком. Живот ввалился, мышцы натянуты как струна. На запястьях следы запекшейся крови. Зия кое-как держится на носках босых ног. Стоит ему чуть провиснуть — веревки впиваются под мышки. Голова стиснута поднятыми вверх плечами. Глаза широко раскрыты. Дождевые струи стекают у него по спине.

Начальник отдела повернулся к Исмаилу:

— Узнаешь?

— Нет.

— Разве не он дал тебе восковку и пишущую машинку?

— Мне никто ничего не давал.

Начальник отдела шагнул к Зие, ткнул пальцем в сторону Исмаила:

— Узнаешь?

— Я его не знаю.

Голос у Зии, как всегда, мягкий, низкий.

— Ты не давал ему восковку и...

Зия прервал начальника отдела:

— Я ничего никому не давал.

Начальник отдела ругаться не стал, лишь покачал головой. Они вышли.

Исмаил вернулся к своей койке. «Распяли Зию, мерзавцы!» Впервые с тех пор, как он попал сюда, ему хочется плакать. «Распяли Зию, как султан Мурад распял и потом возил на верблюде Берклюдже Мустафу». Когда-то он слышал эту историю от Зии. «Сволочи!» Мысли приняли другой оборот: «Почему они не сделали со мной того же, что с Керимом и Зией? Сказал же начальник: мы знаем, что и восковку и машинку ты взял у Зии и передал Кериму. От кого они это узнали? Ясно одно: они не нашли у Керима ни восковки, ни пишущей машинки. А теперь хотят узнать, кому Керим отдал их. Потому они и истязают парня. (Исмаил не знает, что Керим сошел с ума.) Зию распяли, потому что он из нашего руководства и должен знать, кому передал восковку и машинку. Несколько пачек восковки и старенькую пишущую машинку. Буква «о» плохо пробивается...

КРЕСТ-НАКРЕСТ

Ахмед держит в руке стакан с водой. Прежде чем пригубить, долго смотрит на воду, потом делает маленький глоток, второй, третий... Открывает кран умывальника — Зия сделал. Бежит струя воды. Он спокойно смотрит на нее. А ведь вчера, умываясь, он вдруг почувствовал какое-то странное напряжение. Вчера весь день он не пил воду. Сегодня спокойно помылся. И воды выпил. И может глядеть на воду. Еще раз поставил градусник — тридцать шесть и восемь. Ни головной боли, ни ломоты. Еще раз пересчитал черточки на двери: тридцать. Взял кусок мела. Сверху донизу перечеркнул все тридцать черточек. Полюбовался. Еще раз, крест-накрест, перечеркнул черточки во всю дверь из угла в угол. Улыбнулся. Вслушиваясь в шум движка, принялся ждать Исмаила.

На Стамбул льют теплые весенние дожди. Нериман стоит под зонтиком на трамвайной остановке Эминеню. Живот выпирает из-под платья. Проходят трамваи, в том числе и те, что нужны Нериман,— до Аксарая, но она в них не садится. По губам у нее бродит счастливая улыбка, время от времени она что-то шепчет. Один за другим проходят трамваи. «Завтра я увижу Исмаила. Сказали: завтра увидишь. Завтра. И Эмине приведу». Весенние дожди льют на купол мечети Ениджамии, на колпаки минаретов, на Золотой Рог, на баржи, на мост. «Когда-то Ахмед и Керим в такой же дождливый день продавали «Орак Чекич». Но в тот день дождь только накрапывал. Ахмед долго стыдился, не мог продавать». Сердце Нериман сжалось. «Сестре Керима сказали, что Керима отправили в сумасшедший дом. Бедняжка так и рухнула перед дверью с двумя полумесяцами. В руках у нее опять были четыре красные розы».

Теплые весенние дожди льют на Балык-пазары, на площадь Эминеню, на часы, на трамвайную остановку, на людей, на зонтик Нериман. Проходят трамваи до Аксарая. Вдруг тело Нериман содрогается от боли. Она закусил губы, чтобы не закричать. В живот ей словно вонзаются ножи. «Завтра я увижу Исмаила». Одна схватка следует за другой. Остановила такси. Ей повезло: в такую погоду поймать такси нелегко.

Через три часа в спальне аксарайского дома с помощью соседки-акушерки Нериман родила Исмаилу дочь. Соседи позвонили из бакалейной лавки в Кадыкёй, вызвали Османа-бея. Осман ходит взад и вперед перед дверью спальни, держа за руку Эмине. Чтобы брат не слышал ее криков, чтобы никто не слышал, Нериман искусала в кровь губы, изорвала простыни. Так у Исмаила родилась дочь. На Стамбул льют весенние дожди. Льют весенние дожди на дом Нериман, деревянный, некрашеный, с решетками на окнах и верандой, нависающей над нижним этажом.

В ПОЕЗДЕ

Едва Исмаил перешагнул порог, как Ахмед показал ему на дверь:

— Смотри!

Исмаил посмотрел на перечеркнутые отметины. Понял. Они обнялись.

— Все. Больше не будет ни одной черты, ни сороковой, ни сорок первой...

— Правильно. К тому же... — Он не кончил. — Сбегаю-ка я, братишка, за бутылкой водки.

— И сардин прихвати. И маринованных огурцов. И квашеной капусты.

— Хорошо.

Через час Исмаил вернулся. Накрыли стол.

— Жизнь — прекрасная штука, черт побери!

— Еще бы, братишка!

— Завтра я поеду в Балыкесир к Зие.

— Как знаешь. Однако...

— Ехать в Стамбул еще нельзя. Сначала я поговорю с Зией. Надо придумать, как использовать эту яму. Здесь, на собрании, этот вопрос ставить не нужно. Из руководителей на свободе только Зия.

Ахмед сбрил усы. Под верхнюю губу засунул клочки ваты. Форма рта сразу изменилась. Левую бровь прижег йодом. Получилось вроде раны.

— Изменился я?

— Более или менее.

— Дай твой паспорт.

На фотографии в паспорте Исмаила можно принять за кого угодно, только не за него самого.

Ахмед примерил берет Исмаила, похожий на те, что носят американские матросы, выпустил из-под него волосы.

— Ну, теперь тебя узнать невозможно, братишка.

На следующее утро оба проснулись очень рано. Исмаил в тот день не пошел на работу.

— Дверь нельзя оставлять открытой, а ключ отдать некому.

Садясь в поезд в вагон третьего класса, Ахмед обратил внимание на какого-то подозрительного субъекта. Стоит на перроне. Похоже, наблюдает. То ли пассажир, то ли провожающий. Стоит и глазами сверлит каждого, кто садится в поезд. Его лицо показалось Ахмеду знакомым. Где я видел его? Кажется, перед дверью редакции «Айдынлык», он тогда тоже следил, кто входит и выходит. Да нет. Наверное обознался. Мне уже всюду мерещатся шники.

Поезд тронулся, Ахмед стоит у окна, прижавшись лбом к стеклу.

...Аннушка прижалась лбом к вагонному стеклу. Возвращаемся в Москву. Ее рука в моей. Мимо мелькают леса. Мы молчим. Она так крепко стискивает мою руку, будто боится, что я брошу ее в этом вагоне и сбегу. Я бормочу: «Внемли, это флейты тоскующий глас, о скорби разлуки ведет он рассказ».

— Опять читаешь стихи вашего поэта-мистика?

— Как ты поняла?

— По мелодии. Прочти еще раз. Сначала по-турецки, потом по-русски. Только на ухо.

Я читаю.

— Какие грустные слова! Этот инструмент, который называют неем, пельзя найти на Кавказе или в Средней Азии?

— Наверное, можно. Зачем он тебе?

— Постарайся найти. Играть, конечно, не сумею. Повешу на стене у себя в комнате.

* * *

Субъект, которого я видел на перроне, вошел вслед за мной в купе. Уселся напротив. И все-таки как две капли воды похож на того, который стоял перед дверью «Айдынлык». Отводит глаза, делает вид, будто до меня ему нет никакого дела. Неужели следит? Но не будет же он меня сразу арестовывать. Им нужно узнать, с кем я встречаюсь. Ехать к Зие или нет? Лучше не ехать, зачем подводить парня?

Этот тип вышел из купе. Приближаемся к станции. Поезд замедляет ход. Значит, я ошибся. Ему просто надо здесь выходить. Выглядываю из окна: вышел или нет? Не разглядел. Если он вышел из другого конца вагона, все равно я не увидел бы. Поезд тронулся.

...Аннушка все так же крепко стискивает мою руку. Мелькают березы. Русские очень любят березы. А какие деревья любим мы? Тополя и чинары. А какое дерево люблю я? Иву. У нее, бедняги, такой плаксивый вид. Я... Аннушка, Аннушка!

— Что, Ахмедушка?

Оказывается, я произнес ее имя вслух.

— Никакую женщину я никогда не любил так, как тебя. И не буду любить.

— Через год-два ты вернешься к себе на родину, Ах-

медушка. Какое-то время будешь помнить обо мне. А потом... Но дело не в этом. У нас есть еще год-два. Давай лучше думать о них...

Мне не по себе. Если бы даже я имел право сказать ей, что уеду через неделю, самое большее через десять дней, я бы все равно не смог это сделать. Скажу в последнюю ночь. На другой же день после моего исчезновения Аннушка все равно догадается. Что, если я скажу одной ночью раньше? Но как? Как у меня язык повернется? На глаза мне попадает газетный сверток, который Аннушка держит в руках. Я читаю заголовки: «Террор в Румынии», «Пятилетие Коминтерна»...

Следят. Как бы незаметно сойти на одной из следующих станций? К Зне ехать нельзя. Билет у меня до Балыкесира.

* * *

...Мы приближаемся к Москве.

— Маруся с Керимом собирались встретить нас на вокзале, правда? — спрашивает Аннушка.

— Обещали.

— Керим очень хороший. Чем больше в вашей партии таких, как он, тем лучше вы будете работать.

На глаза мне опять попадает старая газета. Я опять читаю заголовки: «Террор в Румынии», «Пятилетие Коминтерна»...

Проезжаем пригороды Москвы. Рука Аннушки в моей руке.

Сидит напротив меня, гад. Притворяется, что дремлет. Или на самом деле уснул?

МОИ ГОСТИ

У меня гости: Аннушка, Исмаил, Ахмед, Нериман, Маруся, Зия, Си Яу.

Керима нет. Керим умер. Не в сумасшедшем доме. Его подлечили, он вышел оттуда. Умер от чахотки в мае тысяча девятьсот пятидесятого года.

Мои гости ничуть не постарели, не изменились. Они точно такие, какими я видел их в последний раз. Си Яу

по-прежнему любит Аннушку. Ахмед по-прежнему ревнует ее к Си Яу.

Зия попросил меня прочесть стихи.

Я прочел:

Я — коммунист.

Каждый вершок во мне — страсть,

Страсть: увидеть, обдумать, понять,

Страсть: свет, бегущий через миры,

Страсть: перебросить качели со звезды на звезду,

Страсть: обливаясь потом, выплавить сталь.

Я — коммунист.

Каждый вершок во мне — страсть¹.

Я перевел для Аннушки и Маруси стихи на русский язык.

Исмаил прикурил от моей сигареты.

— Хорошо ты написал,— сказал он.— Хорошо...— Потом встал, раздвинул занавески на окне, в комнату ворвались солнечные лучи.

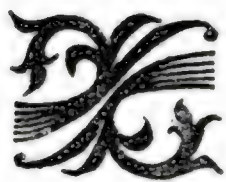
— Жизнь — прекрасная штука, братишка,— сказал он.

В ладони Аннушки с полными длинными пальцами рука Ахмеда.

Нериман низким голосом повторила слова мужа:

— Жизнь — прекрасная штука...

Мои гости не постарели, не изменились. Они точно такие, какими я видел их в последний раз. А мне за шестьдесят. Прожить бы еще пять лет...



¹ Перевод Б. Слуцкого.

Пьесы







ЛЕГЕНДА О ЛЮБВИ

Пьеса в трех действиях, пяти картинах

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Ферхад.
Бехзад, его отец.
Визирь.
Незнакомец.
Звездочет.
Главный лекарь.
Эшреф.
Старший мастер.
Дервиш.
Глашатай.
Телохранители,
стражники.
Человек из Багдада.
Человек маленького
роста.
Человек высокого ро-
ста.
Рабочий, смешиваю-
щий краски.
Рабочие.
Подмастерья.

1-й горожанин.
2-й горожанин.
3-й горожанин.
Мехменэ Бану.
Ширин, ее сестра.
Кормилица.
Сервиназ.
Женщина с ребенком.
1-я девушка.
2-я девушка.
Маленький тополь.
Железная гора.
Палица.
Черная скала.
Вода.
Солнце.
Смеющийся гранат.
Плачущая айва.
Соловей.
Олени и косули.
Утренняя звезда.
Народ.



ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

ПРОЛОГ

За занавесом слышен голос глашатая.

Г л а ш а т а й. Слушайте, слушайте, слушайте, жители нашего города, слушайте, слушайте, слушайте повеление государыни! Слушайте, жители города, все от малого и до старого, от семи лет и до семидесяти, слушайте, слушайте, слушайте и не говорите, что вы не слышали... *(Доходит до середины сцены перед закрытым занавесом, останавливается, целует свиток, прикладывает его ко лбу, потом разворачивает и начинает читать.)* «Жители города Арзена, от мала до велика, от семи лет и до семидесяти, ко всем вам слово наше! Мы, дочь шаха Селима, государыня ваша Мехменэ Бану, мы, которые справедливость меряем на ювелирных, а не на дровяных весах, мы, которые в дни осады нашего города, по примеру воительницы Арабузенги, на поле битвы бросали наземь самых славных богатырей, мы, которые ивовою ветви нежней, мы, чьи волосы золотистые ниже колен, объявляем, чтоб слышал весь Арзен: наша единственная сестра больна уже сорок дней. Тому, кто средство найдет, поможет нашей беде, болезнь ее исцелит, пожелает — отдадим сорок стран, пожелает — сокровищ наших караван, сорок верблюдов караван. Жители города Арзена, от мала до велика, от семи лет и до семидесяти, слушайте слово наше...» *(Целует свиток, сворачивает, прикладывает его ко лбу и идет дальше.)* Слушайте, слушайте, слушайте, жители нашего города, слушайте, слушайте, слушайте повеление государыни! *(Уходит.)*

КАРТИНА ПЕРВАЯ

Комната во дворце Мехменэ Бану. Ночь. Горят светильники. Мехменэ Бану, визирь, главный лекарь, звездочет, кормилица, Сервиназ. На тахте лежит Ширин. Визирь

и главный лекарь стоят у дверей. Звездочет у окна смотрит в подзорную трубу на небо. Мехменэ Бану сидит у изголовья Ширин; она беззвучно плачет, стиснув голову руками. У ее ног, раскачиваясь из стороны в сторону, стоит на коленях кормилица, Сервиназ стоит по другую сторону тахты. Большим онахалом она обмахивает Ширин. Из окна слышен голос глашатая.

Г о л о с г л а ш а т а я. Слушайте, слушайте, слушайте, жители нашего города, слушайте, слушайте, слушайте повеление государыни...

Голос глашатая, удаляясь, становится все тише.

М е х м е н э Б а н у (*поднимает голову, смотрит по сторонам, словно ищет помощи*). Ах, мой визирь...

В и з и р ь. Да, госпожа моя...

М е х м е н э Б а н у. Послушай, главный лекарь...

Г л а в н ы й л е к а р ь. Прикажите...

М е х м е н э Б а н у. Ты, звездочет...

З в е з д о ч е т. Я жду распоряженья...

М е х м е н э Б а н у. Кормилица!

К о р м и л и ц а. Пусть твоя кормилица умрет ради тебя! Здесь я, жемчужина моего сердца, здесь я, у ног твоих.

Мехменэ Бану снова принимает прежнее положение, плачет. Из окна слышится голос глашатая.

Г о л о с г л а ш а т а я. Жители города Арзена! Наша единственная сестра больна уже сорок дней...

Голос глашатая затихает.

З в е з д о ч е т (*про себя*). Не знает она, что звездам нет никакого дела, умрет ее сестра или нет!

В и з и р ь (*про себя*). Как она красива, эта женщина! Боже мой, как она красива... даже тогда, когда плачет.

С е р в и н а з (*про себя*). У меня уже руки отваливаются от усталости...

Г л а в н ы й л е к а р ь (*про себя*). Ах, государыня моя, сейчас ты скорбишь и плачешь так беспомощно, вот точно моя жена, а стоит твоей сестре умереть, сорвешь гнев на мне.

М е х м е н э Б а н у (*снова поднимает голову, смотрит на окружающих*). Ах, мой визирь! Мой звездочет! Мой лекарь! Скажите, никакой надежды нет? Сестра моя, единственная моя... она умирает?

Кормилица. Не убивайся, дитя мое... Ноги твои целовать буду!

Мехменэ Бану (*принимает прежнее положение. Про себя*). Молчат... И лучше, что молчат... Если б сказали, что нет надежды, я умерла бы раньше, чем Ширин! Сурьма совсем размазалась, ест глаза. От слез могут выпасть ресницы... Будь они прокляты — и сурьма и ресницы!

Звездочет (*про себя*). Сочинить бы рубаи к этому случаю... Если начать, скажем, так: «Звезды...»

Кормилица (*про себя*). Смотри-ка, я и не заметила, борода-то у визиря как поседела!

Звездочет (*про себя*). Не получается... Нельзя начинать со звезд. Не выходит. Стало быть... Быть? Ага, есть! «Ты был рабом иль шахом». Теперь рифму на «шахом»...

Сервиназ (*про себя*). Как меня раздражает, что мамка все время раскачивается! Дать бы ей опахалом по голове!

Визирь (*про себя*). Не могу наглядеться на ее лицо. Как раздуваются ее ноздри, когда она плачет!

Мехменэ Бану (*смотрит в лицо Ширин. Про себя*). Хоть бы шевельнулась! Обняла бы меня за шею и сказала: «Сестра!»

Главный лекарь (*про себя*). Все-таки ты, государыня, вся в отца... А отец твой, шах Селим, за пять минут до своей смерти приказал отсечь голову моему учителю.

Звездочет (*про себя*). Вторая строка готова. Начнем третью. «Звезды» пойдут в эту строку. Как сказать? «Звезды»?.. Нет... «О звездах»?.. Нет... «Звездам»!..

Главный лекарь (*про себя*). Надо спасти свою шкуру от твоих лап. Из дворца удрать нетрудно... Завтра в Индию уходит караван Али-заде... За тысячу золотых Али-заде тайно увезет меня из города!

Визирь (*про себя*). Какое счастье, что я уже старик, я не увижу, как состарится это прекрасное лицо!

Звездочет (*про себя*). «...иль прахом стал давно». Неплохо получилось! Повторим, чтобы не забыть:

Ты был рабом иль шахом — все равно,
смеялся или плакал — все равно,
и звездам нету никакого дела,
живешь ли ты, иль прахом стал давно.

Главный лекарь (*про себя*). Тысяча золотых... Пожалуй, много для Али-заде... Этот скряга согласится и

на меньшее. А вдруг она поправится? А если нет? Ей-богу, Мехменэ Бану прикажет отрубить мне голову!

Сервиназ (*про себя*). Есть хочу. И пить хочу. В горле пересохло.

Главный лекарь (*про себя*). Дам Али-заде семьсот золотых. Семьсот тоже много... Пятьсот... А если больная поправится?

Мехменэ Бану (*кормилице*). Дай мне воды.

Кормилица. Сейчас принесу шербет. Ты любишь малиновый шербет.

Мехменэ Бану. Нет, воду принеси.

Сервиназ (*про себя*). Будет лакать при мне воду!

Кормилица уходит.

Мехменэ Бану (*по-прежнему глядя в лицо Ширин. Про себя*). Ах, если бы жива была наша мать!.. А если бы я заболела, горевала бы так Ширин? Думала бы о том, что сядет на трон?! Невольно думала бы... Может быть, даже радовалась... Разве я радовалась, что сяду на трон, когда умирал мой отец?.. Ну почему я думаю об этом!

Визирь (*про себя*). Она забылась... Кто знает, о чем она думает? Если бы до конца света она сидела так, я все смотрел бы на нее!

Мехменэ Бану (*про себя*). Хоть бы шевельнулась! Сестричка моя! Хоть бы пальчиком шевельнула! Какие у нее длинные ресницы! Длиннее моих?

Звездочет (*про себя*). Какое молчание! Далеко, далеко, там, где звезды, небо так же безмолвно и тихо...

Мехменэ Бану (*радостно вскрикнув, вскакивает с места*). Шевельнулась! Вы видели? Сестра моя (*показывает*) вот так пошевелила рукой. Вы видели? Отвечайте же! Я вам говорю! Вы видели? Или вы ослепли? (*Сервиназ.*) Ты тоже не видела? Видели ли твои глаза, чтоб им выскочить? (*Неожиданно смягчаясь.*) Ты ведь видела, Сервиназ, видела?

Сервиназ. Видела, моя государыня. Вот этой рукой, вот так...

Мехменэ Бану (*главному лекарю*). Что ты стоишь там? Ведь ты же лекарь! Подойди, осмотри больную! Говорю тебе, она пошевелила рукой. Ты что, не веришь мне?

Главный лекарь (*подходит к больной, берет ее руку*). Верю, госпожа моя. Разве я смею не верить?

Мехменэ Бану. Вот этой, вот этой рукой она шевельнула. Значит, и ты видел?

Главный лекарь. Видел, госпожа.

Мехменэ Бану (*звездочету*). Взгляни на звезды, звездочет. Найди звезду моей Ширин. Есть какие-нибудь перемены? Ну?

Звездочет (*смотрит в трубу*). Есть... Да-а... Звезда Ширин-султан, покинув созвездие Лирь...

Мехменэ Бану (*прерывая звездочета, кричит*). Вы лжете! Все вы лжете! Ложь! Ложь! (*Неожиданно умолкает.*)

Главный лекарь (*про себя*). Надо бежать.

Мехменэ Бану (*про себя*). Я так визжала. Как отвратительно звучит мой голос!

Визирь (*про себя*). Как она прекрасна в гневе!

Мехменэ Бану (*говорит медленно, тихо, но угрожающе*). Ни от кого из вас нет проку. Вот вы все здесь — визирь, главный лекарь, звездочет. Моя Ширин умирает в пятнадцать лет! Будь проклят этот город! С утра кричит глашатай, и никто не пришел на помощь! Я знаю, что мне делать. Видите, я больше не плачу и не кричу. Вместе с телом моей сестры из ворот дворца вынесут и ваши отрубленные головы. Я прикажу отрубить вам головы. Тебе, главный лекарь, тебе, звездочет, и (*визирю*) тебе тоже... И всем в городе от семи до семидесяти лет! Всем! Всем!

Входит кормилица с кувшином в руках, наливает воду в чашу, протягивает Мехменэ Бану. Мехменэ Бану пьет.

Кормилица. От главных ворот прислали сказать... Какой-то человек желает предстать пред тобой. Он говорит, что может исцелить больную.

Мехменэ Бану. Немедленно ведите его сюда! Может быть, он поможет...

Визирь и кормилица выходят. Главный лекарь тоже хочет уйти.

(*Главному лекарю.*) Ты останься. Ты — человек, потерявший надежду. Стоит тебе сказать ему слово — и он отчаётся...

Звездочет (*про себя*). Если этот человек тоже не сможет вылечить больную...

Главный лекарь (*про себя*). Если он ее вылечит, не быть мне главным лекарем. Ах, если бы сейчас началось землетрясение или пожар!

Мехменэ Бану (*про себя*). Интересно, молодой он или старый?

Главный лекарь (*про себя*). Если я сшибу этот светильник...

Мехменэ Бану (*про себя*). Он спасет мою Ширин... Я чувствую...

Главный лекарь (*про себя*). С ума можно сойти...

Звездочет (*про себя*). Если он не вылечит ее — и нам конец!

Сервиназ (*про себя*). До чего спать хочется! Сейчас упаду.

Мехменэ Бану (*про себя*). Он спасет мою Ширин!

Главный лекарь (*про себя*). Надо бежать. Но как? Немедленно бежать.

Звездочет (*про себя*). «И звездам нету никакого дела». Звездам, может быть, и нет дела, но мне...

Мехменэ Бану (*про себя*). Молодой или старый?

Звездочет (*про себя*). Не хочу умирать, не хочу. (*Незаметно для себя произносит вслух.*) Не хочу умирать...

Мехменэ Бану (*звездочету*). Что ты сказал?

Звездочет. Я? Я ничего не говорил, госпожа моя.

Мехменэ Бану (*Сервиназ*). Подай зеркало.

Сервиназ кладет опахало, берет зеркало в серебряной оправе, держит его перед Мехменэ Бану. Мехменэ Бану поправляет платок, проводит пальцами по бровям.

Мехменэ Бану (*про себя*). А правду говорят, я очень красива.

Главный лекарь (*про себя*). Надо бежать.

Звездочет (*про себя*). Пусть главному лекарю отрубят голову. И поделом!

Мехменэ Бану (*про себя*). Я думала, выпали ресницы. Ничего подобного. Только глаза чуть-чуть покраснели.

Звездочет (*про себя*). А я в чем виноват? Палач поставит на колени... Потом взмахнет топором... Потом ударит пониже затылка, моего затылка!.. Потом... Мне страшно!

Мехменэ Бану (*Сервиназ*). Убери.

Сервиназ кладет зеркало и снова начинает махать опахалом.

Звездочет. Если вы разрешите, государыня, я поднимусь на башню и оттуда буду наблюдать за звездами.

Мехменэ Бану. Нет. Остаñся. Может быть, он пожелает о чем-нибудь тебя спросить.

Звездочет (*про себя*). Вместе с лекарем взять за горло этих двух баб... Я знаю потайную лестницу. Убежим... Конечно, убежим! Тут не до шуток!

Делает шаг по направлению к Мехменэ Бану, которая стоит к нему спиной.

Главный лекарь тоже двинулся с места. Сервиназ сонно машет опахалом. В этот момент входят визирь, кормилица и незнакомец. Незнакомец с подчеркнутым уважением приветствует Мехменэ Бану.

Незнакомец. Господь с тобою, государыня. (*Бросает взгляд на главного лекаря и звездочета.*) Да будет прошлым горе твое!

Мехменэ Бану (*про себя*). Что за урод!

Незнакомец. У вас есть больная? (*Показывает на Ширин.*) Она?

Мехменэ Бану. Ты из Арзена?

Незнакомец. Нет.

Мехменэ Бану. Ты лекарь?

Незнакомец. Нет.

Мехменэ Бану. Звездочет?

Незнакомец. Нет.

Мехменэ Бану. Ты индус?

Незнакомец. Нет... Индусы красивы. А ты, как только я вошел, подумала: «Что за урод!»

Мехменэ Бану (*испуганно*). Откуда ты узнал?

Незнакомец. Давайте посмотрим больную. (*Подходит к Ширин, наклоняется над ней, слушает пульс, поднимает ей веки, выпрямляется.*) Слух о красоте твоей сестры обошел все страны. Однако я не предполагал, что она так красива. Сказать тебе, о чем ты думаешь сейчас?

Мехменэ Бану. Нет, нет. Не надо...

Незнакомец. Больная в опасности. Неизвестно, доживет ли до утра. Впрочем, если говорить правду, ей осталось не больше часа.

Мехменэ Бану. Не это ли ты пришел сказать мне?

Незнакомец. Нет, я пришел сказать тебе, что вылечу твою сестру.

Мехменэ Бану. Слава богу!

Незнакомец. Но у меня есть три условия.

Мехменэ Бану. Проси что хочешь!

Незнакомец. Мне нечего просить у тебя. Я не хочу ни сорока твоих стран, и у меня нет сорока верблюдов, чтоб увезти твои сокровища. Знай это, дочь шаха Селима, Мехменэ Бану.

Мехменэ Бану. Я принимаю твои условия!

Незнакомец. Если так (*указывает на Сервиназ*), отошли эту девушку, она устала и голодна. Твой звездочет хочет уйти. Отпусти его тоже.

Мехменэ Бану. Ступайте. *(Сервиназ.)* Пришли сюда Гюльтер.

Незнакомец. Никто не должен сюда входить.

Мехменэ Бану. Хорошо...

Незнакомец. Еще ты должна приказать — пусть построят дворец для твоей сестры...

Мехменэ Бану. Для моей Ширин? Не один — а тысячи дворцов я велю построить!

Незнакомец. Что касается третьего условия... *(Оборачивается к главному лекарю.)* Ты ошибаешься, главный лекарь. Я не собираюсь занять твое место. Нет, я вовсе не дьявол. Я просто научился понимать, о чем думают люди. Если немного потрудиться, это сможет всякий. *(Обернувшись к Мехменэ Бану.)* Мое третье условие... От него зависит выздоровление и жизнь твоей сестры. *(Молчание.)* Я пришел издалека, мне хочется пить. Дайте мне воды.

Мехменэ Бану *(кормилице)*. Подай.

Кормилица *(подавая воду)*. На здоровье!

Незнакомец *(пьет)*. Вода ваша как сахар.

Кормилица. Мы привозим ее из родника Железной горы для дворца.

Незнакомец. Знаю. В Арзене нет питьевсй воды. В фонтанах не вода, а гной.

Мехменэ Бану. Ты не сказал своего третьего условия.

Незнакомец. Ты очень любишь Ширин, Мехменэ Бану. Ни одна сестра не любила так свою сестру и не будет любить. Чтобы спасти сестру свою, ты готова корону и трон свой... *(Неожиданно поворачивается к визирю.)* Ты ошибаешься, визирь, не спеши, дослушай до конца. *(Мехменэ Бану.)* Для того чтобы спасти сестру свою, ты готова отдать корону и трон. Знаю. Но в этом нет нужды. *(Молчание.)* Пить хочу... *(Сам берет воду, пьет.)* И правда, вода ваша как ледяной шербет.

Кормилица. На здоровье!

Незнакомец. Но жители Арзена гибнут без воды. В фонтанах не вода, а грязь. *(Неожиданно обернувшись к главному лекарю.)* Опять не угадал ты, главный лекарь, опять ошибся. Провести воду в город — не это мое третье условие. Я знаю, сколько трудились, чтобы провести в город воду с Железной горы.

Визирь. Невозможно пробить скалы.

Незнакомец. Знаю. *(Обернувшись к главному лекарю.)* А, главный лекарь, ты думаешь, что нашел вы-

ход,— ты решил ни о чем не думать! Но ведь это тоже мысль!

Мехменэ Бану. Твое третье условие?

Незнакомец. Ты сердишься на меня, что я так тяну... И если б ты не была уверена, что я спасу твою сестру, ты давно бы приказала отрубить мне голову.

Мехменэ Бану. Твое третье условие?

Незнакомец. Ты должна кое-чем пожертвовать, чтобы спасти сестру. Но сможешь ли ты пожертвовать этим, я не знаю.

Мехменэ Бану. Чего ты требуешь, скажи!

Незнакомец (*главному лекарю*). Смотри-ка, ты снова начал думать, главный лекарь, и как скверно! Но я сам знаю, что я слишком стар, уродлив и беден, чтобы требовать это от женщины.

Мехменэ Бану. Чего же ты требуешь?

Незнакомец. Ты должна пожертвовать, но не для меня, а для твоей сестры, ради нее.

Мехменэ Бану. Ты знаешь, о чем я подумала?

Незнакомец. Да. Ты думаешь: «Чтобы жила моя сестра, я, может быть, должна умереть... Умру»,— думаешь ты. «Особенно если это будет не больно и быстро»,— думаешь ты. И вот тебе в сердце запала печаль, еще не ставшая мыслью. (*Неожиданно обернувшись к визирю.*) Нет, визирь, твоей государыне не нужно будет отдавать жизнь... Однако ей нужно будет отдать нечто такое, что ты предпочел бы, чтобы она отдала жизнь.

Визирь. Молчи... Я понял, понял! Будь ты проклят! (*Мехменэ Бану.*) Прогоните этого колдуна!

Незнакомец (*Мехменэ Бану*). Мне уйти?

Мехменэ Бану (*очнувшись*). Что? Куда? Ты же собирался спасти мою сестру!

Визирь. Не давайте того, что он требует, госпожа... Прикажите отрубить ему голову!

Незнакомец (*Мехменэ Бану*). Как красиво лицо твое, дочь шаха Селима! Кожа твоя нежней лепестков розы, что распускается единожды в семь лет... Чело твое заре подобно. Брови твои — тростник, глаза твои — серны, в их глубине золотистые искорки. Нос твой из мрамора выточен, губы твои — такая клубника только в Стамбуле растет, вишня такая только в долине Болу. Как ты красива, дочь шаха Селима, ты даже красивей сестры твоей!

Визирь. Заставьте этого дьявола замолчать!

Незнакомец. Дочь шаха Селима, дочь шаха Селима! Эта кожа станет сухим чинаровым листом, желтым,

грубым, шершавым листом... Вылезут брови... Глаза твои станут такими же, как глаза мертвой овцы. Нос удлинится... Губы твои, как лохмотья нищей, будут висеть, нищей из города твоего... Но все-таки, Мехменэ Бану, ты будешь не столь безобразна, как я!

Мехменэ Бану. Что говоришь ты? Зачем ты это говоришь?

Визирь. Проклятый! Заткните ему глотку!

Незнакомец. Я говорю свое третье условие, Мехменэ Бану. Третье условие, чтобы не умерла сестра твоя. Ты отдашь свою красоту — и сестра твоя будет жить.

Визирь. Ты не можешь сделать этого, госпожа моя! Ты не вправе принять такое условие! За одну твою ресницу сто тысяч...

Мехменэ Бану. Молчи!

Незнакомец. Я знаю, о чем ты думаешь, Мехменэ Бану. Как быстро ты думаешь, как мечутся твои мысли! Но теперь ты уже ни о чем не думаешь! Ты не думаешь даже о том, чтобы не думать. Теперь ты спокойна.

Мехменэ Бану. Я ни о чем не думаю... Хорошо. Я принимаю твоё третье условие.

Незнакомец. И я не лгу. Лицо твое умрет, состарится, но сердце твое, но тело твое останутся такими же свежими, такими же жадными!.. Не думай: «Слава богу!» Нет! Было бы лучше, если б и они постарели, если б умерли и они.

Визирь. Государыня наша... Госпожа моя!.. Единственная моя!..

Мехменэ Бану. Не будем тянуть... Я согласна. Говорю вам, я согласна... Вы слышите? Я согласна!

Незнакомец. Сядь сюда, дочь моя.

Незнакомец сажает Мехменэ Бану спиной к зрителям.

Берет большую серебряную чашу, стоявшую в углу, выливает в нее содержимое бутылки, которую он вынул из кармана. В чаше вспыхивает пламя. Незнакомец достает из-за пазухи розу и кусочек сухого дерева, бросает их в огонь. Пламя поднимается еще выше. Перепуганная кормилица читает молитвы.

(Мехменэ Бану). Не бойся, дочь моя, тебе совсем не будет больно. Возьми руку своей сестры.

Мехменэ Бану по-прежнему сидит спиной к зрителям. Она берет руку Ширип.

Это безгрешный и чистый огонь, и потому, что он такой безгрешный и чистый, он безжалостный. Как красота этой розы, горящей в огне, превратится в пепел и смешается с

пеплом засохшей ветви, так твоя красота смешается со смертью, окутавшей сестру твою, и победит смерть. (*Главному лекарю.*) Ты можешь идти.

Главный лекарь уходит.

И ты ступай, визирь.

Визирь. Нет, я не уйду. Я должен...

Незнакомец. Ты прав, останься.

Мехменэ Бану (*кормилице*). Не плачь, кормилица... Если бы я умирала, разве Ширин не поступила бы так же?

Визирь. Никогда! Клянусь своей головой! На это ни одна женщина, ни один мужчина... никто!..

Мехменэ Бану. Визирь мой, зачем ты говоришь такие горькие слова? Ради меня молчи... Молчи... Смотри мне в лицо. Смотри мне в лицо, чтобы я по твоим глазам узнала, что делается со мной.

Незнакомец (*Мехменэ Бану*). Думай о сестре... Сестра твоя по-прежнему, как джейран, будет бегать по дворцовым садам. Она будет смеяться, есть, спать, просыпаться. Она не умрет. Она будет жить!

Мехменэ Бану. Смотри мне в лицо, визирь, смотри мне в лицо... Только молчи... молчи... Думай, как я, только об одном: моя сестра не умрет!.. Моя Ширин!..

Визирь следит за Мехменэ Бану и постепенно меняется в лице.

Незнакомец. Ты умеешь любить, дочь шаха Селима... Ты умеешь любить...

Мехменэ Бану. Как побелело твое лицо, визирь. Почему ты отводишь глаза от меня? Ведь, бывало, ты не мог на меня наглядеться, думаешь, я не замечала?

Незнакомец. Видишь? Твоя сестра понемногу оживает. Не отворачивайся от нее. Не шевелись.

Мехменэ Бану. Что с тобой, визирь? У тебя старое лицо, но совсем не уродливое. Лицо моей матери стало старым, но не стало уродливым. А мое? Кормилица, принеси зеркало, держи его предо мной. Нет... Не хочу... Потом посмотрю... Потом.

Визирь. Довольно! Довольно, ради Аллаха! Встаньте... Бросьте руку сестры... (*Выхватывает кинжал, хочет ударить себя в грудь.*)

Незнакомец бросается к нему и отнимает кинжал.

Кормилица. Ай!

Мехменэ Бану. Что он делает?

Незнакомец. Стой! Не двигайся... Сестра твоя просыпается...

Визирь (*падая на тахту*). Почему ты остановил меня, будь ты проклят!

Незнакомец. Ты любишь, как любят трусы. Только для себя. Вместо того чтоб убить меня, ты поднял на себя руку.

В это время огонь в чаше гаснет.

(*Мехменэ Бану.*) Пламя погасло, дочь моя. Твоя сестра спасена.

Мехменэ Бану. Моя Ширин!..

Ширин чихает.

Незнакомец. Смотри. Вот она открывает глаза. Она спасена! Отпусти ее руку.

Визирь. Пусть бог покарает всех нас!

Мехменэ Бану. Сестра моя! Моя Ширин! Голубка!

Ширин приподнялась. Мехменэ Бану падает, уткнувшись лицом в ее колени. Кормилица бросается Ширин на шею. Ширин как будто ничего не замечает.

Незнакомец незаметно уходит.

Кормилица. Слава господу моему!.. Слава господу!..

Ширин. Кормилица... я была очень больна... а теперь я поправилась? Где сестра моя? Пошлите же за сестрой!

Мехменэ Бану поднимает голову.

(*Замечает Мехменэ Бану.*) Кто эта женщина?

КАРТИНА ВТОРАЯ

Сад дворца, строящегося для Ширин. Во дворец ведет широкая лестница. В саду яблони с плодами. Дервиш, Бехзад, старший мастер, Эшреф, Ферхад, рабочий, смешивающий краски, рабочие, подмастерья.

Ферхад, стоя на высокой лестнице над левой створкой двери, рисует орнамент карниза. Внизу, тоже над орнаментом, работает Эшреф. Слева от дверей Бехзад красит орнамент дворцовой лестницы. Старший мастер и дервиш осматривают дворец. Один из рабочих смешивает краски, другие помогают мастерам.

Старший мастер (*дервишу*). Вот как кончат орнамент, так дворец Ширин-султан готов.

Дервиш. Сколько дней работали люди, сколько вас было?

Старший мастер. Нас работало четыреста душ. С тех пор как заложен фундамент одиннадцать месяцев прошло.

Дервиш. А сколько лет стоять будет?

Старший мастер. Ну что ж, если не сгорит, не разрушат, хорошо следить будут, тысячу лет простоит.

Дервиш. А потом?

Бехзад (*оторвавшись от работы*). Потом сгинет, умрет, не до конца же света стоять ему!

Дервиш. Если так, ради чего вы стараетесь?

Бехзад. Ради чего? А зачем ты дышишь? Что ж, потвоему, бросить нам работу, раз он может развалиться через тысячу лет? Да хоть бы завтра! Мы построим; развалится — снова построим.

Дервиш. Снова развалится.

Бехзад. А мы снова построим. Главное не в том, что разрушится, а в том, чтобы построить. (*Указывая на Ферхада.*) Видишь этого парня, того, что на карнизе орнамент красит? Да не этот — внизу, а тот — наверху. Сын мой, Ферхадом зовут. Сегодня уже четвертый день не ест, не пьет, не спит.

Старший мастер. По ночам при зажженных факелах...

Бехзад. Работает!

Старший мастер. Я ему сколько раз говорил, мать его приходила, плакала, отец бранился...

Бехзад. Все без толку. Раз мой сын взялся за работу, пока не закончит орнамент, как сердце желает, не напишет: «Сработано мастером Ферхадом» да не поставит число, до тех пор не выпустит кисти из рук.

Дервиш. И вы не вечны, и ваш орнамент. Все вы умрете.

Бехзад. Мы живем, отец, живем! (*Показывая на свой орнамент.*) Посмотри вот хоть мою работу. Сын мой превзошел меня, но моя оранжевая краска все же лучше!

Старший мастер. Ты прав, Бехзад-уста. Ты в краске сильнее. Но в рисунке с Ферхадом никому не сравниться. Всегда он что-то выдумает! Особенно этот орнамент хочется увидеть... Закончил бы он скорее, убрать бы лестницу да поглядеть...

Эшреф. Мастер!

Старший мастер. Иду, Эшреф-ага. (*Дервишу.*) Ты здесь посиди немного в тени, потом пойдем, я тебе покажу дворец. (*Подходит к Эшрефу.*)

Эшреф *(показывая свой орнамент)*. Посмотри-ка, что скажешь? Выходит?

Старший мастер. Ну что ж... Неплохо. Очень хорошо получилось... Только листья... Листья как будто немного того...

Эшреф. Что там с листьями?

Старший мастер. Что с листьями? Послушай, Эшреф-ага, в нашем деле как спросишь: «Что там?» — сразу дело затрудняется. То есть наш брат, рисовальщик, словами объяснить не может, а знает, какая краска, какая линия где и почему годится, а где не годится.

Бехзад *(не отрываясь от работы)*. Ей-богу, мастер, что до меня, то, по-моему, рисовальщику мало знать это, надо уметь еще растолковать, где, что и почему.

Старший мастер. Ты прав, Бехзад-уста. Но такой рисовальщик бывает один из тысячи.

Бехзад. Мой Ферхад таков.

Старший мастер *(про себя)*. У этого Бехзада вечно сын да сын...

Эшреф *(исправляет орнамент)*. Теперь как?

Старший мастер. Ну что ж. Получилось... получилось... Но сказать тебе по правде, сынок Эшреф, это наше ремесло не для таких, как ты, знатных молодых...

Эшреф. Что ты хочешь сказать?

Старший мастер. Ты на нас не гляди, говорю тебе. Недаром говорят, если б дьявол себе не нравился, око-лел бы. Вот и мы, плотники, каменщики, кузнецы, ювелиры и прочие мастера, свое ремесло до небес превозносим. А в конце концов что ж? Всякое ремесло — дело простого народа. Так ведь, Бехзад-уста?

Бехзад *(не отрываясь от работы, насмешливо)*. Так. Мать Эшрефа-ага — кормилица во дворце, государыни нашей кормилица.

Старший мастер *(Эшрефу)*. Я это и хотел сказать, Эшреф-ага. Ведь по одному ее слову...

Бехзад. Ты мог бы стать наместником в любом краю!

Эшреф. Я хочу быть рисовальщиком.

Старший мастер. Тебе виднее... Но все-таки быть наместником...

Эшреф. Я хочу стать рисовальщиком. И стал уже.

Рабочий, смешивающий краски *(кричит с места)*. Мастер! Я приготовил рубиновую краску.

Старший мастер. Иду. *(Отходит от Эшрефа, снова глядит на его орнамент, останавливается.)* Эти желтые цветы надо бы чуть посветлее сделать. Но тебе виднее, Эш-

реф-ага... Все же сделай посветлее. (*Отходит к рабочему.*)

Эшреф (*про себя*). Делают из меня круглого дурака... Если ты им чужой да хочешь заниматься их ремеслом — пропал. Что там с этими цветами? Почему посветлее? Что за черт! Почему это мне не удастся? (*Сверху на него начинает капать краска. Кричит.*) Эй, Ферхад, ты меня всего запачкал! Краску льешь!

Краска продолжает капать.

Тебе говорят, осторожней! Эй, оглох ты там, что ли? (*Начинает трясти лестницу.*)

Старший мастер (*подходит*). В чем дело, Эшреф-ага?

Бехзад (*подходит*). Что случилось?

Эшреф. Ферхад опрокинул краску.

Старший мастер. Не может быть. Такого отродясь с ним не бывало.

Эшреф. Смотри, как капает. Или краску опрокинул, или с кисти у него капает.

Бехзад. Мой сын капли с кисти на землю не уронит.

Краска льется все сильнее.

(*Кричит.*) Ферхад, сынок!

Старший мастер. Что с ним случилось?

Бехзад. Ферхад! Не отвечает даже.

Эшреф трясет лестницу.

Постой, Эшреф-ага, не тряси лестницу. Я поднимусь посмотрю. (*Поднимается по лестнице.*)

Эшреф (*про себя*). Может, умер? Даже не шевельнется... Хоть бы сдох!

Старший мастер (*про себя*). Странное дело, стоит там, прислонившись к стене. Ни рукой, ни ногой не пошевелит.

Бехзад (*добрался до Ферхада, кричит вниз*). Он уснул! Уснул здесь. Но какой орнамент! А тюльпаны! Вот шельмец, чем это он их только рисовал? В мире не было таких тюльпанов! Спит сладким сном, спит стоя, как лошадь молочника!

Старший мастер. Устал за четыре дня.

Бехзад. Не разбудишь. Хоть голову отрежь, не проснется!

Старший мастер. Может, потерял сознание?

Бехзад. Да нет, не то.

Старший мастер. Спускай его вниз, Бехзад-уста! *(Подмастерьям.)* Помогите мастеру!

С помощью подмастерьев Бехзад на руках спускает Ферхада на землю, несет к яблоне, под которой сидит дервиш. Снимает с себя рубашку, кладет под голову Ферхада.

(Эшрефу.) Пойдем, Эшреф-ага, посмотрим на орнамент мастера Ферхада.

Эшреф *(про себя)*. Он мастер Ферхад, а я — Эшреф-ага, но я вас еще заставлю называть меня мастером. Да, да, вы еще будете звать меня Эшреф-уста!

Старший мастер *(взбирается по лестнице)*. Ты не пойдешь, Эшреф-ага?

Эшреф. Что толку смотреть на орнамент Ферхада?

Старший мастер. Смотреть на красоту — доброе дело.

Эшреф становится на первую ступеньку.

Бехзад *(кричит из-под дерева)*. Эшреф-ага!

Эшреф. Что там?

Бехзад. Я возьму немного воды из твоего кувшина? У тебя дворцовая вода, свежая. А у нас известно какая...

Эшреф. Зачем?

Бехзад. Хочу губы Ферхаду смочить. Потрескались...

Эшреф *(про себя)*. Не давать воды... Стыдно, Эшреф... Разве можно не дать воды, если человека мучит жажда?

Старший мастер *(взобрался наверх. Рассматривает орнамент Ферхада)*. Ну и мастер этот Ферхад! Золотые руки! Ей-богу, Бехзад-уста, я такого зеленого цвета в жизни не видел! И не увижу! Сын твой и в краске обогнал тебя.

Бехзад. Нет, до этого еще не дорос, молод. *(Эшрефу, который тоже поднялся наверх и стоит теперь рядом со старшим мастером.)* Так можно взять воду, Эшреф-ага?

Эшреф. Сейчас спущусь, сам дам.

Бехзад. Да ты не беспокойся.

Эшреф. Не трогай! Я сам налью.

Старший мастер *(указывая Эшрефу на орнамент)*. Ну как, Эшреф-ага? Видал такие тюльпаны? А цвет зеленый каков? На завиток на этот погляди...

Эшреф. Завидуешь?

Старший мастер. Я? Кому?

Эшреф. Ферхаду.

Старший мастер. Что врать, был бы я молод, лоп-

нул бы от зависти. По правде говоря, и сейчас сердце у меня и радуется и щемит. Отца и того задело... Верно, Бехзад-уста?

Б е х з а д. Не знаю. *(Кричит Эшрефу.)* Ты как находишь, Эшреф-ага? Действительно мои краски?..

Э ш р е ф. Куда там твоим краскам! Особенно рядом с этой зеленой.

Б е х з а д. Ладно, ладно...

Эшреф и старший мастер спускаются. Эшреф берет свой кувшин и протягивает его Бехзаду, который подошел к лестнице.

Э ш р е ф. Держи. *(Передавая, роняет кувшин. Кувшин разбивается.)* Тьфу, черт...

Б е х з а д *(сердито)*. Ну что ж ты!

Э ш р е ф. Не нарочно ведь!

Б е х з а д *(передразнивает)*. Нарочно, не нарочно!.. *(Поворачивается, уходит.)*

Эшреф догоняет его, берет за руку.

Э ш р е ф. Правду говорю тебе, Бехзад-уста, не нарочно...

Б е х з а д. Пусти руку...

С т а р ш и й м а с т е р. Что вы, Бехзад-уста!

Б е х з а д *(вырывая руку)*. Глоток воды... эх ты... стыдись!.. *(Отходит к дереву, под которым сидит дервиш и спит Ферхад.)*

Э ш р е ф *(старшему мастеру)*. Я ведь нечаянно...

С т а р ш и й м а с т е р. Конечно, конечно, Эшреф-ага. Разве кто нарочно такое сделает?

Э ш р е ф. Я нечаянно разбил кувшин, а вот голову Бехзаду нарочно бы...

С т а р ш и й м а с т е р. Что ты, Эшреф-ага!

Э ш р е ф. Будьте вы все прокляты! *(Отворачивается от старшего мастера, ходит некоторое время по саду, потом снова принимается за работу.)*

Бехзад, смочив руки из своего кувшина, водит мокрыми пальцами по губам Ферхада.

Д е р в и ш *(Бехзаду)*. А ты недобрый человек.

Б е х з а д *(сердито)*. Недобрый, да.

Д е р в и ш. Чего ты злишься?

Б е х з а д. Злюсь, чтобы злиться. Да и как не злиться, отец? Нарочно ведь разбил кувшин. Завидует моему парню. К чему ему наше ремесло? Взял бы нож да... Повесили бы меня — и пусть.

Дервиш. Куда спешешь? В этом мире никто не останется.

Бехзад. Скажешь тоже. Раз мы в этом мире не навечно, значит нам и злиться нельзя? Прикажешь не радоваться, не любить и не завидовать, не бороться и не жить?

Дервиш. Глаза ваши не видят другого мира, только суетные мирские призраки.

Бехзад. Какие призраки? Что за призраки? Вещи из камня, дерева — это, что ли, призраки? Самому тебе, видно, мир надоел. Шляешься тут без дела...

Дервиш. Познав этот мир, я покинул его суету сует.

Бехзад. А я нет. Я его люблю. И его маету, и его суету. Нравится мне этот чудной мир! Разве можно не любить то, что сам сделал?

Старший мастер (*подмастерьям*). Уберите лестницу. Орнамент на карнизе уже готов.

Подмастерья начинают опускать лестницу, на которой работал Ферхад.

Эшреф (*про себя*). Хоть бы задели орнамент! Краски еще свежие... Жалко... А чего жалеть? Не глупи, жалко ведь!

Старший мастер (*подмастерьям*). Осторожно, ребята!

Бехзад (*подходя*). Смотрите, не заденьте орнамент! Не наклоняйте лестницу, эй вы!

Эшреф (*про себя*). Толкнуть?.. И лестница упадет на орнамент. Толкнуть... Толкнуть...

Лестницу опускают. Становится виден орнамент на карнизе. Все бросили работу, толпятся внизу, разглядывают орнамент.

Голоса. Невиданная штука!

— Молодец, Ферхад!

— Эй, не наступай на ноги!

— Посмотри на тюльпаны!

— Вот это рисовальщик!

Входит звездочет. Толпа с уважением расступается, пропуская его.

Звездочет. Благословен Аллах! (*Рассматривает орнамент.*) Райские сады перенесли вы на стены дворца! (*Обращается к Эшрефу.*) Как, Эшреф-ага?

Эшреф (*угрюмо*). Красиво...

Звездочет (*показывая на орнамент внизу*). А это твоя работа?

Эшреф. Моя.

Звездочет. Поздравляю, Эшреф-ага. Тоже красиво. Матушка твоя сердится на тебя, что ты увлекаешься малеванием. А увидит это — обрадуется. Я ведь ей говорил сколько раз: не огорчайтесь, матушка, увлечение его пройдет! Блаженной памяти шах Селим тоже увлекался поэзией...

Эшреф. Для меня это не увлечение.

Звездочет. Знаю — любовь. Но и любовь — увлечение, только длится подольше. *(Бехзаду.)* Это твой Ферхад рисовал орнамент на карнизе?

Бехзад *(с гордостью)*. Он сработал...

Звездочет. Где он сейчас?

Бехзад. Спит.

Звездочет. Спит?

Старший мастер. Четыре дня не ел, не пил, не спал, ночью при факелах...

Звездочет *(не слушая старшего мастера, поворачивается к Эшрефу)*. Когда у человека такой дворец, такой сад — наливай только вино в хрусталь да прижимай к груди красавицу! Послушай, я сочинил рубаи, прочту тебе:

Жизнь наша — песня. Что ж твой взор погас?
Налей вина и выпьем в добрый час.
И помни, что под этим синим сводом
Поется песня эта только раз.

(Старшему мастеру.) Не так ли, мастер?

Старший мастер *(не понимая)*. Наверно, так.

Звездочет. Три дня прошло, как я здесь не был, не так ли?

Старший мастер. Да, три дня назад вы изволили...

Звездочет *(прерывая его)*. Ювелиры окончили золочение потолков?

Старший мастер. Окончили.

Звездочет. Пойдем посмотрим. Пожалуйста, Эшреф-ага.

Звездочет, Эшреф и старший мастер входят во дворец. Рабочие разошлись, все занялись своим делом. Бехзад подходит к яблоне, под которой лежит Ферхад.

Бехзад *(срывает яблоко, надкусывает)*. Какие сладкие яблоки! *(Дервишу.)* Ты ведь тоже хотел осмотреть дворец, ступай.

Дервиш. Не хочу. Кто этот человек?

Бехзад. Главный звездочет. Ты слышал, какие рубаи он сочинил?

Д е р в и ш. Слышал.

Б е х з а д. У тебя одна дорога, у него — другая. Но в одном месте вы встретились, отец: вы оба боитесь смерти... Ну да ладно, бог с вами. Мой парень так и не шевельнулся ни разу?

Д е р в и ш. Нет.

Б е х з а д. Хорошо. Пусть спит.

Из-за сцены доносится бой литавр и барабанов, отбивающих торжественный марш.

Д е р в и ш. Что это?

Б е х з а д. Наверное, государыня наша Мехменэ Бану вышла в город.

Д е р в и ш. Они приближаются с этой стороны.

Б е х з а д. И правда! Надо поскорее разбудить Ферхада.

Звездочет, Эшреф и старший мастер выбегают из дворца. Эшреф и звездочет уходят в ту сторону, откуда доносится музыка. Старший мастер, показывая на щебень и ведра, отдаст распоряжения рабочим и подмастерьям.

Старший мастер. Идут сюда! Уберите это! Здесь подметите!

Б е х з а д (*пытается разбудить Ферхада*). Ферхад! Ферхад! Проснись, сынок! Скорей вставай.

Старший мастер (*продолжая командовать*). Быстрее поворачивайтесь! Смотрите, ведро забыли!

Б е х з а д (*будит Ферхада*). Ферхад, Ферхад, сынок!

Д е р в и ш. Поднимай, унесешь на спине... Давай я помогу.

Б е х з а д. Нет. Мехменэ Бану наверняка увидит его орнамент и спросит: «Кто это сделал?» Увидев такой орнамент...

Старший мастер (*рабочим*). Давай, ребята, живей расходись! (*Идет встречать Мехменэ Бану.*)

На сцене остаются Ферхад, дервиш и Бехзад. Звуки литавр и барабанов приближаются.

Б е х з а д. Я знаю, как его разбудить.

Д е р в и ш. Как?

Б е х з а д (*улыбаясь*). Увидишь. (*Наклоняется к Ферхаду и что-то говорит ему на ухо.*)

Ферхад вздрагивает во сне.

Д е р в и ш. Что ты сказал ему?

Б е х з а д. Я сказал: «Вставай, мастер Ферхад, твой орнамент испортили».

Д е р в и ш. Разве он услышит?

Б е х з а д. Не видишь? Уже услышал! Смотри, зашевелился... Эх, отец, да если подойдешь к могиле рисовальщика и крикнешь: «Испортили твою работу», — из земли встанет, побежит к своему орнаменту.

Д е р в и ш. Правда, проснулся!

Б е х з а д. Еще бы не проснуться! Ферхад... Сынок...

Ф е р х а д. Отец! Мой орнамент...

Б е х з а д (*смеется*). Ничего не случилось. Орнамент твой невредим. Проснись! Мехменэ Бану идет сюда. Увидит твою работу, спросит — кто сделал? Помни: только ни на нее, ни на Ширин-султан, ни на женщин из их свиты не гляди. Ты ведь знаешь, всем, кто посмотрит ей в лицо, велено отрубать голову. Ради бога, сынок, смотри в землю. Ладно, мы пошли. (*Кричит Ферхаду.*) Если придет Эшреф-ага или кто другой и велит тебе уйти, ни за что не уходи!

Бехзад и дервиш уходят. Звуки литавр и барабанов уже совсем близко. Появляются первые четыре телохранителя Мехменэ Бану со щитами и мечами, становятся на лестнице друг против друга. Меч одного из телохранителей касается орнамента Бехзада. Ферхад, который при виде телохранителей спрятался за яблоней, замечает это.

Ф е р х а д. Эй, земляк, ты своим мечом смажешь орнамент моего отца...

Телохранитель оборачивается на голос Ферхада. Литавры и барабаны бьют совсем рядом. Телохранитель вытягивается в струнку и вместе с другими наклоняет голову, устремляет взгляд в землю. Воспользовавшись этим, Ферхад, тоже опустив голову, делает несколько шагов вперед, подходит к телохранителю, меч которого касается орнамента.

(*Толкая телохранителя.*) Убери свой меч, орнамент испортишь!

Неистовый бой литавр прерывает Ферхада. Входят Мехменэ Бану, Ширин, их свита, звездочет, кормилица, Эшреф и старший мастер. Женщины в платках, их лица открыты. Но на лице Мехменэ Бану тонкое покрывало. Открыты только глаза. Мужчины в свите идут с опущенными головами, устремив взгляд в землю.

Звездочет (*шепчет кормилице*). Вот, матушка, у этой двери, с левой стороны внизу, орнамент твоего сына Эшрефа.

К о р м и л и ц а. Дай бог силы его рукам!

Звездочет. Покажи его работу государыне нашей...

Эшреф. Оставь, ради бога, звездочет... Что ей смотреть на мой орнамент? Пусть посмотрит работу Ферхада.

Ширин (*указывая Мехменэ Бану на дворец*). Какой красивый! Он похож на райский дворец!

Мехменэ Бану (*рассеянно*). Да... красивый... (*Останаавливается.*) Старший мастер!

Старший мастер подходит, как и все устремив взгляд в землю.

Старший мастер. Прикажи, госпожа наша.

Мехменэ Бану. Когда дворец будет готов?

Старший мастер. Работы осталось на два-три дня.

Мехменэ Бану. Смотри, как бы два-три дня не превратились в два-три месяца. (*Приближается к дворцу.*)

Старший мастер отходит на прежнее место.

Ферхад (*шепчет телохранителю*). Убери руку! Тебе говорю... Портишь орнамент...

Мехменэ Бану, Ширин и свита подходят к дверям дворца. Ферхад умолкает. Кормилица, несмотря на молчаливое сопротивление Эшрефа, подходит к Мехменэ Бану, показывает на орнамент Эшрефа.

Кормилица. Посмотри, государыня моя, посмотри на искусство моего Эшрефа.

Мехменэ Бану. Что ты сказала, кормилица?

Кормилица. Этот орнамент мой сын сделал.

Мехменэ Бану. Твой Эшреф? Красиво...

Ферхад (*не выдержав, отталкивает телохранителя, кричит*). Что ты делаешь, медведь!

Мехменэ Бану. Что такое? Что там случилось?

Паника в свите. Бросаются к Ферхаду. Мехменэ Бану и Ширин поднимаются по лестнице.

Ферхад (*смотрит в землю*). Он своим мечом портит орнамент моего отца. Краски свежие...

Звездочет (*укоризненно*). Ферхад!

Ферхад сдерживается, умолкает. Телохранители вот-вот бросятся на Ферхада. Мехменэ Бану и Ширин уставились на Ферхада, как на чудо.

Мехменэ Бану (*про себя*). Как он красив...

Ширин (*про себя*). ...этот мужчина!

Мехменэ Бану (*про себя*). Увидеть бы...

Ширин (*про себя*). ...его глаза!

Мехменэ Бану. Не трогайте его. Кто этот юноша?

Звездочет. Ваш слуга, Ферхад! Рисовальщик.

Старший мастер (*бросается к ногам Мехменэ Ба-*

ну). Прости его невежество, государыня! Не вели казнить! Такой мастер не родился и не родится, я правду говорю, государыня! Изволь взглянуть на орнамент карниза.

Мехменэ Бану (*не отрывая глаз от Ферхада. Про себя*). Его зовут...

Ширин (*не отрывая глаз от Ферхада. Про себя*). ...Ферхад.

Мехменэ Бану (*про себя*). Увидеть бы...

Ширин (*про себя*) ...его глаза.

Старший мастер. Смилуйся, государыня, над твоим слугой и над всем нашим цехом.

Мехменэ Бану (*про себя*). О господи!..

Ширин (*про себя*). Я погибла!

Мехменэ Бану (*даже не взглянув на орнамент, старшему мастеру*). Встань! Мы назначаем мастера Ферхада старшим рисовальщиком двора. Пусть завтра же приступает к работе.

Мехменэ Бану, Ширин, свита и телохранители входят во дворец.

Эшреф (*проходя мимо Ферхада*). Дай бог тебе счастья, Ферхад-ага.

Ферхад остается один на сцене.

Ферхад (*про себя*). Почему этот человек назвал меня «ага»?.. Какой красивый голос у государыни... У обеих я видел только туфли... Какие туфли! Как свежая фисташковая скорлупа... Вот я и старший рисовальщик! Еле голову унес... Значит, ей понравился мой орнамент... (*Делает несколько шагов назад, смотрит на орнамент, задумался. Про себя.*) Молодец, Ферхад! Но почему он сказал мне: «ага»? Ай да мастер Ферхад! Пусть руки твои не знают усталости. Только вот там еще немного подправить.

Появляется Ширин. Ферхад не видит ее. Она наблюдает за Ферхадом.

Ширин (*про себя*). Куда он смотрит? На орнамент... Его Эшреф, наверно, рисовал. Ферхад, Ферхад... Взгляни же на меня!

Ферхад (*по-прежнему погружен в созерцание орнамента. Про себя*). Как ярок блеск твоей зеленой краски! Из скольких трав ты получил ее? И даже твой отец не знает этой тайны...

Ширин (*все так же за спиной Ферхада. Про себя*). Ферхад, Ферхад... Ну поверни лицо! Пусть наши взгляды встретятся. Возникни предо мной, как обнаженный меч!

Ферхад (*про себя*). А кисть, которой рисовал тюльпаны? О ней не догадаться никому! Ты молодчина, старший рисовальщик! Ай да Ферхад!

В это время Ширин срывает яблоко. Бросает в Ферхада. Ферхад быстро оборачивается и видит Ширин. Ферхад в смятении, пытается отвести взгляд, но не может. Снова смотрит на Ширин, снова опускает глаза, нагибает голову. Снова поднимает. Наконец закрывает лицо руками.

Ширин. Открой лицо свое. Зачем глаза ты прячешь? Подними же!

Ферхад. Глаза мои... (*Открывает лицо.*)

Ширин. Ферхад! Я убежала через эту дверь. Верно, там меня уже хватились... Так скорей взгляни же... Взгляни в мои глаза...

Ферхад. Я не могу. Я ослеплен, как будто я смотрю на солнце!

Ширин. И я ослеплена!..

В этот момент в дверях показывается Эшреф; увидев Ферхада и Ширин, незаметно скрывается.

Ферхад (*приближаясь к Ширин*). Ты безумная, ты отчаянная, ты колдунья, ты как алый цвет, как зеленый цвет, как тюльпан, как вода, как рисунок,— вот какая ты девушка! Если б я не владел собою, я кричал бы во весь голос. Если б я не владел собою... (*Берет Ширин за плечи, целует в шею*). Ты рабыня нашей государыни?

Ширин. Нет, Ферхад! Меня зовут... Ширин...

Ферхад (*отталкивая Ширин*). О, как ты далеко!.. Так значит, я в звезду влюбился!

Занавес



ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

ИНТЕРМЕДИЯ

Эшреф, Ферхад и кормилица выходят справа на авансцену перед закрытым занавесом. Кормилица останавливается, и за ней останавливаются остальные.

Кормилица. Погодите немного... Ох, сердце мое вот-вот разорвется!

Эшреф. Может, ты что-то утаила от нас? Признайся, мать.

Кормилица. Ничего, сынок, не утаила. Конечно, по правде сказать... Да ничего, ничего, не беспокойся... На этой половине никого не осталось, я всех отослала... Ох, сынок, сынок, что ты сделал с моей головешкой! Твое маларство — это сущее проклятье. А захотел бы — визирем мог бы стать.

Эшреф. Оставь пустые разговоры, мать. Можно подумать, что все это только из-за меня!

Кормилица. Так-то оно так... Но если б я тебе не открыла эту тайну и если бы ты не пристал ко мне «сделай» да «сделай», ни за что бы не сделала... Ни для Ширин-султан, ни для кого другого. Даже если бы твой покойный отец вышел из могилы...

Эшреф (*Ферхаду*). Но ты помнишь, Ферхад-ага? Я насчет этого...

Ферхад. Разве мы об этом не договорились?

Эшреф. Поговорим еще раз. Значит, завтра утром...

Ферхад. Да, да, завтра утром ты придешь в мой дом и я тебе открою секрет моей зеленой краски. Секрет, который не известен ни одному человеку в мире, кроме меня.

Эшреф. И кисть для тюльпанов...

Ферхад. Об этом уговору не было.

Эшреф. Вот сейчас и сговоримся.

Ферхад. Хорошо, дам и кисть. Теперь все? Больше ничего тебе от меня не надо? Ну, говори... Требуй все, что хочешь!

Кормилица. Эшреф, Эшреф! В голове у тебя только краски! А ведь стоит тебе пожелать...

Эшреф. Я же говорил, мать, оставь эти разговоры. (Ферхаду.) Пошли.

Проходят несколько шагов, Эшреф останавливается.

Эшреф. Вы ничего не слышали?

Кормилица. Да нет же, не тревожься. Здесь нету никого — хоть человека режь.

Эшреф. Ну, пошли! (Идут дальше.) Вот о чем хочу спросить тебя, Ферхад-уста: неужели тебе ни капельки не жалко расстаться с секретами мастерства?

Ферхад. Нет.

Эшреф. Это потому, что ты очень уверен в себе. Думаешь: пускай эти отдам, что с того? Новые придумаю!

Ферхад. Нет, не потому.

Эшреф. А почему же?

Ферхад. Долго объяснять. Бог с ним! И объяснить трудно, и понять трудно.

Кормилица останавливается у самой середины занавеса.

Кормилица. Пришли...

Ферхад и Эшреф тоже останавливаются.

Я здесь подожду. Эшреф пускай у двери караулит. Ну, Ферхад-уста, иди...

Ферхад раздвигает занавес. Занавес открывается.

КАРТИНА ТРЕТЬЯ

Комната Ширин. Ночь. Ширин взволнованно ходит по комнате. Входит Ферхад. Ширин стоит к нему спиной.

Ферхад. Ширин!

Ширин (оборачивается). Ферхад!

Идут навстречу друг другу. Останавливаются. Смотрят друг другу в глаза.

Ферхад (про себя). Смотри, Ферхад... Вот чудо! Ну может ли прекраснейший орнамент сравниться с человеческим лицом?

Ш и р и н *(про себя)*. Какие тонкие и черные усы!

Ф е р х а д *(про себя)*. Ферхад! Как ты легко достиг Ширин! А нужно было сдвинуть с места горы.

Ш и р и н *(про себя)*. Как строен стан... как плечи широки!

Ф е р х а д *(про себя)*. А нужно было пересечь пустыни...

Ш и р и н *(про себя)*. Опять он за руки меня возьмет...

Ф е р х а д *(про себя)*. Спросить о ней у журавлей пролетных...

Ш и р и н *(про себя)*. И поцелует...

Ф е р х а д *(про себя)*. Побывать в темнице...

Ш и р и н *(про себя)*. За руки возьмет... и поцелует.

Ф е р х а д *(про себя)*. Нужно было с железным войском в бой вступить... А ты? Что сделал ты, чтобы достичь Ширин?

Ш и р и н *(про себя)*. Ты первая решилась Ферхаду бросить яблоко, Ширин. Ты первая решилась сказать ему: «Смотри в глаза Ширин!»

Ф е р х а д *(про себя)*. Ну может ли прекраснейший орнамент сравниться с человеческим лицом?

Ш и р и н *(про себя)*. Ты позвала его в опочивальню...

Ф е р х а д *(про себя)*. Такая красота уже гнетет...

Ш и р и н *(про себя)*. А если бы, Ширин, ты не была сестрою государыни, была бы простою, бедной девушкой Арзена, ты бросила бы яблоко ему?

Ф е р х а д *(про себя)*. Ферхад мой, отчего ты так печален?

Ш и р и н *(про себя)*. Мне даже в голову не приходило, что было б, если б я была простою, бедной девушкой...

Ф е р х а д *(про себя)*. Ферхад! Тебя гнетет такая красота...

Ш и р и н *(про себя)*. Да, и тогда я сделала бы так же — я бросила бы яблоко ему, сказала бы: смотри в глаза Ширин!

Ф е р х а д *(про себя)*. Как ты легко достиг Ширин! Как просто! Но нет, Ферхад, Ширин достичь нельзя! Она по-прежнему недостижима и далека все так же от тебя! Ферхад, ты сбился со своей дороги.

Ш и р и н *(про себя)*. Какие черные усы!

Ф е р х а д *(про себя)*. Ферхад, мой друг, скажи мне, отчего ты так печален?

Ш и р и н *(про себя)*. Он за руки возьмет меня...

Ф е р х а д *(про себя)*. Покорно пред тобой стоит она... Смелей, Ферхад!

Ш и р и н *(про себя)*. Он за руки возьмет и поцелует...

Ф е р х а д *(про себя)*. Смелей, смелей, Ферхад! Чего ты ждешь?

Ш и р и н *(про себя)*. И поцелует...

Ф е р х а д *(про себя)*. За руки возьми и поцелуй, вот так же, как тогда...

Ферхад берет Ширин за руки и целует ее. Ширин вырывается и садится на тахту. Ферхад остается стоять. Перед тахтой на огромном серебряном блюде лежат яблоки. Ширин берет одно яблоко и показывает Ферхаду.

Ш и р и н. Ты видишь это яблоко, Ферхад? Оно от той же яблони, с которой то яблоко, что бросила тебе я. Все эти яблоки росли на ней. *(Медленно чистит ножом яблоко.)* Ферхад! Как я боялась, что сегодня ты не придешь...

Ф е р х а д. Боялась? Ты же знала!

Ш и р и н. Что знала? Говори!

Ф е р х а д. Что в эту ночь Эшреф у двери будет караулить.

Ш и р и н. Я это знала...

Ф е р х а д. Кормилица мне помогла. С той стороны твоей опочивальни есть потайная лестница...

Ш и р и н. Да, есть... Но бог с ним. Что об этом думать!

Ф е р х а д *(задумчиво)*. Кормилица, Эшреф и этот потаенный ход... Так прост! Так легко!

Ш и р и н. Я понимаю... Но как бы ни проник ты во дворец, скажи мне, разве то, что ты пришел, не заставляет обо всем забыть? Ужели радость достижения цели не может оправдать любые средства, которыми ее добился ты? Меня ты видишь — разве не довольно, чтоб о кормилице и лестнице забыть?

Ф е р х а д. Тебя увидеть — это мир увидеть! Твое лицо увидеть... Голос твой услышать... До твоих волос дотронуться... Да это все равно что мир увидеть, до него руками дотронуться... Но этот тайный ход, Эшреф и нянька... Их позабыть нельзя! Как горько мне! Что сделал я? Ни риска, ни усилий... Не ставил я на карту жизнь мою, не подвергал опасности свободу. Ничем я не пожертвовал, Ширин, чтобы достичь тебя!

Ш и р и н. Кормилица сказала, что ты Эшрефу обещал открыть...

Ф е р х а д. Какие пустяки! Я обещал Эшрефу открыть за то секреты мастерства, которое давно уж мне не служит...

Ш и р и н. А правда ли, что скоро пятый месяц, как бросил ты работу?

Ф е р х а д. Не могу! С тех самых пор... Я кисть беру, рисую тюльпан, но только на него взгляну — и вижу, что тебя он недостоен... И я тюльпан стираю. Если б мог я в один тюльпан вместить весь этот мир — и все его цвета, и все сиянья, все радости его, и все печали, и все надежды... Если бы я мог вместить весь мир, то есть тебя, Ширин! Но не могу вместить тебя в тюльпан — и мне искусство кажется позором...

Ш и р и н. Так, значит, не тоскуешь ты по мне!

Ф е р х а д. Я не тоскую?!

Ш и р и н. Если б тосковал, сумел бы ты создать меня в тюльпане.

Ф е р х а д. А знаешь ли, Ширин, как надо рисовать тюльпан? Как песни складывать, как сочинять стихи, как здание возводить, как в кузнице железо ковать, как землю возделывать!.. В изображении тюльпана есть свой способ, своя гармония, порядок и размер. Моя тоска размера не имеет, не знает ни предела, ни границ! И мастер, гордый тем, что он сумел в тюльпане воплотить любимый образ, что он сумел в тюльпане повторить возлюбленной красу как отражение, — поверь, Ширин, — тот мастер лжив иль глуп. Одно из двух — иль мастерство с возлюбленной он спутал, иль, зная втайне правду, вслух он лжет. Какой ничтожной быть должна его тоска, чтобы в его рисунке поместиться. Мы можем только тысячную долю тоски своей в рисунке передать! Да, я узнал — бессильно мастерство.

Ширин делит яблоко на две части и одну половину передает Ферхаду.

Ш и р и н. Вот эта половина — ты, а я — другая половина... Почему же ты не садишься?

Ф е р х а д. Дай мне налюбоваться на твое лицо...

Ш и р и н. Но разве некрасива я вблизи?

Ф е р х а д. Ты и вблизи и издали прекрасна, всегда, везде, откуда ни взгляни. Как наш язык турецкий, на котором ты говоришь, прекрасна ты, Ширин!

Ш и р и н. Но отчего не хочешь ты сесть рядом, как на лугу, колено у колена, лицо к лицу?.. *(Берет Ферхада за руку, притягивает к себе. Садятся друг против друга.)* Всегда ли мне первой яблоко бросать? Скажи...

Ф е р х а д. Но ты — наследница султана!

Ш и р и н. Об этом я подумала, Ферхад.

Ферхад. Подумала?

Ширин. Когда бы я была простою, бедной девушкой Арзена...

Ферхад. Что сделала бы ты?

Ширин. Я бросила бы яблоко тебе, и я сказала бы: смотри в мои глаза!

Ферхад. И в этом ты уверена, Ширин?

Ширин. Уверена.

Ферхад. О, если б ты была простою, бедной девушкой Арзена!

Ширин. То что бы изменилось?

Ферхад. Ты стала бы моей, Ширин! Но ты — султана дочь, а я — простой, безвестный рисовальщик. Но ремесло свое не презираю! Его не согласился б я сменять на царство целой Индии.

Ширин. А ты назвал его позорным!

Ферхад. Да, позорным. Оно не может уместить в тюльпан мою тоску. Но все-таки оно, оно, мое искусство, научило меня любить прекрасное и создавать на камне этот мир с его тенями, красками и светом.

Ширин. Не дочь султана я, и ты не живописец! И дела нет мне до твоих тюльпанов! Ты для меня — Ферхад, а я — Ширин! Готова я. Бери меня — бежим!

Ферхад. Что ты сказала?

Ширин. Мой Ферхад! Ферхад! Тебе я без притворства, без обмана, без колебання говорю: Ферхад! Люблю тебя! Тебе принадлежу я! Готова я! Бери меня — бежим! И нет на сей раз ни слуги, ни няни — никто не согласится нам помочь... Есть только дверь в моей опочивальне и потайная лестница за ней, как мост, который тоньше волоска, острее меча... как мост над бездной... И если нас поймают так и схватят, тебя убьют или бросят в подземелье, где заживо всю жизнь ты будешь гнить... Ты слышишь ли? Чтоб я была твоею, на карту жизнь поставить должен ты! Готова я. Бежим, Ферхад!

Ферхад (*хватает Ширин за руку*). Бежим.

Идут к авансцене. Ферхад останавливается.

Стой!

Ширин. Что? Зачем?

Ферхад. Я должен написать секрет зеленой краски и тюльпана. Эшрефу обещал я... (*Левой рукой продолжает держать руку Ширин, а правой пишет на шкуре джейрана.*) Верно, нянька сюда придет и, нас не обнаружив, Эшрефа позовет. Обыщут все и это здесь найдут.

Ш и р и н. Ты руку отпусти. Пиши спокойно.

Ф е р х а д. Нет, не пущу.

Ш и р и н. Мне больно! Отпусти! Нет, нет, не больно мне! Не отпускай!

Ф е р х а д *(кончил писать)*. Пойдем отсюда! *(Подходит к авансцене. Одной рукой закрывает занавес. Берет Ширин на руки.)*

Ш и р и н. Поцелуй меня.

Ф е р х а д. Нет... Ты уже моя, моя настолько, что не могу поцеловать тебя, как вор!

КАРТИНА ЧЕТВЕРТАЯ

Тронный зал во дворце Мехменэ Бану. Вечер перед закатом солнца. Зал сначала освещен красноватым светом, постепенно наступают сумерки. Мехменэ Бану сидит на троне, съездившись и поджав под себя ноги, визирь стоит перед ней. Окна открыты. Видно небо.

Мехменэ Бану *(поднимает голову, смотрит в окно)*. Уже совсем стемнело.

Визирь. Госпожа, не приказать ли свечи зажечь?

Мехменэ Бану. Нет... Воздух ли прохладным стал, иль мне так холодно?

Визирь. Не приказать ли окна затворить?

Мехменэ Бану. Нет... Душно мне. *(Встает, подходит к окну, стоит спиной к визирю.)* Эшреф и наша кормилица подвергнуты допросу?

Визирь. Да, госпожа. Уж я докладывал об этом.

Мехменэ Бану. Их не пытали, правда ведь, визирь? Их не пытали?

Визирь. Нет, госпожа, а разве вы не так изволили приказывать?

Мехменэ Бану. Скажи, уверен ты, что не пытали?

Визирь. Конечно, госпожа. Но если б твоего покорного раба спросили...

Мехменэ Бану *(оборачивается, смотрит визирю в лицо)*. О, если бы тебя спросить, так были бы распяты оба! И головы их были бы давно отрублены!

Визирь. И по заслугам! Пусть не они им помогли бежать, но маляра они ввели в гарем!

Мехменэ Бану. Тебя спросить, и беглецы, как только схватят их... *(Умолкает.)*

Визирь. Их непременно схватят, госпожа. Четыре

сотни всадников послал я, на все четыре стороны послал гонцов.

Мехменэ Бану. Тебя спросить, пожалуй, беглецов ты приказал бы к мулам привязать и разорвать!

Визирь. Нет, было б мало к мулам привязать прохожу маляра и разорвать на части, но тронуть даже волос с головы Ширин-султан я не имею власти.

Мехменэ Бану. А если б ты имел такую власть? Что ж ты молчишь? Зачем ты лжешь, визирь? Ведь именно Ширин ты ненавидишь! И разве не известно это мне? Ты даже не ходил смотреть ни разу ее дворец. Не правда ли, визирь? Неужто смелости твоей не хватит, чтоб обнаружить ненависть свою? Ты враг Ширин! Ну, что ж не отвечаешь? Что ж ты молчишь?

Визирь. Вы правы, госпожа.

Мехменэ Бану. Какой ты нехороший человек!

Визирь. Единственное, что могло бы сделать меня хорошим, отняла она.

Мехменэ Бану. Я знаю, это красота моя. Но я сама пожертвовала ею. И не жалею, слышишь ли, ничуть! Я отдала ее... И вот причина, что ты, визирь, единственный мужчина, который смеет мне в лицо взглянуть. Но и меня, визирь, ты ненавидишь! Ты враг и мне. Не человек, а волк!

Визирь. Вы сами волком сделали меня!

Мехменэ Бану молчит. Поворачивается, смотрит в окно и продолжает говорить, стоя спиной к визирю.

Мехменэ Бану. Так знай, коль ты посмеешь беглецов хоть пальцем тронуть, тебе, визирь, и всадникам твоим придется плохо!

Визирь. Да, госпожа. Священна ваша воля. И волос с головы не упадет у беглецов...

Мехменэ Бану *(сама с собой)*. Какой прекрасный вечер! Какой прекрасный вечер, боже мой! Как мир прекрасен!.. *(Поворачивается, смотрит в лицо визирю.)* Ты ведь знал об этом?

Визирь. О чем я знал?

Мехменэ Бану. Что я его люблю...

Визирь. Я это знал.

Мехменэ Бану. Но только ты один. Никто другой не мог бы догадаться.

Визирь. Но разве вы не признавались Ширин-султан? Кормилице своей?..

Мехменэ Бану. Нет, никогда. Ни словом, ни намеком. Стыдилась я....

Визирь. Кормилица глуна. Но как Ширин-султан не догадалась? Уверен я, что все ей было ясно.

Мехменэ Бану. Она не знала.

Визирь. Если б даже знала, она бы все равно...

Мехменэ Бану. Какой ты злой! Ты словно тот, что свистом будит змей. И у меня в груди живет змея... Она в глубинах сердца притаилась, она, свернувшись, спит там... Нет, не спит! Из глубины вытягивает шею и слушает... Не ангел я, визирь! Не ангел я. Достаточно взглянуть в мое лицо. Не ангел я... Нутро мое горит... Мне тяжело... Ты это понимаешь? *(Снова поворачивается к окну.)* Ты говорил вчера, коль я не ошибаюсь, что в городе свирепствует болезнь?

Визирь. Да, госпожа. Мор косит наш народ. Вот так же было в давние года, во времена, когда страною правил покойный ваш отец. И будет так, пока арзенцы пьют такую воду.

Мехменэ Бану. Но знаешь сам, что родники Железной горы в наш город подвести нельзя.

Визирь. Да, это невозможно. На горе такие камни, что работать там невыносимо. Там может поместиться один лишь человек. А гору прорубить одной киркой нельзя и за сто лет. Еще во времена покойного султана над этим много бились...

Мехменэ Бану. Знаю я, визирь.

Визирь. Так гибнет наш народ и будет гибнуть. В фонтанах не вода, а сущий гной!

Мехменэ Бану *(поворачивается к визирю)*. Что ты сказал? Визирь, что ты сказал? «В фонтанах не вода, а гной...» Как странно! Ты помнишь? То же самое сказал мне тот человек. Как был уродлив он! О господи! Как был он безобразен! Ты помнишь ли? Он мне сказал: ты все же не будешь безобразнее меня! Ты это помнишь?

Визирь. Помню, госпожа.

Мехменэ Бану. Так почему ты не убил его тогда же, а попытался умертвить себя? Ты помнишь ли, что он тебе сказал? «Любви не знаешь ты, визирь. Ты любишь, как любят трусы. Любишь лишь себя». Не правда ли, так тебе в глаза сказал он?

Визирь. Да, госпожа.

Мехменэ Бану. Так разве это ложь?

Визирь. Нет, это правда. Но и вы любви не знаете.

Мехменэ Бану. Не знаю? Чтоб спасти мою Ширин, мою единственную...

Визирь. Да, сестру свою умеете любить вы, госпожа. Как ни одна сестра на свете не любила свою сестру.

Мехменэ Бану. И он так говорил... Сказал он: «Ни одна сестра на свете не любит и не будет так любить...» Не будет так любить...

Визирь. Да, но Ферхада...

Мехменэ Бану. Ферхада?

Визирь. Вы не любите его.

Мехменэ Бану. Молчи! Ни слова больше!

Визирь. Чтобы спастись от муки и тоски моей, тогда мне в голову пришло убить себя. Но ничего не в силах был придумать в тот миг, когда был должен потерять все, что имел... Я мог лишь умолять, да корчиться, да ползать, словно червь. А между тем я должен был тогда же убить его! Да, я любил, как трус. Но знай, и ты так любишь, госпожа. Труслива ты настолько, что не можешь осмелиться вернуть себе все то, что потеряла ты. Ты свой покой оберегаешь так, что ты боишься раздавить того, кто отнял у тебя твое богатство.

Мехменэ Бану. Молчи! Во имя господи, молчи!

Визирь. Ферхада ты не любишь, госпожа! Не любишь так, как любишь ты Ширин. Ты отдала ей красоту свою... Скажи, а что Ферхаду отдала ты?

Мехменэ Бану. Но что же я могла ему отдать? Любовь Ширин или голову ее?

Визирь. Дать голову ее? О нет! Ты можешь не делать столь кровавого подарка. Коль хочешь ты избавиться от муки, ты можешь попытаться, как и я, убить себя. А если нет... *(Замолкает.)*

Мехменэ Бану. А если нет? Ну что ты замолчал? А если нет?

Визирь. А если нет... так можешь ты Ферхада на трон с собою рядом посадить. И бедный рисовальщик из Арзена, согретый блеском царства твоего, поверь мне, очень скоро позабудет свою Ширин!

Мехменэ Бану. О чем ты говоришь!

Визирь. Но, госпожа, подумай же о теле своем, оно так молодо, тебе ведь только двадцать лет, и до сих пор прекрасней тела женского не сыщешь по всей стране.

Мехменэ Бану. В своем ли ты уме? Безумный человек! Что говоришь ты!

Визирь. Ширин поохает немного и скоро позабудет.

Мехменэ Бану. Не забудет!

Визирь. Забудет!

Мехменэ Бану. Разве можно позабыть Ферхада?

Визирь. Ты не любишь, госпожа! Любовь тебе, как видно, незнакома.

Молчат.

Мехменэ Бану. Мне холодно. Вели закрыть окно!

Визирь (*закрывает окно*). Не приказать ли свечи засветить?

Мехменэ Бану. Нет. Уходи. Хочу побыть одна.

Визирь идет к дверям.

Постой... Пришли кормилицу ко мне. Эшрефа отпустите из темницы!

Визирь (*с поклоном*). Желанье госпожи моей — закон.

Визирь уходит. Мехменэ Бану некоторое время стоит без движения, потом, шатаясь, делает несколько шагов, прислоняется к стене.

Мехменэ Бану (*про себя*). Тело мое... тело мое... Телу моему только двадцать лет... Ноги, грудь, живот мой, руки мои... кисти мои, как два голубя. Их могли бы схватить, их могли бы ласкать большие смуглые руки твои. Ты бы мог их согнуть, Ферхад... Ферхад!.. Боже мой, как я люблю! Хочу, чтоб взял меня за руки... спрятал голову на моей груди... Но не только тело мое кричит, — задыхается, жаждет, сходит с ума, — сердце мое, голова моя... Печаль моя, тоска моя! Слышать голос его! В лицо взглянуть! Боже мой, как я люблю! Даже теперь... даже теперь, когда никакой надежды нет! Может быть, потому, что надежды нет? Что мне делать? Как беспомощна я! Как гнилая рана, сердце мое... Как я муку такую терплю? Как я ревную! Умереть! Убейте меня, или я их убью! Ширин моя! Сестра моя! Голубка! Тебя убью! Ферхад, возлюбленный, я кровь твою пролью. Люди! Пожалейте меня! Боже мой... Какие мысли приходят в голову! Не думать! Не думать ни о чем! Что за свет на стене? Это солнце заходит. Не думать! Не думать ни о чем. Не думать о том, что солнце заходит... Ферхад... Ширин... Ширин моя, единственная сестра моя... Умирала — я ее спасла! Это я, это я ее спасла! Жалею ль я об этом? Жалею ли? Нет! Если б я была так же красива, как Ширин. Ферхад... Если б так же красива, как прежде, была, если б снова спасти была должна... Ферхад... Я бы снова ее спасла! Как малиновый сок этот солнечный свет... Принесу тебе ледяной шербет... Ты ведь любишь малиновый шербет... Жалею ли я? Жалею ли я?

В дверях появляется кормилица, растерянно и испуганно смотрит на Мехменэ Бану.

Кормилица. Госпожа...

Мехменэ Бану (*очнувшись*). Ах, это ты... Что ж ты стоишь? Входи. Они тебя измучили? (*Идет к ней навстречу.*)

Кормилица делает шаг, падает на пол, плачет.

(*Берет ее за руки, помогает подняться.*) Не плачь. Вставай, не плачь. (*Садится на тахту.*)

Кормилица опускается на пол у ее ног.

Давно ли так — в другой опочивальне, в другое время мы с тобой сидели, сидели так же — ты у ног моих, мы за больной ухаживали, помнишь? За умирающей... Но лучше стало ей. Она любовь узнала, птицей стала и упорхнула из гнезда.

Кормилица. Ей-богу, в этом я не виновата, госпожа! Вот эта шея тоньше волоска! Клянусь Аллахом, я не виновата!

Мехменэ Бану. Никто не виноват. Я приказала Эшрефа отпустить.

Кормилица. Пусть будет светом все то, что ты делаешь, госпожа. Дай бог тебе...

Мехменэ Бану. Вам ничего плохого не сделали? Скажи мне правду.

Кормилица. Нет, госпожа, ничего...

Мехменэ Бану. Но как это случилось, что ты, на чьих руках я родилась?..

Кормилица. Ох, дитяtko мое! Ох, птенчик мой! Что сердце материнское не стерпит! Уж лучше бы я камень родила! Всё требуют от матери! Всё им сделай! А сделаешь — и просят снова. Как цыплята, которые никак не вырастут! Не помешайся мой Эшреф на этих красках, не приставай он каждый день ко мне: «Хочу узнать, хочу иметь секреты!» — я б ни за что...

Мехменэ Бану. Я знаю. Но скажи, об этом ты жалеешь?

Кормилица. Да как же можно об этом не жалеть? Сто тысяч раз себя ругаю, каюсь, как могла я тебе, моя голубка, изменить! Как смела постороннего мужчину ввести в гарем!

Мехменэ Бану. Да не об этом я! Жалеешь ли, что сыну помогла узнать секрет?

Кормилица. Он так и не узнал! Такой уж он у

меня невезучий. Ферхад-уста секрет свой написал на шкуре, да она нам не досталась.

Мехменэ Бану. Я прикажу, ее вам отдадут.

Кормилица. Ох, госпожа моя! Дитя мое! Ты головы бы нам должна срубить... *(Плачет.)*

Мехменэ Бану. Не плачь, не плачь... Ты лучше мне признайся, скажи, что не жалеешь ни о чем, скажи, что, если твой Эшреф захочет, ты для него спалишь и мой дворец.

Кормилица. О, боже упаси! Уж до такого дела...

Мехменэ Бану. Голубушка, кормилица, скажи, скажи, что не жалеешь ты нисколько... Ведь правда же?

Кормилица. Ну как тебе сказать? Уж если ты простила нас и шкуру вернуть пообещала... Ты ведь сама, когда сестру свою хотела спасти, пожертвовала самым дорогим — своею красотой. Иль ты жалеешь?

Мехменэ Бану не отвечает. Встает. Встает и кормилица.

Мехменэ Бану. Какая духота! Я задыхаюсь. Кто окна все закрыл?

Кормилица бросается открывать окна. Мехменэ Бану подходит к окну, останавливается спиной к публике.

Скажи-ка мне... Они видались только раз?

Кормилица. Да, моя голубка, только раз.

Мехменэ Бану. Ты говорила так. Но, может быть, визирю и другим, кто вел допрос, ты побоялась рассказать всю правду? Они мужчины и чужие люди... Но я — сестра Ширин. Ты можешь мне сказать, не опасаясь, всё, как было.

Кормилица. Ей-богу, раз один... один разочек! Пускай я поцелую труп Эшрефа, коли тебе я вру!

Мехменэ Бану. Так, значит, только раз?

Кормилица. Один, один раз... Да раз еще в саду друг друга видели.

Мехменэ Бану. Да, да, я знаю. *(Смотрит в окно.)* Какой прекрасный вечер! Скоро солнце зайдет... *(Поворачивается к кормилице.)* Они друг друга очень любят?

Кормилица. Верно, очень, коли сбежали. Меня Ширин-голубка так молила... Со щечек розовых ее, как жемчуг, катились слезы...

Мехменэ Бану. Значит, они очень любили оба...

Кормилица. Очень, госпожа. Как голубь с горлицей. И голуби, пожалуй, не могут так любить!

Мехменэ Бану. Он целовал Ширин?

Кормилица. Откуда знать мне, госпожа?

Мехменэ Бану. Скажи, когда Ферхад вошел в покой, за ним ты не следила?

Кормилица. Нет, ей-богу, ничего не видела...

Мехменэ Бану. Конечно, целовал! Ферхад большими смуглыми руками взял ручки белоснежные Ширин... *(Отходит от окна.)* Какая жажда! В горле пересохло...

Кормилица. Я принесу тебе шербет. Ты любишь малиновый шербет...

Мехменэ Бану. Нет, нет, воды. Здесь есть, в кувшине...

Кормилица наливает воду из кувшина, подает Мехменэ Бану.

(Пьет.) Теплая как кровь... А в городе вновь вспыхнула болезнь...

Кормилица. Эшреф мне тоже говорил. А все из-за гнилой воды. Когда-нибудь из-за воды проклятой умрет весь город.

Мехменэ Бану *(задумчиво)*. Так, значит, Ширин меня ни капли не любила!

Кормилица. Что говоришь ты, госпожа моя! Грех думать так. Ведь у Ширин есть бог. Ей за тебя отдать не жалко душу!

Мехменэ Бану. Она оставила меня и убежала. Она Ферхада любит больше, чем меня.

Кормилица. Эта любовь — другая.

Мехменэ Бану. Значит, эта любовь сильнее, чем любовь к сестре, любовь к отцу и матери.

Кормилица. Да нет, совсем другого рода.

Мехменэ Бану. Если б ты такой любовью заболела, скажи, могла бы ты Эшрефа бросить и убежать?

Кормилица. Стара я, госпожа. В мои-то годы...

Мехменэ Бану. А будь ты помоложе? И если бы твой муж, отец Эшрефа, не год назад скончался, а тогда, когда была ты юной и красивой, и если б встретила ты человека, такого, как Ферхад?

Кормилица. Не знаю я... Здесь девушка была одна, я знала ее, дочь кузнеца, Пакизэ. Полгода только с мужем прожила, и умер он. Она дитя носила... Вдовою родила. А мальчик был — как солнышко! И многие жениться на ней хотели, даже главный ювелир. Всем отказала. День и ночь трудилась, как говорится, волосами пол мела, а сына воспитала.

Мехменэ Бану. Ювелир! Вот если бы ей встретился Ферхад...

Кормилица. Откуда же Ферхаду было взяться? Пакизэ — старуха уж давно, а наш Ферхад...

Мехменэ Бану (*с досадой*). Наш иль не наш Ферхад... не в этом дело, а в том, что встретился ей не Ферхад.

Кормилица. Выходит, Ширин правильно поступила, что убежала? А ведь ты только что сердилась на нее.

Мехменэ Бану. Я не сердилась, няня. Нет, сердилась! Ах, я сама не знаю, что со мной! Тоска меня грызет... Зажги-ка свечи.

Кормилица зажигает свечи.

Оставь, оставь... Все свечи потуши. Хочу, чтобы тоска меня душила! Чтоб глубже проникала в грудь мою, чтоб сердце разорвала мне.

Кормилица (*гасит свечи*). Спаси господь!

Молчат.

Мехменэ Бану. Кормилица, скажи, могу ли я понравиться еще? Тебя не спрашиваю я — могу ли любимой стать. Но нравиться — могу? С таким лицом, уродливым и старым...

Кормилица. Но женщина ведь не из одного лица состоит, госпожа. Твой разум, стать твоя, твой стан и тело — как идол мраморный! Видит бог, твоя Ширин в сравнении с тобой — как ива против кипариса. Послушай, госпожа. Есть одна девушка, Зехра, дочь погонщика верблюдов Али-заде, лицо ее с детства изуродовано оспой, горсть гороха бросишь ей в лицо — ни одна горошина назад не упадет. А посмотрела бы, какое у нее тело! Конечно, против твоего — день и ночь. Но бог дал ей такое тело! Ноги, грудь, шея, стан... И отец у нее богач. Так знаешь ли, парни друг другу дороги не уступают, сватаются наперебой!

Мехменэ Бану. Отец у нее, ты говоришь, богач?

Кормилица. Один караван в Индию отправляется, другой караван из Багдада прибывает. Но против твоей казны — это как капля в море. Ты — государыня! Целым царством владеешь! Какого мужчину, какого принца ты пожелаешь — он упадет к твоим ногам!

Мехменэ Бану. Ты говоришь точно как визирь... Но я сама вытянула из тебя эти слова! Боже мой! Что со мною?

Кормилица. Я что-нибудь не так сказала, госпожа?

Может, обидела тебя чем-нибудь, ласточка моя? Пусть бог меня за это покарает! Глупая я старуха. (*Плачет.*)

Мехменэ Бану. Не плачь... не плачь, няня. Ты ничего плохого не сказала. Я сама виновата. Не плачь. Не могу видеть слезы. Мне хочется броситься на землю, упрятать голову в колени и выть... выть...

Кормилица. Дитя мое!.. Ласточка моя... пусть я буду жертвой твоей! Не терзай себя. Дай ноженьки твои поцелую! Поймают их! Непременно поймают! Неразумно Ширин поступила... Старшие должны младших прощать... Ты Ферхада визирем сделаешь и тогда их обручишь! Свадьба покроет весь позор. Молиться будут за тебя! И как они подходят-то друг другу!

Мехменэ Бану. Они подходят друг другу?

Кормилица. Как парная черешня на ветке!

Входит визирь.

Визирь. Они здесь, госпожа.

Мехменэ Бану (*рассеянно*). Кто здесь?

Визирь. Ширин-султан и старший рисовальщик.

Мехменэ Бану. Сами пришли?

Визирь. Нет, госпожа. Их силой привели.

Мехменэ Бану. Немедленно доставьте их сюда.

Визирь. Да, госпожа, но...

Мехменэ Бану. Что? Говори! Да не тяни же!

Визирь. Рисовальщик ранен.

Мехменэ Бану. Ферхад ранен! Что ты говоришь!

Визирь. Но рана не опасна. Не тревожься. Царапина.

Мехменэ Бану. Но как могло это случиться? Ведь тебе было сказано...

Визирь. Помилуйте, госпожа... Когда мои воины окружили беглецов, маляр бросился на них. Никто не ожидал от него такой прыти. Этот дьявол сражался, как Залоглу Рустем. Ширин-султан сидела в седле, сзади него. И только, когда Ширин-султан упала с лошади, страже удалось его схватить.

Мехменэ Бану. Ширин ранена? Лицо... глаза не повредила?

Визирь. Нет, госпожа. Только колени немного поцарапаны. Ничего опасного. С ее лицом, с ее прекрасным лицом ничего не случилось! Так, значит, привести обоих? Так вы приказывали? Не лучше ль было бы принять их по отдельности?

Мехменэ Бану. Почему?

Визирь. Если спросить вашего покорного раба, так было бы удобней.

Мехменэ Бану. Хорошо. Приведи Ширин. Только скорее! Ну что же ты стоишь? Ступай!

Кормилица. Слава тебе господи!

Визирь уходит. Мехменэ Бану показывает кормилице на солнечный луч на стене.

Мехменэ Бану. Смотри на этот луч, кормилица...

Кормилица. Какой луч? Где?

Мехменэ Бану. Вот этот, видишь?

Кормилица. Это солнце заходит... Вот и блеснит...

Мехменэ Бану. Если хочешь — уходи...

Кормилица. Как изволишь.

Мехменэ Бану. Ступай, ступай.

Кормилица уходит. Мехменэ Бану как зачарованная смотрит на отражение солнца на стене. Кладет на стену руку. Свет падает на ее руку. Убирает руку и снова кладет. Входит Ширин, наблюдает за сестрой, лицо ее печально.

Ширин. Сестра!..

Мехменэ Бану (*поворачивается*). Ширин! Моя голубка! (*Подходит к ней, обнимает ее.*) Очень больно? Ты не ранена, скажи?

Ширин (*вырывается из объятий*). Нет... я не ранена.

Мехменэ Бану. А как колени? Быть может, надо лекаря позвать?

Ширин. Нет, нет, не надо, мне уже не больно.

Мехменэ Бану. Как я измучилась! Как я боялась!

Ширин. Прости, я так измучила тебя...

Мехменэ Бану. Оставь, ведь мы же сестры! Ты же знаешь, что я тебе как мать!

Ширин (*смотрит в упор на Мехменэ Бану*). Что ты с Ферхадом сделаешь? Скажи!

Мехменэ Бану. С Ферхадом что я сделаю?

Ширин. Да, с ним.

Мехменэ Бану. Но я еще не думала об этом... Не бойся. Я не в силах причинить ему страданье. (*Улыбается.*) Даже голову ему не отрублю... В темницу даже его не посажу...

Ширин. А что ты сделаешь? Что будет с ним? Со мною?

Мехменэ Бану. Как странно ты со мною говоришь. Как будто виновата я!

Ш и р и н. Прости... Но я не чувствую вины и за собой...

М е х м е н э Б а н у. Разве я сказала, что ты виновата?

Ш и р и н. Ах нет, сестра! Ведь мы не просто сестры — ты государыня. Мы не из дома твоего бежали, а из дворца, и государыня послала за нами всадников, чтоб беглецов схватили. Шей наши тоньше волоска.

М е х м е н э Б а н у. Нет, я тебе сестра, ты слышишь? Только сестра. И в час, когда погоню посылала, была не государыней — сестрой. Куда могла бы ты пойти, что стало бы с тобою? Об этом ты подумала, Ширин?

Ш и р и н. Об этом мы не думали...

М е х м е н э Б а н у. Но я не спрашиваю, думали ли вы? Я спрашиваю — ты об этом подумала?

Ш и р и н. Я отвечаю: мы не подумали. Отныне не я — мы думаем, сестра. Ферхад и я. Отныне не я дышу: Ферхад и я — мы дышим!

М е х м е н э Б а н у. Ширин! Уж ты не та! Как ты могла так быстро измениться!

Ш и р и н. Больше нет меня, сестра.

М е х м е н э Б а н у. Да, нет и вас...

Ш и р и н. Есть только он один.

М е х м е н э Б а н у. Как хорошо я это понимаю! Мне это состояние знакомо... Я знаю, как ты любишь... Знаю я, что это значит — любить.

Ш и р и н *(с отчаянием)*. Сестра!..

М е х м е н э Б а н у. Что с тобой?

Ш и р и н *(обнимает Мехменэ Бану)*. Сестра! Сестра! Конечно, ты умеешь любить, как никто... Вот я — эта неблагодарная, эта скверная девчонка — живой свидетель... Если я могла из твоего дома убежать, если я живу, то это только благодаря тебе!

М е х м е н э Б а н у *(вырывается из объятий Ширин)*. К чему ты это говоришь!

Ш и р и н. Ты отдала мне то, что ни одна женщина не могла бы отдать. Ты лучше всех нас умеешь любить!

М е х м е н э Б а н у. А разве ты не поступила б так же? Почему ты не отвечаешь? Но я уверена, ты сделала бы то же самое! Уверена! Ты сделала бы?.. Не правда ли?

Ш и р и н. Сестра! Если я не ответила тотчас же, то это потому, что я в таком состоянии, когда невозможно лгать... Внутри у меня так ясно, так похоже на весенний сад... Да, сестра, я поступила бы точно так же.

Некоторое время молчат.

Мехменэ Бану. Ты поступила бы точно так же... Поступила бы... А потом? Потом, встретив Ферхада, ты не пожалела б о своем поступке?

Ширин. Пстой, дай мне подумать. Какой вопрос ты задала... Не знаю! Не знаю...

Мехменэ Бану. А где же твоя «ясность», твой «весенний сад»? Ты же не можешь в эту минуту лгать! Подумай! Если бы ты не была так молода, так здорова, с таким прекрасным лицом... Если бы оно было таким же, как мое, и ты встретила бы Ферхада, разве ты не пожалела бы?

Ширин. Я... я пожалела бы, сестра! Пожалела бы... *(Садится, плачет.)*

Мехменэ Бану *(садится рядом с Ширин, гладит ее волосы)*. О чем ты плачешь?

Ширин. Я думаю о том, что ты жалеешь!

Мехменэ Бану. Я? Но я не встретила Ферхада.

Ширин. Я плачу потому, что обо всем этом я ни разу до сих пор не подумала. Я не думала о твоих муках. Я думала только о себе.

Мехменэ Бану. Не плачь... не плачь! Я не встретила Ферхада... Я не жалею. Но я не встретила Ферхада, и потому у меня в груди нет весны. Я могу лгать. *(Встает.)*

Ширин. Ты не можешь лгать, сестра!

Мехменэ Бану. Нет, могу. И еще как! Я стала совсем другая, Ширин. Мы жили с тобой так дружно, пока между нами не упала молния.

Ширин. Как странно ты говоришь...

Мехменэ Бану. Не странно, а как страшно! И еще, если бы ты знала, как страшно то, о чем я думаю...

Ширин. Сестра... О Ферхаде?

Мехменэ Бану. Не бойся. Я люблю так сильно, что не могу причинить ему вреда.

Ширин. Я знаю, ты любишь меня! Я без него... Нет меня, есть он.

Мехменэ Бану. Оставь меня, Ширин, ступай... Я должна говорить с Ферхадом. Я хочу говорить с ним с глазу на глаз.

Ширин. Но что же будет с нами?

Мехменэ Бану. Если послушать кормилицу, то надо вас обручить... Сорок дней, сорок ночей свадьбу играть...

Ширин. Сестра!..

Мехменэ Бану. Я сказала, если послушать кор-

милицу. Это она так считает, а не я. Все дело в том, насколько я умею любить...

Ш и р и н. Ты лучше всех на свете!

Мехменэ Бану. Ступай, ступай! *(Почти выталкивает Ширин в дверь, ведущую на женскую половину. Возвращается. Про себя.)* Я лучше всех на свете...

Входит визирь.

Ты нас подслушивал?!

Визирь. Да, госпожа.

Мехменэ Бану. Мне хочется что-нибудь разорвать, разбить, уничтожить... кровь пролить! Придется, кажется, твою кровь пролить!

Визирь. Как это было бы прекрасно, госпожа!

Мехменэ Бану. Приведи Ферхада.

Визирь. Остаться ли мне с вами, госпожа? Или вы хотите говорить наедине с маляром? Было бы лучше, если бы вы были вдвоем.

Мехменэ Бану. Нет. Пусть стражники войдут.

Визирь. Ваше желание — закон. *(Выходит.)*

Мехменэ Бану медленно подходит к трону. Садится. Входят четыре стражника, останавливаются у дверей. На сцене полумрак. В течение последующего действия постепенно наступает полная тьма. Входят визирь и Ферхад. Глаза всех мужчин, кроме визиря, опущены. Ферхад почтительно приближается к Мехменэ Бану и приветствует ее.

Мехменэ Бану. Как овцу из загона, ты похитил нашу сестру, Ферхад. Воинов за тобой послали, но ты не сдался.

Ферхад. Сдаваться не в моей привычке, госпожа.

Мехменэ Бану. Ты, оказывается, умеешь не только рисовать, но и сражаться.

Ферхад. Умею, госпожа.

Мехменэ Бану. Мы назначили тебя старшим рисовальщиком двора, но ни разу не видели твои рисунки.

Ферхад. Вы не видели мои рисунки? Разве вы не видели карниз дворца Ширин-султан?

Мехменэ Бану. Нет.

Ферхад. А я думал, за то вы меня и назначили главным рисовальщиком.

Мехменэ Бану. Подними голову, Ферхад. Смотри на меня! Огляди меня с головы до ног.

Ферхад поднимает голову и смотрит на Мехменэ Бану.

(Поднимает с лица покрывало. Зрители не видят ее лица.)
Я должна была бы убить тебя. Я должна была бы сказать тебе: «Выбирай себе казнь». Но никакая казнь не окупит тех страданий, которые ты причинил мне... нам... Мехменэ Бану, дочери шаха Селима... Позор, который покрыл наш дворец... Почему ты так странно смотришь на мое лицо?

Ферхад. Я хочу пасть на землю... Хочу поцеловать край твоей одежды... Я вижу тебя и горжусь, что я человек! То, что сделала ты, не может сделать ни ангел, ни дэв, ни дерево, ни птица. Только человек! Сердце мое наполняется безграничным уважением. Глаза мои...

Мехменэ Бану. Молчи! Довольно... Опустит глаза... Если еще раз увижу, что ты глядишь на мое лицо, я прикажу отрубить тебе голову. Рана твоя не опасна?

Ферхад. Нет, госпожа.

Мехменэ Бану. Ее лечили?

Ферхад. Да, госпожа. Твой главный лекарь.

Из открытых окон доносятся приглушенные душераздирающие стоны.

Мехменэ Бану *(визирю)*. Что это такое?

Визирь. Народ оплакивает своих покойников. Мор в городе свирепствует.

Мехменэ Бану. Закройте окна!

Визирь и двое стражников закрывают окна. Стоны больше не слышны.

Ты видишь, Ферхад? Не такой уж я хороший человек, чтобы целовать край моей одежды. Но и ты не отличаешься от меня. И тебе нет дела до людей, оплакивающих своих покойников. Ты не думаешь ни о ком, кроме своей Ширин. Хорошо, мы отдадим тебе Ширин, Ферхад-уста. Готов ли ты на ней жениться? Но что ты можешь предложить взамен? Можешь ли ты прорубить Железную гору? Прорубить и пустить воду в наш город? Не думай, что я предлагаю тебе сделать это, заботясь о нашем народе. Мне все равно, какую воду пьет народ. Я предлагаю это потому, что хочу знать — можешь ли ты это сделать, чтобы получить Ширин? Это мое условие! Принимаешь его?

Ферхад. Принимаю.

Мехменэ Бану. Может быть, пятнадцать, может быть, двадцать лет потребует эта работа. Двадцать лет!

Ферхад. Принимаю.

Мехменэ Бану. Может быть, Ширин не захочет так долго ждать?

Ферхад. Принимаю.

Мехменэ Бану. Пока не прорубишь гору, и мизинца Ширин не увидишь!

Ферхад. Принимаю.

Мехменэ Бану. Может быть, не окончив своей работы, ты умрешь.

Ферхад. Принимаю.

Пауза.

Мехменэ Бану (*поднимается с трона*). Хорошо. Иди. Идите все.

Ферхад, визирь и стражники уходят.

(*Садится на трон; съездившись, закрыв лицо руками, рыдает*). Ширин моя! Ферхад! Ферхад!

Занавес.



ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

ПРОЛОГ

Справа на авансцену выходит толпа народа. Это жители Арзена. У одних в руках факелы, у других — фонари. Слева на авансцену выходят Эшреф и Человек из Багдада. Останавливаются и смотрят на толпу.

1-й горожанин. Опоздали! Опоздали!

2-й горожанин. Еще час нам идти. Скоро солнце взойдет.

1-й горожанин. До восхода солнца не дойдем.

2-й горожанин. Не увидим его.

Человек из Багдада. Куда эта толпа направляется, Эшреф-уста?

Эшреф. К Железной горе. Ферхада хотят увидеть. Сегодня исполнилось десять лет, как он начал рубить гору.

Человек из Багдада. Эта весть дошла и до Багдада. Мы не верили. Выходит, это правда!

3-й горожанин (*своей жене*). Разве можно так мучить шестимесячного ребенка!

Женщина с ребенком (*мужу*). Ничего не делается без мучения. Пусть привыкает. Разве я мало мучилась, когда его рожала? Я ему Ферхада покажу!

3-й горожанин. Устала ты. Дай я мальчика понесу.

Женщина с ребенком. Нельзя, уронишь еще.

1-й горожанин. Опоздали! Опоздали!

2-й горожанин. Скоро солнце взойдет.

Человек из Багдада (*Эшрефу*). Значит, он встанет с солнцем, начинает работу и до захода солнца...

Эшреф. Да, до захода солнца трудится.

Человек из Багдада. Ну, а если этот народ, что идет посмотреть на Ферхада, не дойдет до восхода солнца до Железной горы?

Эшреф. Тогда они послушают гул его стопудовой Палицы. Представь себе, что десять тысяч человек поют, десять тысяч сазов играют,— вот какой это звук! Страшный, но необыкновенно прекрасный! Печальный, но рождающий надежду!

Человек маленького роста (*догоняет Человека высокого роста, тянет его за полу*). Постой, брат... И ты с ума спятил!

Человек высокого роста. Оставь, полу оторвешь!

Человек маленького роста. Этот темный народ не знает, что делает! Пророком сделали этого маляра!

Человек высокого роста. Да нет. Какой там пророк! Ни пророк, ни шайтан... Такой же, как ты и я, сын человека.

Человек маленького роста. Для собственной пользы старается, скотина! Упрямый как бык! Знаем, куда метит! Вбил себе в голову: женюсь на Ширин, буду зятем государыни! Вот и взялся гору рубить. Разве не глупец? Жадность застилает ему глаза! Разве такую гору можно прорубить?

Человек высокого роста (*Человеку маленького роста*). Говорю тебе, отпусти полу! (*Вырывает полу из рук.*) Знаю я тебя! Как только вода пойдет — первый ты с кувшином прибежишь!

Человек маленького роста. Какая вода? Десять лет ждем! Еще десять прождем и ничего не дождемся! А к тому времени, еще неизвестно, кто умрет, кто жив останется! Не верь ты этим бредням! Вернись назад.

Человек высокого роста отталкивает Человека маленького роста, смешивается с толпой. Человек маленького роста встает с земли, стряхивает с себя пыль, уходит.

Человек из Багдада. О Меджнуне мы слышали. Из-за любви к Лейле в пустыню ушел, стонал дни и ночи, грудь свою разбил о черные камни. Мы думали, что именно такой бывает любовник — с опущенной головой, со слезами на глазах... Но ваш Ферхад не плачет, не стонет.

Эшреф. Наш Ферхад стопудовой Палицей гору рубит, чтобы людям дать чистую воду.

Человек из Багдада. Необыкновенный человек! 1-я девушка. Неужели и сегодня не увижу его?

2-я девушка. Я видела... В прошлом году.

1-я девушка. Очень красив? И он тебя видел?

2-я девушка. Нас много было.

1-я девушка. Если бы увидел тебя, может, и Ширин свою забыл бы!

2-я девушка. А что, Ширин очень красива?

1-я девушка. Да уж красивей тебя.

Эшреф (*Человеку из Багдада*). Вот ты сейчас пойдешь по этой дороге, увидишь мечеть, там дом Али-заде. Передашь от меня поклон его сыну, и тебя там приютят.

Человек из Багдада. А ты?

К этому времени толпа ушла налево. Эшреф и Человек из Багдада на сцене одни.

Эшреф. Я иду к Ферхаду. Отец его, Бехзад-уста, десять лет не хотел его видеть. Никак не может простить Ферхаду, что тот забросил свое дело. И вот сегодня я уговорил старика, поведу его к сыну... Да и сам старик стосковался по нему! Мы поедем на лошадях, думаю, что до восхода солнца успеем. Ну ладно, прощай. С богом!

Человек из Багдада. погоди, я тоже с тобой поеду.

Эшреф. Едем, если хочешь. Бог даст, до восхода солнца успеем. Посмотришь на Ферхада.

Человек из Багдада. Я согласен хотя бы гул его Палицы послушать.

Уходят.

КАРТИНА ПЯТАЯ

Площадка на вершине Железной горы. Налево, в глубине,— вход в пещеру, где бурлит родник. Справа — деревья. Вдали на горизонте виден лес. На переднем плане одиннадцать тополей, посаженных в ряд, один другого меньше. Одиннадцатый тополь совсем крошечный. Сцена освещена лучами утренней зари. Ферхад, только что посадивший последний тополь, отряхивает с рук землю.

Ферхад. Одиннадцатый тополь посадил я... Одиннадцатый год пошел, как я здесь... Скоро солнце встанет! (*Гладит Маленький тополь.*) Холодно тебе? Дрожишь?

Маленький тополь. Холодно.

Ферхад. погоди, скоро согреешься! И часа не пройдет, как солнце встанет и согреет твои веточки.

Маленький тополь. Не знаю, согреюсь ли...

Ферхад. Ну полно, не капризничай. Согреешься! Вот

посмотри на своего старшего брата, я десять лет тому назад его посадил, смотри, какого он роста! А был такой же крохотный, как ты. Постой, дружище, с тобою занимаясь, забыл я поздороваться с друзьями! (*Берет свою Палицу, прислоненную к чинаре.*) Здравствуй, Палица моя!

П а л и ц а. Здравствуй, Ферхад!

Ф е р х а д (*втыкает ее в землю и стоит, опираясь на нее одной рукой*). Здравствуй, Железная гора! Здравствуй, мое жилище!

Ж е л е з н а я г о р а. Здравствуй, Ферхад!

Ф е р х а д. Здравствуй, Утренняя звезда! Все еще ви-
сишь, как колокольчик верблюда!

У т р е н н я я з в е з д а. Здравствуй, Ферхад!

Ф е р х а д. Здравствуйте, олени и косули!

О л е н и и к о с у л и. Здравствуй, Ферхад!

Ф е р х а д. Волк, ожидающий зимы, медведи, спящие в каштановых рощах, змеи, влюбленные в человеческое тело, все звери — лукавые и глупые, коварные и смелые, — насекомые, деревья, Оливковая ветка, Пшеничное зерно, Смеющийся гранат, Плачущая айва, здравствуйте.

В с е. Здравствуй, Ферхад.

Ф е р х а д. Здравствуйте, братья! Всем вам кланяюсь!

В с е. Здравствуй, брат наш! Здравствуй, Ферхад!

Ферхад снова прислоняет Палицу к чинаре. Садится под чинару. Соловей начинает петь.

Ф е р х а д. Друзья мои! Сегодня у меня на душе какая-то странная печаль. Не из таких, которые прилипают к сердцу человека, как муха, — она кисловатая, как яблоко, но со здоровой сердцевиной, без червотчины.

С о л о в е й. Влюблен ты, Ферхад-уста!

Ф е р х а д. Это известно. Да, слава богу, Соловей, я влюблен! Влюбленный влюбленного узнает по глазам. И ты узнал меня сразу, Соловей! Но ведь только вчера ты прилетел сюда.

Смеющийся гранат хохочет.

Смеющийся гранат! Над чем ты так смеешься?

С м е ю щ и й с я г р а н а т. Над тобой!

Плачущая айва всхлипывает.

Ф е р х а д. Плачущая айва! Над чем ты плачешь?

П л а ч у щ а я а й в а. Над тобой!

Ф е р х а д. А я не плачу над собой и не смеюсь. Я, слава богу, очень всем доволен. Вот только эта тихая печаль... Что ты скажешь на это, Утренняя звезда?

Утренняя звезда. Далеко твои мысли, Ферхад-уста. Вчера минуло десять лет, как ты не видишь Ширин, не слышишь ее голоса, не держишь ее руку...

Ферхад. Как мало я ее видел!

Утренняя звезда. Лицо ее ты помнишь?

Ферхад. Нет, не помню.

Утренняя звезда. Неужели забыл?

Ферхад. Не то чтобы забыл... Нет, тут другое... Не помню очертанья глаз ее, ее бровей и губ... Как ни стараюсь — не могу вообразить лицо Ширин. Оно во мне осталось, как белое сиянье, как твой свет, далекий, ясный. Нет, не так. Не так, как призрак и воображение, — как что-то теплое, что-то живое... Живое до мучений... Трепещущее... близкое, что ближе мне, чем собственная кожа. Оно во всем — в тебе, в чинаре этой, и в Палице моей, и в шуме ветра, и в лицах людей, которые приходят ко мне! Оно везде, во всем!

Железная гора. Вы, люди... Как странно вы любите!

Ферхад. Что ты сказала, Железная гора?

Железная гора. Я сказала, как вы странно любите, люди... Смотри на волка, смотри на птиц, смотри на медведей в каштановых рощах, смотри на зерно, смотри на землю... Они любят только своим телом. Только руками, губами и глазами. А вы... и сердцем своим, и воображением, и разумом.

Ферхад. Правду сказала ты, Железная гора. Особенно если возлюбленная далеко от наших глаз, от наших уст, от рук... Особенно если мы всем своим существом стремимся к ней!

Железная гора. Это и делает вас несчастными.

Ферхад. И счастливыми. Наша мечта — наша сила.

Смеющийся гранат хохочет. Плачущая айва плачет.

Ты только смеяться умеешь, Смеющийся гранат. А ты умеешь только плакать, Плачущая айва. Только плакать! А человек умеет и плакать и смеяться.

Железная гора. Эшреф-уста идет сюда!

Ферхад. Эшреф-уста? *(Встает.)* Где он? Ах, вот... *(Идет навстречу Эшрефу.)* Здравствуй, Эшреф! Добро пожаловать!

Эшреф. Привет тебе!

Обнимаются.

Ну-ка, догадайся, кого я тебе привел?

Ферхад. Ширин?

Эшреф. Нет, Ферхад-уста, возможно ли привести Ширин!

Ферхад. Кого же, в таком случае, ты привел? Неужели...

Эшреф. Догадался! Я привел Бехзада-уста, твоего отца.

Ферхад. Мой отец! Где он?

Входят Бехзад-уста и Человек из Багдада.

(Растерянно. Подходит к отцу, целует ему руку.) Отец!

Отец и сын молча смотрят друг на друга.

Бехзад. Что ты на меня уставился? Обними меня! Для того чтобы человека обняли, похитили и прорубили гору, надо быть обязательно Ширин-султан?

Ферхад *(обнимает отца)*. Отец!

Бехзад *(вырывается из объятий Ферхада)*. Постой, постой!.. Ты задушишь меня! С тех пор как ты оставил свое искусство и сделался каменотесом, руки твои стали, как железо. Такой мастер, как ты!.. Опять мне кровь в голову ударила!

Человек из Багдада. Здравствуй, Ферхад-уста!

Ферхад. Здравствуй, брат. Добро пожаловать.

Эшреф *(указывает на Человека из Багдада)*. Из Багдада он... Вчера прибыл в наш город. Хочет видеть, как мы здесь тюльпаны рисуем.

Бехзад. Слышишь ты, каменотес, люди из Багдада приходят смотреть на наши тюльпаны... А ты?..

Ферхад. Не присядешь ли, отец, ты, верно, устал?

Бехзад. Нет... Дай-ка взглянуть на твою стопудовую Палицу...

Ферхад приносит Палицу и кладет у ног отца.

Видно, штука тяжелая! *(Хочет поднять, но только с трудом двигает по земле.)* Да, и в самом деле стопудовая! Ну-ка, подними ты, посмотрим!

Ферхад поднимает Палицу.

Да... А я думал, что руке рисовальщика не подходит ничего, кроме кисти!

Ферхад опускает Палицу на землю.

Ну, а теперь посмотрим пещеру, где ты работаешь.

Ферхад. Пожалуйста.

Бехзад, Эшреф, Человек из Багдада вслед за Ферхадом идут к пещере.

Бехзад. Значит, через эту дыру тыходишь в нее? Ох, сынок, сынок!

Человек из Багдада и Эшреф заглядывают в пещеру и отходят.

Значит, тыпустишь воду в город? Тыуверен в этом?

Ферхад. Уверен, отец.

Бехзад. Народ верит тебе. Народ обмануть нельзя. Народ давно уже забыл, что ты начал рубить Железную гору для того, чтобы получить Ширин.

Ферхад. И я забыл.

Бехзад. Ширин?

Ферхад. Нет. Разве можно ее забыть? В моем сердце Ширин и вода соединились в одно. Я уже сам не знаю, почему я прорубаю эти скалы,— для того ли, чтобы соединить себя с Ширин или народ с водой...

Бехзад. Сколько лет еще тебе работать?

Ферхад. Самое малое десять лет.

Бехзад. Ну-ка, дай на тебя взглянуть... Лицо твое бледное. Ты солнца не видишь — оттого и бледный... Может, тебе лучше работать ночью, а днем отдыхать?

Ферхад. Такой уж я порядок установил, отец... Теперь его нарушить трудно...

Бехзад. Это верно... Менять порядок — дело не простое. Все же если бы ты по утрам немного позже начал работу или по вечерам немного раньше кончал ее... До того, как солнце зайдет... А то уж больно ты бледный, сынок...

Ферхад. Не присядешь ли, отец?

Бехзад. Что ж, присяду.

Ферхад и Бехзад садятся на траве друг против друга.

Мать каждый месяц приходила навещать тебя, правда ведь?

Ферхад. Приходила...

Бехзад. Тайком от меня. Но я знал об этом. Женщины — странный народ. Раз стала матерью — пиши пропало: никого больше для нее не существует, только ребенок. Умерла на моих руках... Но последнее слово было — Ферхад... Последний человек, кого она видела, был я, но меня она не видела. А видела тебя, хоть тебя не было около нее... Ты плачешь? *(Рукавом оттирает слезы со своих глаз.)* Ты когда-нибудь думал о смерти?

Ферхад. Думал, отец.

Бехзад. Страшно?

Ферхад. Нет, отец.

Бехзад. И мне не страшно. Но мука разлуки — самая страшная мука.

В это время Человек из Багдада и Эшреф, нагнувшись к земле, рассматривают травы.

Эшреф. Бехзад-уста!

Бехзад. Что такое?

Эшреф. Мне кажется, как будто я нашел...

Ферхад и Бехзад подходят к Эшрефу.

(Протягивает Бехзаду лист.) Посмотри на этот лист.

Ферхад (берет у Эшрефа второй лист). А для чего это?

Эшреф. Пусть Бехзад-уста скажет для чего.

Бехзад. Ты думаешь, ты гору для народа рубишь, а мы сидим сложа руки? У нас, сын, все рисовальщики, каменщики, все кузнецы, все медники одним делом заняты — двадцать четыре фонтана в городе строим...

Эшреф. Вода Железной горы будет бить из двадцати четырех фонтанов!

Бехзад. И все двадцать четыре будут из мрамора. Вот мы и пришли сегодня, чтобы тебе об этом сказать.

Эшреф. Самый большой фонтан будет на площади Чинар.

Бехзад. А орнамент будем рисовать мы вдвоем — Эшреф и я.

Эшреф. Я думаю, этот лист хорошо получится на зеркальном камне.

Ферхад (разглядывает лист, который держит в руках.) Этот лист... Нет, не подходит.

Эшреф. Тебе не нравится?

Ферхад (нагибается, чертит палкой на земле). Зеркальный камень фонтана будет поставлен так, не правда ли?

Эшреф. Так...

Ферхад. Если вы нарисуете листья по краям, вот так (рисует), видите, как нехорошо?

Человек из Багдада. Правда.

Эшреф. Постой, Ферхад...

Бехзад. Чего там постой! Ферхад прав! Некрасиво!

Эшреф. Мы же не будем рисовать лист, как он есть... Мы же будем его обрабатывать!

Ферхад. То есть так? *(Рисует.)* Или так? *(Рисует.)*
И так можно... *(Рисует.)*

Эшреф. Вот этот третий рисунок мне не приходил в голову.

Ферхад. Видите, не получается. Постойте... *(Встает, рассматривает траву вокруг пещеры, срывает один лист, возвращается.)* Вот! На зеркальном камне надо рисовать этот лист! *(Нагибается, рисует.)* Эту сторону надо немного удлинить *(рисует)*, а здесь — немного расширить. *(Рисует.)*

Человек из Багдада. Молодец! Клянусь богом, как красиво!

Бехзад. Ох, сынок... Опять мне кровь в голову ударила! Такой рисовальщик, как ты... За столько лет не забыл свое искусство!

Ферхад. Разве человек забудет свой родной язык, даже если годами не будет говорить на нем?.. Когда начнете работать?

Эшреф. Завтра на рассвете.

Бехзад. Пять-шесть лет пройдет, пока построим. А может, и больше...

Человек из Багдада. Время быстро летит.

Бехзад. И жизнь тоже... Ферхад, может быть, я не увижу, как вода потечет из родников. Мне все-таки семьдесят лет... Но я представляю себе, как это будет. Может быть, я и не закончу орнамент зеркального камня... Ну что ж? Эшреф закончит! Но я знаю, наш мраморный фонтан будет сверкать, как вода, и будет прекрасный и величественный, как вода!

Ферхад. Отец... Не смею сказать, каждый день у тебя ведь дела, но, может быть, раз в неделю ты будешь приходить ко мне?

Бехзад. Буду, буду, сынок. Какое у тебя лицо бледное! Может быть, как-нибудь ты сделаешь так, чтоб хоть чуточку солнце видеть... О господи... Ну ладно, мы пошли.

Ферхад. Остался бы еще немного, отец.

Бехзад. Нельзя, сынок. Нам пора. Сказал ведь, буду приходить каждую неделю. Ну, счастливо оставаться.

Ферхад целует руку отца.

Эшреф. Прощай, Ферхад.

Человек из Багдада. Счастливо оставаться, Ферхад-уста!

Ферхад. Я провожу вас. *(Идет к левому выходу.)*

Бехзад. Хоть ночами-то ты хорошо спишь?

Ф е р х а д. Сплю, отец.

Б е х з а д. Да, спать надо. Спокойно спать... Отдыхать надо...

Ф е р х а д. Отдыхаю, отец...

Все уходят. Некоторое время сцена остается пустой. Затем справа из-за холма выходит Ш и р и н, смотрит в сторону, куда ушел Ферхад, и прячется за деревом. Ф е р х а д возвращается, останавливается на середине сцены. Ширин берет камешек и бросает в Ферхада. Ферхад оглядывается. Ширин бросает еще один камешек, потом еще один. Ферхад догадывается, откуда летят камешки, идет к дереву. Из-за дерева выходит Ширин.

Ф е р х а д. Ширин!

Бросаются друг к другу, обнимаются.

(Берет Ширин за руки и смотрит в лицо.) Ширин! Ширин!

Ш и р и н. Ферхад!

Ф е р х а д. Как ты пришла? Ты убежала? Нет, нет, молчи... Не говори ни слова... Дай наглядеться на твое лицо!

Ш и р и н. Ферхад! *(Улыбается.)*

Ф е р х а д. Моя Ширин. О, как прекрасна твоя улыбка! Как луч солнца в воде...

Ширин смеется.

Как прекрасен твой смех! Как ветки яблони, колеблемые ветром, весенним ветром...

Ширин тихо плачет.

Отчего ты плачешь?

Ш и р и н. От радости! Ты видишь, мои слезы смеются...

Ф е р х а д. Расскажи, как ты пришла? Ширин! Моя голубка... Как пришла ты? Ты убежала? За тобой следят?

Ш и р и н. Нет, я пришла со стражею. Они за тем холмом остались ждать меня!

Ф е р х а д. Твоя сестра?

Ш и р и н. Здорова, слава богу! Она меня послала...

Ф е р х а д. Как?! Она тебя ко мне послала? Навсегда?

Ш и р и н. Я навсегда твоя!

Ф е р х а д. Моя Ширин! *(Обнимает Ширин.)* Отныне будешь ты всегда со мною... Со мною, на груди моей, так близко... так радостно, так живо... Ты моя! *(Выпускает Ширин, берет ее за руки, подводит к пещере.)* Хочешь, покажу тебе, где я работаю? Пстой, сначала Палицу мою я

покажу тебе. (*Показывает Палицу.*) Вот, видишь? Возьми за рукоятку!

Ш и р и н (*берет за рукоятку, но не может даже шевельнуть*). Какая тяжесть! (*Смотрит на обнаженные руки Ферхада*). Как мускулы твои раздулись! Когда меня ты обнял, мне казалось, что кости мои хрустнули... Ферхад, лицо твое немного побледнело, но эта бледность сделала тебя еще красивей.

Ф е р х а д. Ты знаешь, отец мой приходил ко мне... Переломил свое упрямство и пришел.

Ш и р и н. Я рада за тебя.

Ф е р х а д. Как я был рад, увидев старика! И ты пришла, Ширин! Тоска, разлука — все кончилось, все позади! Отныне каждый вечер мы будем вместе смотреть на звезды... Каждую зарю мы будем просыпаться рядом... Ширин моя! Ты — ночь моя, мой день!

Ш и р и н. Сядь здесь.

Ферхад садится, Ширин ложится на траву, кладет голову ему на колени.

Слушай меня и не перебивай. Я все, все должна рассказать тебе, с самого начала.

Ф е р х а д. Рассказывай, но только побыстрей. Мне не хочется думать о том, что было, — нет, только о том, что будет!

Ш и р и н. Слушай, слушай... Страшную вещь узнала я. Не верю, но не верить не могу. Как только вспоминаю, что сестра моя за эти десять лет все дальше от меня и дальше с каждым днем... Чужой становится... Она поставила еще одно условие.

Ф е р х а д. Условие? Какое? Говори же!

Ш и р и н. Три месяца тому назад визирь скончался.

Ф е р х а д. Я это слышал.

Ш и р и н. Накануне смерти визирь пришел ко мне. Я себе не представляла, что человек может быть так коварен, так злобен и так полон ненависти! «Ширин-султан, — сказал он, — я ненавижу тебя! Мои дни сочтены. Я знаю это. Но прежде чем умереть, я хочу сказать тебе несколько слов. Ты отняла у сестры не только ее красоту, но и любимого ею мужчину».

Ф е р х а д. Что ты сказала?

Ш и р и н. Так сказал визирь...

Ф е р х а д. Но это ложь!

Ш и р и н. Не знаю... Красоту ее я отняла...

Ф е р х а д. Она сама дала ее!

Ш и р и н. Порою я думаю — уж лучше бы она не жертвовала ею, лучше б я умерла!

Ф е р х а д. Ширин!

Ш и р и н. Подумай сам... У человека, чьей милостью живу я — и какой милостью! — отнять у этого человека, пусть даже невольно, его любовь, отнять тебя!

Ф е р х а д. Но это ложь!

Ш и р и н. А может быть, и правда...

Ф е р х а д. Пусть даже правда! В этом ни ты, ни я не виноваты!

Ш и р и н. А что от этого меняется? Ферхад! Всмотрись в лицо мое, да хорошенько. Ты видишь эти три морщинки? Две из них говорят о разлуке с тобою, третья появилась совсем недавно.

Ферхад целует Ширин в лоб.

Сестра была красивее меня.

Ф е р х а д. Нет! Ни одна красавица на свете не может быть красивее тебя!

Ш и р и н. Ох, если б умерла я! Она осталась бы красивой. Вы встретились бы... Правда? Отвечай! *(Встает.)* Нет, лгал визирь! Хочу счастливой быть!

Ф е р х а д. Мы будем счастливы... Да, я хотел показать тебе пещеру, где я работаю. *(Подводит Ширин к пещере.)* Вот видишь?

Ш и р и н. Как темно!.. Хочу забыть! Все, все хочу забыть — и эту тьму, и нашу десятилетнюю разлуку, и сестру мою. Идем!

Ф е р х а д. Куда?

Ш и р и н. Туда, где счастье... В наш дворец прекрасный, что ты разрисовал своей рукой. В наш сад, к тем яблоням, чье яблоко впервые я бросила тебе. Но что с тобой? И отчего так странно на меня ты смотришь?

Ф е р х а д. Скажи мне, что за новое условие придумала сестра твоя.

Ш и р и н. Она сказала мне: «Иди к Ферхаду, и если согласится он вернуться с тобой и бросить этот свой родник, я дам согласие на вашу свадьбу. Если ж он не примет этого условия, то все останется по-прежнему».

Ф е р х а д. Так вот оно, условие твоей сестры!

Ш и р и н. Какое же это условие? Условие! Как странно! Не правда ли? Но знаешь ли... по голосу ее, который я не слышала годами, мне показалось, что сестра моя как будто что-то затаила. Сказать: предательство? Язык не повернется! А хитрость? Нет! Она на это неспособна!

Месть?.. Ах, Ферхад, пойдем скорей! Я не хочу здесь оставаться ни минуты!

Ферхад. Тебе не нравится здесь?

Ширин. Это место разлуки нашей. А там — наш сад, наш сад, цветы которого похожи на твои рисунки. Всё лучше там, чем здесь!

Ферхад. Ширин!

Ширин. Как странно посмотрел ты на меня...

Ферхад. Ширин! Я десять лет рубил скалу, чтоб подвести в наш город воду. Вода должна пойти, она пойдет! Тогда не гной польется из фонтанов, а вода, сверкающая, как твои глаза, прекрасная, как руки твои, живая, как твое дыхание! Вода забьет из мраморных фонтанов.

Ширин. Что говоришь ты?

Ферхад. Наш народ не будет косить болезнь. Люди, собираясь на площадях, не будут больше плакать и стенать.

Ширин. Ферхад... Ты не идешь? Так, значит, ты меня не любишь больше?

Ферхад. Я никогда еще так сильно не любил тебя! За десять лет в пещере я продвинулся на сто аршин. Теперь передо мной лишь черная скала... Я прорублю ее, а там — вода!

Ширин. За сколько дней прорубишь? Отвечай же! За сколько месяцев? Молчишь? За сколько лет? Нет, нет... молчи...

Ферхад. Не плачь, не плачь, Ширин! И руки мне не связывай слезами! Дай мышцам силу радостью своей!

Ширин. Я не герой... Я только беспомощная женщина, которая желает соединиться со своим мужем. И ждет этого десять лет! Беспомощная женщина, которая понимает, что для нее не осталось места в сердце мужа.

Ферхад. Ты в моем сердце, в моих руках, в моих глазах!

Ширин. Я уйду.

Ферхад. Не уходи! Останься!

Ширин. Ты не идешь? Так, значит, снова годы глаза твои не прикоснутся к моим глазам, а руки твои к моим рукам... Ты не идешь? На лбу моем три маленьких морщинки. Но я еще красива. Наш дворец, твои орнаменты там ждут тебя, Ферхад! Ты не идешь?

Ферхад. Ширин!

Ширин. Ты не идешь?

Ферхад. В то время, когда люди мрут как мухи, ну можем ли с тобой мы во дворце быть счастливыми, пить

из серебряных кувшинов воду с Железной горы? Нет, надо, чтобы эта вода забила в мраморных фонтанах Арзена! И она забьет! Осталась только одна скала... Я прорублю ее!

Ш и р и н. Арзен ты любишь больше, чем меня!

Ф е р х а д. Но разве ты не из Арзена?

Ш и р и н. Пора идти мне. Поцелуй меня!

Ферхад целует Ширин.

Еще... Мы снова не увидимся годами... Морщинки на лбу моем опустятся до глаз... потом до губ... все ниже... я состарюсь... И наконец, когда тыпустишь воду в наш город и когда с тобой мы сможем соединиться... ты с жалостью посмотришь на меня!

Ф е р х а д. Ты для меня всегда...

Ш и р и н. Молчи! Я верю... Дай руку...

Ферхад протягивает руку, Ширин ее целует.

Оставайся с богом... Ферхад...

Ферхад хочет обнять Ширин.

Нет... Поцелуй меня в глаза...

Ферхад целует глаза Ширин.

В этой сказке каждый хоть что-нибудь да сделал... Я тоже сделаю — я буду ждать тебя, как узника — жена, как мать — солдата... До свиданья, Ферхад!

Ф е р х а д (*идет за ней*). Не уходи... Остайся здесь!

Ширин поспешными шагами удаляется и скрывается за холмом. Ферхад смотрит ей вслед. Потом взбегаёт на холм, смотрит в сторону Ширин.

Ширин! Ширин!

Появляется н а р о д. Восходит солнце.

Н а р о д. Здравствуй, Ферхад!

Ферхад оборачивается к народу.

Солнце восходит, Ферхад! Мы снова пришли к тебе слушать гул ударов твоих! Здравствуй, Ферхад!

Ф е р х а д. Здравствуйте, люди!

Ж е н щ и н а с р е б е н к о м. Я шестимесячного сына принесла, чтоб он тебя увидел, чтоб стал таким богатырем, как ты!

Ферхад. Какой я богатырь? Пусть сын твой лучше станет, чем я...

1-я девушка. Смотри в мои глаза, Ферхад-уста! Ведь говорят, что человек, в глаза которого ты взглянешь, получит все, чего желает.

Народ. Ферхад, взгляни — восходит Солнце!

Ферхад. Здравствуй, Солнце!

Солнце. Здравствуй, Ферхад!

Ферхад. Готова ли ты, Палица моя?

Палица. Готова я, Ферхад, жду рук твоих!

Ферхад. А ты, Вода за Черной скалой, слышишь ли голос мой?

Вода (*издалека*). Слы-ы-шу-у, Ферхад...

Ферхад. А ты готова ль, Черная скала? Готова ли?

Черная скала. Готова я, Ферхад! Иди сюда. Поборемся! Пора!

Ферхад берет Палицу, входит в пещеру, и спустя некоторое время раздается гул его ударов, все сильнее и сильнее.

Женщина с ребенком. Слушай, сынок, этот гул! Слушай, сынок!

Народ. Бей Черную скалу, Ферхад, бей! Вода Железной горы, брызни скорей! В наши кувшины лейся полней! Бей, Ферхад, бей!

За павес

1948



ЧУДАК

Пьеса в трех действиях с прологом

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

А х м е д Р ы з а, адвокат, лет 35.

Р е д ж е б - б е й, крупный коммерсант, лет 55.

А й т э н, его дочь, молодая девушка.

Н и х а л ь — его племянница, молодая красивая женщина.

А б д у р а х м а н, инженер, лет 30.

Н е д ж м и, писатель, лет 35.

И с м а и л, доцент университета, лет 40.

С е л и м, рабочий, лет 40.

О р х а н, хозяин кабачка.

А л и, официант, лет 20.

А л е к с а н д р, русский эмигрант, лет 50.

Х у с е й н, негодяй с приветливым лицом, лет 50.

И з з е т, сапожник, лет 45.

Т е в ф и к, столяр, лет 30.

Н у р и
Х а л и д } бандиты.

З е х р а, молодая женщина с еще красивым, но усталым лицом.

К я м и л ь, художник.

А г е н т п о л и ц и и.

П о с е т и т е л и к о ф е й н и.

Действие происходит в Стамбуле в наши дни.



ПРОЛОГ

Действие происходит перед закрытым занавесом, без декораций. Посреди авансцены лежит большой белый камень. Возле камня стоит Селим.

Селим (*про себя*). Камень посреди дороги, не наскочил бы кто. (*Приближается к камню. Поднимает камень, оглядывается.*) Куда бы его? Сюда, что ли? (*Относит камень в сторону.*)

Входит Хусейн.

(*Проходя мимо Хусейна, про себя.*) Какой симпатичный человек! (*Уходит.*)

Хусейн (*глядит вслед Селиму, про себя*). Связать бы разбойнику руки. Срезать усы под корень. (*Замечает камень.*) Это еще что? Положить бы его посреди дороги. (*Приближается к камню.*) А что, если увидят? (*Оглядывается вокруг. Поднимает камень, кладет на середину.*) Как это по-французски? Камуфляж. Если бы можно было его замаскировать... (*Улыбается.*)

Входит Абдурахман.

(*Проходит мимо Абдурахмана, останавливается. Смотрит на него. Про себя.*) Сейчас споткнется... (*Уходит.*)

Абдурахман (*замечает камень, про себя*). Черт побери этот муниципалитет. Громадные камни валяются прямо посреди дороги. Неужели мусорщики не заглядывают на эту улицу? А их ли это дело? Но если не их, то чье же? (*Уходит.*)

Входит Неджми. Насвистывает. Спотыкается о камень.

Неджми. А, черт! (*Уходит.*)

Появляется Реджеб. Подходит к камню, ставит на него погу, завязывает шнурок на ботинке, идет дальше. Входят Айтэн, Ахмед, Нихаль.

Айтэн. Папа, опять ты бежишь!..

Реджеб. Должен же я, дочка, растрясти жирок.

Нихаль. Но вы не должны переутомлять свое сердце, дядюшка.

Реджеб. Хорошо, хорошо... Вот я уже иду медленно... (*Уходит.*)

Ахмед (*Нихаль.*) Осторожнее, Нихаль-ханым...

Нихаль. Что такое?

Ахмед. Не споткнитесь о камень... (*Убирает камень с дороги.*)

Слышны звуки рояля.

Я заметил, Айтэн, каждое воскресенье, когда я у вас бываю, на одной из дач кто-то без конца выводит эту гамму.

Айтэн. Да это Айше, дочь новоиспеченного богача... Разве вы не заметили, как она всегда глазеет на вас?

Ахмед. Не заметил.

Все уходят. Игра на рояле продолжается.

Голос Айтэн (*с ужасом*). Папа... папа!

Голос Нихаль (*с ужасом*). Дядюшка!

Голос Ахмеда. Прыгайте в канаву!

Голоса Айтэн и Нихаль (*вместе*). Дядюшка!.. Отец!.. Ахмед!..

Раздается выстрел, за ним другой.

Голоса девочек. Аааааа...

Еще некоторое время доносятся звуки рояля, затем замолкают.



ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

Просто, но со вкусом обставленная комната, служащая одновременно рабочим кабинетом, гостиной и столовой. На сцене А х м е д и А б д у р а х м а н. Правая рука Ахмеда на перевязи.

А х м е д (*продолжая рассказывать*). Я же сказал: впереди Реджеб-бей, потом Нихаль, Айтэн, за ней я,— все завернули за угол... Там на перекрестке есть полицейская будка...

А б д у р а х м а н. Она с прошлого года стояла с некрашенной крышей. Сейчас покрасили.

А х м е д. Не заметил.

А б д у р а х м а н. А я все прикидываю. Ведь примерно за четверть часа до происшествия я тоже проходил там. Что ж потом?

А х м е д. Потом у этой самой будки...

А б д у р а х м а н. Айтэн твою я мельком видел в прошлом году, когда приезжал в Стамбул. На балу у журналистов. Кстати, почему тебя там не было? Айтэн— красивая девушка. Дальше?

А х м е д. Дальше, я же говорю, там, у полицейской будки...

А б д у р а х м а н. Реджеб-бей миллионер, черт его подери!.. Дочка к тебе, так сказать, равнодушна. Видишь, от меня ничего не скроется. Потом?

А х м е д. Что потом?

А б д у р а х м а н. Ты же рассказывал, у полицейской будки...

Из передней доносится звонок, Ахмед собирается пойти открыть дверь.

Стой, я сам открою. (*Уходит.*)

А х м е д (*поглаживает правую руку. Про себя*). Болит... Говорят, еще несколько дней будет болеть. Мог ли я умереть? Не знаю... Не думал об этом. А, пустяки! Чего

там! Я и через полчаса могу умереть. Вот пойду в больницу и по дороге попаду под автомобиль... Болит... Кто это пришел?

Входят Абдурахман и Неджми. Неджми не снимает шляпы. Чем-то взволнован.

Неджми (*Ахмеду*). Что это? С лестницы упал, что ли?

Ахмед. Нет, что ты... Познакомься. Абдурахман Ярдымджи.

Неджми. Очень приятно. (*Кланяется*). Неджми Ялынкылыч, романист. Вы, надо полагать, слышали мое имя?

Абдурахман. Ей-богу, по правде говоря, я литературой, так сказать, романами, стихами и тому подобным...

Неджми. Ясно. (*Ахмеду*.) Я получил твое письмо и рукопись. Ты доволен, что подложил мне свинью?

Ахмед (*с улыбкой*). Неджми, дорогой, о чем ты говоришь? Никакой свиньи я тебе не подкладывал!

Неджми. Мне казалось, что со мной ты перестаешь быть адвокатом и оставляешь свои профессиональные привычки.

Ахмед. Послушай...

Неджми. Ты мог высказаться откровенно. Сказал бы прямо: Неджми, я хочу воспользоваться твоей известностью, твоим опытом и поживиться за твой счет.

Ахмед. Ты с ума сошел! Что ты говоришь?

Неджми. Сколько процентов ты выдал мне из того, что получил за первую книгу?

Ахмед (*внезапно, с гневом*). Если ты не перестанешь, мы поссоримся... Это какой-то бред!

Абдурахман (*протягивает Неджми сигареты*). Курите?

Неджми. Нет... Впрочем, дайте. (*Берет сигарету, закуривает и тут же ее бросает*.) Почему ты не сказал, что переводил я? Боишься, не так ли? Боишься, что сني поручат все дело мне?

Ахмед (*смягчаясь*). Ты нервничаешь.

Неджми. Я уйду. Но я потребую свои деньги... Будьте здоровы. (*Уходит*.)

Ахмед. С ума сошел! Что он говорит? А ведь хороший парень... Что же он, думает, что я мошенник?

Абдурахман. А в чем дело?

Ахмед. Пришел как-то ко мне, говорит: «голодаю». Попросил денег. Денег у меня не было, но я тогда пере-

водил под псевдонимом для издателя Рефика детективные романы. Эту работу я и передал Неджми.

Абдурахман. Свой, так сказать, кровный заработок... Чего ради?

Ахмед. Он больше меня пуждался. Дело в том, что Неджми человек способный, но ленивый. С некоторых пор издатели перестали давать ему работу. Вот я и отдал ему свою, разумеется, без их ведома! Первый раз он перевел хорошо. Второй раз, я, не читая, отдал перевод издателю. Через три дня присылают обратно. Читаю — черт знает что такое! Вот я и возвратил рукопись Неджми.

Абдурахман. Вижу, ты все такой же чудак. Бывало, и в лицее другим писал шпаргалки, а сам проваливался.

Ахмед. Один раз, кстати, из-за тебя. Помнишь?

Абдурахман. Помню... Так на чем ты остановился? Вы подошли, так сказать, к полицейской будке...

Из передней доносится звонок.

Я открою. *(Уходит.)*

Ахмед *(про себя)*. Кто бы это мог быть? Рассердиться на этого помешанного Неджми или пожалеть его? Кажется, я начинаю сердиться. Хватит его баловать.

Входят Абдурахман и Неджми.

Неджми. Прости, я погорячился... не сердись!

Ахмед. Что ты, пустяки! Я и не думаю сердиться!

Неджми *(кладет на стол пачку бумаг)*. Вот рукопись. Все исправил. Отдай издателю. Ты знаешь, брат, в каком я тяжелом положении. *(Абдурахману.)* Вы угостите меня сигаретой?

Абдурахман. Пожалуйста!

Неджми. Забыл где-то свою пачку... *(Ахмеду.)* Показал доктору руку? Обязательно покажи... Падать с лестницы иногда очень опасно. Через три дня я зайду. Ты на меня не сердись... *(Абдурахману.)* Мы, художники, вспыльчивый народ. *(Ахмеду.)* Помирились, ведь правда? Не думай, что я неблагодарный. Я никогда не забуду того, что ты сделал для меня. Обними меня.

Ахмед *(смущен)*. Одной рукой это будет трудновато сделать.

Неджми *(обнимает)*. Ахмед, брат мой!.. *(Абдурахману.)* А вам мой совет, бейэфенди, иногда и романы читайте. Голова светлее станет... *(Уходит.)*

Абдурахман. Вот нахал, черт его побери! Как ты думаешь поступить?

Ахмед. Если он действительно исправил, пойду извинюсь и попрошу прочитать снова. Парень в самом деле очень нуждается.

Абдурахман. Ну, черт с ним! Дальше? Вы пришли туда, к полицейской будке... (*Улыбается.*)

Ахмед. Ты что?

Абдурахман. Скоро ты станешь мужем очаровательной особы, единственной наследницы миллионера.

Ахмед. Откуда ты взял?

Абдурахман. Хорошо, хорошо, хорошо! Я тебя понимаю. Об этом молчу. Знаешь, у меня к тебе, так сказать, просьба. Я изобрел одну вещь. И вот хотел, чтобы ты помог мне, так сказать, оформить патент.

Ахмед. Что же ты изобрел?

Из передней доносится звонок.

Абдурахман. Иди сам. Наверно, этот нахал вернулся.

Ахмед уходит.

(*Про себя.*) Ай да Ахмед! Чудак-то чудак, а угодил в яблочко. Молодец! Умей рисковать, иначе не проживешь! А нам здесь что-нибудь перепадет? Чего-то левый глаз чешется... К добру!.. Дай-то бог. Но этот Неджми хорош, черт его побери!

Реджеб (*из-за двери*). Что значит беспокойство? Я тебе жизнью обязан.

Ахмед. Ей-богу, бейэфенди...

Реджеб замечает Абдурахмана, кланяется.

(*Представляя Абдурахмана.*) Абдурахман Ярдымджы. Реджеб-бей.

Реджеб. Почту за честь...

Абдурахман. Нет, это вашего покорного слугу удостоили чести, бейэфенди. Я сразу узнал ваше превосходительство. Вы очень похожи на ваши портреты, разве что выглядите гораздо, так сказать, моложе...

Реджеб. Да нет, друг мой, какое там! (*Ахмеду.*) Айтэн и Нихаль сейчас приедут. Как рука, очень болит? С твоего разрешения, я позвоню в контору.

Ахмед. Пожалуйста, прошу вас.

Реджеб (*подходит к телефону, поднимает трубку, набирает номер, продолжая говорить с Ахмедом*). Ты бы

приехал к нам на дачу отдохнуть хоть на недельку. *(В трубку.)* Алло, это ты, Шинаси?.. Позови-ка мне секретаря... *(Ахмеду.)* Ну и собачища же была... не собака, а людоед... *(Абдурахману.)* Вам ведь известна эта история? Не успел я дойти до пляжа, из-за полицейской будки... *(В трубку.)* Ферида, девочка, как там векселя, передали в банк?.. Прекрасно. Американской фирме ответ отправлен?.. Прекрасно. О продаже аэродрома что-нибудь известно? Отлично. Дай-ка мне Эшрефа... *(Ахмеду.)* Тебе я обязан жизнью. *(Абдурахману.)* Из-за будки она выскочила, эта собака, или еще откуда, я не заметил... Огромный рыжий пес. *(Ахмеду.)* Так говоришь, бешеный? *(Абдурахману.)* Бежит прямо на меня. Ахмед кричит, я — в канаву. В это время Ахмед и схватился с ним... Жизнью своей обязан я тебе, Ахмед-бей, жизнью... *(Абдурахману.)* Тем временем, бейэфенди... *(Ахмеду.)* Собака, кажется, была бешеная? Наверняка бешеная, слюна так и бежала. *(В трубку.)* Эшреф, я сейчас у адвоката Ахмеда-бея, через полчаса буду. Свяжись с министром торговли, пусть позвонит мне. Что, что? Депутат от Сиваса? Деньги небось пришел просить! Гони! А впрочем... Пусть подождет. Скажи архитектору, Айтэн сегодня придет смотреть строительство гостиницы. *(Кладет трубку. Абдурахману.)* Прежде я боялся моей покойной госпожи, а теперь боюсь дочери. Если она сегодня увидит там, на строительстве, что-нибудь пеладное, мы с архитектором пропали. Да, что я говорю? Ах да, вижу, Ахмед-бей борется с собакой. *(Ахмеду.)* Значит, бешеная? От какой беды спаслись мы с тобой! *(Абдурахману.)* В это время, бейэфенди, слышу выстрел, за ним другой. Из будки подоспел полицейский и двумя выстрелами уложил зверя. *(Ахмеду.)* Но ведь собака могла перегрызть тебе горло. Наконец, пули могли тебя задеть.

А х м е д. И горло цело, и пули не задели.

Р е д ж е б. Могли задеть. Знаю я наших полицейских — метят в вора, а попадают в хозяина. Я позвонил начальнику полиции, он представит того малого в комиссары. Укусить-то меня собака не укусила, но ведь слюна могла и на меня напасть. Может, и мне сделать прививку, как думаешь? Бешеная, значит, говоришь?

А х м е д. Сегодня будет точно известно.

Р е д ж е б. Знаю, я тоже звонил туда, и не один раз, но на всякий случай проверяю: не говорят ли они мне одно, а тебе другое. Вчера ведь тебе сделали укол? Может, и мне сделать, как думаешь? Это очень больно? Вот бессо-

вестный этот наш сосед по даче Сулейман... Сегодня утром приходит со своими поздравлениями. Я ему рассказываю о твоём подвиге, а он говорит, если бы не Пастер со своей прививкой, господин адвокат не стал бы бросаться на собаку... Что ты на это скажешь? Если б это случилось до Пастера и ты, допустим, знал, что собака бешеная, все равно бросился бы спасать меня?

Ахмед. В тот момент я не успел подумать ни о Пастере, ни о бешенстве.

Реджеб. А если бы успел? Я, к примеру, наверняка бы подумал. Не пойми меня превратно, я говорю это не для того, чтобы умалить твою заслугу. А что, если слюна бешеной собаки попадет на кожу, человек может заразиться? Не может? Опять мне на ум приходит этот бесовский Сулейман со своими рассуждениями. Вы что, враги с ним? Если б, говорит, он увидел, что человек тонет в реке, а на мосту, кроме него, никого нет, и плавать он не умеет, бросился бы он в реку?

Абдурахман *(теряя терпение)*. Чтобы вместо одного утонули двое? *(Сдержанно.)* Однако, бейэфенди, я уверен, что если бы опасность утонуть грозила вашему превосходительству, Ахмед, даже не умея плавать, все равно без колебаний бросился бы в реку.

Реджеб. Возможно. Это Сулейман мутит воду, как будто находит в этом удовольствие. А пропади он пропадом со своим Пастером! Послушай меня, Ахмед-бей, сын мой. Адвокат Шекиб, у которого ты работаешь, человек почитаемый, профессор... Однако тебе давно пора начать самостоятельное дело.

Абдурахман. Совершенно верно, бейэфенди, сама мудрость, так сказать, говорит вашими устами.

Ахмед. Но чтобы начать самостоятельное дело, открыть свою контору, необходимы средства.

Реджеб. Я тебе их дам.

Ахмед. Но...

Реджеб. Ну, что еще?

Абдурахман. Ахмед просто растерялся, бейэфенди, и не знает, как ответить на это ваше, так сказать, отеческое предложение.

Ахмед. Я вам весьма признателен. Если я вас правильно понял, вы хотите ссудить меня деньгами. Однако я не смогу вернуть этот долг.

Реджеб. Будто я разорюсь, если ты не сможешь расплатиться. Будешь работать и прекрасно со мной расплатишься, скажем, в течение пяти или шести лет!

А х м е д. Вы слишком добры.

Р е д ж е б. Двадцать докторов, один из них профессор, консультировали меня по поводу этой собачьей слюны. Говорят, если нет никаких ссадин или царапин и слюна не попала в кровь... (*Протягивает правую руку.*) Это можно считать ссадиной?

А б д у р а х м а н (*рассматривает руку*). Это, бейэфенди? Ни в коем случае!

Р е д ж е б (*Ахмеду*). Стало быть, по рукам? Контору откроешь у меня. За аренду назначу половинную плату. Мебель подберете вместе с Айтэн. Потом в качестве оборотного капитала...

А х м е д. Я не могу принять это, Реджеб-бей.

Р е д ж е б. Неужели я не обязан отблагодарить тебя даже таким пустяком?

А х м е д. Если вы считаете это обязательством...

Р е д ж е б. А? (*Смеется.*) Ты об этом? Об этом я тоже подумал! (*Абдурахману.*) Вы умеете готовить кофе, сын мой?

А б д у р а х м а н. Что за вопрос, бейэфенди! Я родом из Измира. Вам с сахаром или без?

Р е д ж е б. С сахаром.

Абдурахман уходит.

О чем, бишь, мы? Непременно, непременно считаю обязательным отблагодарить тебя. И Айтэн так считает. Ясно? И Айтэн.

А х м е д. Но вы своим сегодняшним визитом уже отблагодарили меня.

Р е д ж е б. Ладно, ладно. Хватит рассыпаться в любезностях и давай-ка выкладывай, что у тебя там на душе. Ну, что? Только покороче. Пророк предсказал, Аллах приказал. Айтэн согласна, отдаю ее за тебя.

А х м е д. Простите...

Р е д ж е б. Айтэн не нуждается в богатом муже. Знаю, что ты ей нравишься. И мы были в свое время молоды! Тоже любили. Да и для моей конторы, то есть мне, нужен такой, как ты, честный и трудолюбивый зять.

А х м е д. Дорогой Реджеб-бей...

Р е д ж е б (*протягивает руку*). А ну, целуй руку будущему тестю! Ведь это действительно нельзя считать ссадиной, верно?

Телефонный звонок.

А х м е д *(берет трубку)*. Да, здесь. *(Протягивает трубку Реджебу.)*

Р е д ж е б *(в трубку)*. Что? Председатель меджлиса? О, господи! Я и так уж наладил для их партии газету, типографию, кучу деньжищ роздал их шакалам, что ему еще от меня надо?.. Нет, в это дело я не вложу ни гроша! Ответь ему повежливее... Найди мне доктора Кемильбея... Пусть придет в контору... *(Кладет трубку.)*

А х м е д. Я отрываю вас от важных дел.

Р е д ж е б. Ничего. Значит, так: о сроках свадьбы и о всем прочем договоритесь с Айтэн. Будь я на твоём месте, я совершил бы свадебное путешествие. Съездил бы в Америку, в Европу или в Японию. Все заботы я беру на себя: билеты, номера в самых лучших отелях. Потом, тебе нужен автомобиль. Какую марку ты предпочитаешь? Скажу тебе по секрету: приданое Айтэн составляет полмиллиона. Ты знаешь, она моя единственная наследница. Но наследство вы получите не так скоро. *(Смеется.)* Я рассчитываю пожить еще лет двадцать пять. *(Озабоченно.)* Если, конечно, эта бешеная собака не помешает. Вот так, дорогой зятек. Я выдаю за тебя самую прекрасную девушку на свете. Говорят, яхт-клуб продает эту белоснежную яхту «Чайка». Куплю ее для вас. Ты ведь любишь море.

А х м е д. Реджеб-бей, дорогой, мы с Айтэн друзья, очень близкие друзья. Но жениться на ней я не думал...

Р е д ж е б *(растерянно, затем с гневом)*. Что? Может, я ослышался? Ты отказываешься от Айтэн? Странно! Весьма странно! *(Пауза.)* Ладно. Пусть будет так. Я дам тебе без всяких там векселей-мекселей пятнадцать тысяч лир, и делай с ними, что хочешь.

А х м е д. Да вы и так уже... Прошу вас, не будем говорить об этом.

Р е д ж е б. Ты меня просто оскорбляешь, отказываясь от всего! Я не люблю, чтобы мне оказывали услуги бесплатно.

Входит А б д у р а х м а н.

А б д у р а х м а н *(протягивая кофе)*. Извольте, бей-эфенди. Мне сдается, бейэфенди, что нашему Ахмеду следует отказаться от ведения уголовных дел, перейти, так сказать, к гражданским.

Р е д ж е б. Чем вы занимаетесь?

А б д у р а х м а н. Я инженер. Окончил высшее техническое училище.

Р е д ж е б *(равнодушно)*. Прекрасно.

А б д у р а х м а н. Но предпочитаю заниматься комиссионным делом и торговлей, так сказать, мелкой торговлей.

Р е д ж е б *(равнодушно)*. Прекрасно.

А х м е д *(Реджебу)*. Ваш кофе остынет.

Р е д ж е б. Я пить не буду. Мне пора. *(Собирается уходить.)*

А б д у р а х м а н *(внезапно приняв какое-то решение)*. Бейэфенди!..

Р е д ж е б *(недовольно)*. В чем дело?

А б д у р а х м а н. Я изобрел одну вещь, сделал, так сказать, открытие.

Р е д ж е б *(равнодушно)*. Прекрасно, поздравляю.

А б д у р а х м а н. Я уверен, что вы заинтересуетесь моим изобретением!

Р е д ж е б. Почему вы так думаете?

А б д у р а х м а н. Ваш торговый гений, значение, которое вы придаете организации торгового дела, его, так сказать, психологии, известно всему миру. Я самым внимательным образом следил, так сказать, за теми новшествами, которыми ваше превосходительство одарило деловые круги нашей страны...

Р е д ж е б. Поскольку вы инженер, надо полагать, вы изобрели какую-нибудь новую машину?

А б д у р а х м а н. Мое изобретение можно назвать своего рода механизмом. Это, бейэфенди, прибор, предназначенный, так сказать, для удовлетворения насущных потребностей, к примеру, в хлебе или воде. Насколько простой, настолько, так сказать, и общедоступный... Одну минутку! *(Берет с письменного стола длинный рулон бумаги, разворачивает так, что изображение прибора становится видно зрителям)*. Вам первому предстоит увидеть это. Даже Ахмед еще не видел.

Р е д ж е б. Что это?

А б д у р а х м а н. Схема, бейэфенди, так сказать, план. Вот он — маникюрин!

Р е д ж е б. Для чего это?

А б д у р а х м а н. Делать маникюр.

Р е д ж е б. Не ясно.

А б д у р а х м а н. Женщина, бейэфенди, сжимает этот прибор в руке, причем пальцы опираются об эти, так сказать, выемки. Дрожание рук устраняется, и она спокойно, не подвергаясь никакой опасности, делает маникюр.

А х м е д. Как же эта штука поместится в руке? Слишком уж велика.

А б д у р а х м а н. Так здесь же в увеличенном масштабе! Увеличено в двадцать пять раз.

А х м е д. Зачем?

А б д у р а х м а н. Как зачем? Чтобы удобнее было разобратся, так сказать, в деталях.

Р е д ж е б. Понятно. Из какого материала будет изготавливаться?

А б д у р а х м а н. Из пластмассы. Из цветной пластмассы. Для блондинок, так сказать, из розовой, для брюнеток из зеленой, для шатенок из красной. Себестоимость — пятьдесят курушей. Продавать же будем преспокойно по двести пятьдесят за штуку.

А х м е д. А кто будет покупать?

А б д у р а х м а н. Все женщины, которые делают маникюр. Иначе и быть не может! В Анкаре, Измире, Стамбуле по радио три раза в день будут передавать: «Обручальные кольца идут лишь тем, у кого красивые руки. Красоту ваших рук обеспечивает маникюр. Красоту вашего маникюра вы можете обеспечить только при помощи маникюрина»...

Р е д ж е б. Недурно.

А б д у р а х м а н. Или: «Женщины всего мира пользуются маникюрином!»

А х м е д. Ну и хватил!

А б д у р а х м а н. Реклама в газетах: «Женщина без маникюра все равно что женщина без нейлона». Или — представьте себе, бейэфенди, — на улицах и на площадях рекламы: на них огромный женский палец, предпочтительно средний. Ноготь изуродован... Брызжет, так сказать, кровь. А внизу всего одна строка: «Это потому, что маникюр она делала без маникюрина». Или другой рисунок: на больничной койке, вытянувшись, лежит красивая женщина. Бледная, как покойник. Печальная, как молодая вдова! У нее, так сказать, заражение крови. Ей угрожает смерть! Надпись: «Чтобы не умереть, покупайте маникюрин!» Или, например... *(Поет на мотив испанской песенки.)*

Если вы еще девица,
Жениха себе добиться.
Вам поможет лишь один
Маникюрин, маникюрин!

Если вы уже супруга,
Убережь милого друга

Вам поможет лишь один
Маникюрин, маникюрин!

Или еще...

Р е д ж е б. Достаточно.

А б д у р а х м а н. Кроме того, продажу маникюрина в богатых, да и в бедных кварталах Стамбула можно обеспечить при помощи системы современной лоточной торговли. Представьте себе, бейэфенди, молодые люди — лоточники, один, так сказать, симпатичнее другого... А кино-реклама! Как вы думаете, бейэфенди, в течение года в Стамбуле, Измире, Анкаре, Адане, только в этих четырех городах, сколько продадим?

Р е д ж е б. Порядочно.

А б д у р а х м а н. Себестоимость — пятьдесят, реклама, организационные расходы, упаковка, роскошная упаковка — все это на каждую штуку маникюрина обойдется в двадцать пять курушей, следовательно, себестоимость в общем составит семьдесят пять. С каждой штуки чистой прибыли...

Р е д ж е б. Сто пятьдесят — сто семьдесят пять.

А б д у р а х м а н. Значит?..

Р е д ж е б. Недурно.

А б д у р а х м а н. Значит?..

Р е д ж е б. Завтра. Нет, лучше во вторник, приходите ко мне в контору. Но я пока ничего не обещаю.

А б д у р а х м а н. Понимаю, бейэфенди.

Р е д ж е б (*Ахмеду*). Не сердись, но... Есть тут и ваша вина, Ахмед-бей, сын мой. Вчера больше всех вам хотелось идти на пляж. Не пошли бы мы туда, ничего бы не случилось. Прошу извинить. Что суждено, того не миновать. Тысяч пятнадцать... тысяч десять могу дать. А пока, с вашего разрешения... Не беспокойтесь.

А х м е д и А б д у р а х м а н (*вместе*). Что за беспокойство, бейэфенди.

Р е д ж е б (*идет к двери, останавливается. Оборачивается, протягивает правую руку Абдурахману*). Ведь это нельзя считать ссадиной, как вы думаете?

А б д у р а х м а н. Нет, бейэфенди, это ни в коем случае, так сказать, нельзя назвать ссадиной.

Р е д ж е б (*Ахмеду*). Не сердись на меня, сынок, но видишь, по твоей милости я чуть было не заболел бешенством.

Все уходят. Через некоторое время А х м е д и А б д у р а х м а н возвращаются.

Абдурахман. Все в порядке! Через год у меня в кармане будет самое малое пятьдесят тысяч. Пятьдесят, пятьдесят, как я рад, как я рад. В кармане мани, мани, рин-рин-рин, маникюрин! А теперь Расскажи-ка, с чем он с тобой говорил? Как видно, ты не принял его предложения?

Ахмед. А чего ради я должен его принимать?

Абдурахман. Молодчина! Я — творец маникюрина. Рин-рин, так сказать, маникюрин. В самом деле, сукин сын. Хочет отделаться пятью или десятью тысячами. Мани, мани... Судите сами, остался в живых благодаря тебе, чтоб его черти побрали! Нет уж, пусть он знает, что за это надо отдать дочь. Айтэн на бочку!

Ахмед. Кажется, Реджеб-бей того же мнения. Он предложил мне стать его зятем.

Абдурахман. Виват! Живем! У меня есть еще одно изобретение! На этот раз мы с тобой вместе провернем! Изобретение мое, капитал твой, доходы пополам. Рин-рин, маникюрин. Хорошо, но почему он, уходя, говорил так натянуто?

Ахмед. Потому что я отказался.

Абдурахман. От чего? Он тебе предложил, так сказать, дочь, а ты отказался?

Ахмед. Отказался.

Абдурахман. Ничего не понимаю! Зачем же ты, так сказать, рискуя жизнью?..

Ахмед. Ты преувеличиваешь.

Абдурахман. Вот чудак, вот чудак... Но почему же ты не хочешь жениться на Айтэн? Почему? Что за причина?

Из передней доносится звонок. Ахмед идет открывать дверь.

(Продолжает про себя). Почему? Что за причина? В чем причина, так сказать, маникюрин... Мани, мани, рин-рин-рин, маникюрин. Мани, мани — пятьдесят тысяч в кармане!

Входят Ахмед и Нихаль, некоторое время с удивлением смотрят на Абдурахмана, который кружится посредине комнаты, словно молящийся дервиш.

Ахмед. Абдурахман!

Абдурахман *(приходя в себя.)* Что? Да, да... *(Замечает Нихаль.)* Ах! Извините!..

Ахмед. Племянница Реджеба-бея, Нихаль-ханым. Абдурахман.

Абдурахман. Ярдымджы. Очень приятно, ханым-эфенди. Ваш дядюшка, так сказать, самый чудесный человек в мире.

Нихаль. Вы правы. (*Ахмеду.*) Айтэн послала меня вперед. А сама зашла купить для вас цветы.

Абдурахман (*Ахмеду*). Эту самую заявку, так сказать, на патент... я завтра зайду, ты мне продиктуешь.

Ахмед. Хорошо.

Абдурахман. Пользуйтесь маникюром, ханым-эфенди! Мани, мани, маникюр...

Нихаль. Не понимаю.

Абдурахман. Ахмед вам объяснит. Передайте мое почтение Айтэн-ханым. Всего хорошего. (*Уходит.*)

Нихаль. О чем это он говорил?

Ахмед. Изобрел машинку для маникюра под названием маникюрин. Собирается вместе с вашим дядей наладить выпуск.

Нихаль. Ну, а когда вы займетесь такими изобретениями?

Ахмед. Но я не инженер.

Нихаль. Разве обязательно быть инженером, чтобы изобретать такие вещи? Мой дядя вам предложил что-нибудь?

Ахмед. Хотел дать денег в долг.

Нихаль. А еще?

Ахмед (*улыбается*). Предложил жениться.

Нихаль. Жениться на Айтэн... Ну, а вы?

Ахмед. Я отказался.

Нихаль. От чего?

Ахмед. И от денег и от женитьбы.

Нихаль. А почему бы вам не взять в долг, что тут зазорного? С этими деньгами вы смогли бы уладить свои дела.

Ахмед. Айтэн, наверное, задержится?

Нихаль. Минут через двадцать придет. Обязательно придет. Не волнуйтесь.

Ахмед. Нихаль-ханым, я знал в своей жизни несколько женщин...

Нихаль. Что значит несколько?

Ахмед. Двух женщин... Но ни одной из них я не признавался в любви... Не то чтобы из застенчивости или неумения... Просто так получилось. Да в этом и не было необходимости.

Нихаль. Почему вы не хотите жениться на Айтэн?

А х м е д. Вот спасибо, вы облегчили мою задачу. Потому что люблю вас!

Н и х а л ь. Значит, я первая женщина, которой вы объясняетесь в любви?

А х м е д. Хотите стать моей женой?

Н и х а л ь. А другим вы делали такое предложение?

А х м е д. Нет.

Н и х а л ь. Можно узнать почему?

А х м е д. Одна из них была замужем и не собиралась разводиться с мужем. Муж ее был очень богат...

Н и х а л ь. А другая?

А х м е д. Нам даже в голову не приходила мысль о женитьбе.

Н и х а л ь. Я бедная девушка, сирота, которую воспитал богатый дядюшка. А что сказал Абдурахман-бей, когда услышал, что вы не хотите жениться на Айтэн?

А х м е д. Назвал меня чудаком.

Н и х а л ь. Вас мало назвать чудаком, если вы наследнице миллионера, к тому же красивой и умной Айтэн, предпочитаете нищую Нихаль.

А х м е д. Вы знали, что я вас люблю?

Н и х а л ь. Догадывалась.

А х м е д. Когда вы это заметили?

Н и х а л ь. Давно уже.

А х м е д. Вы станете моей женой?

Н и х а л ь. В моем характере так много дурных качеств, свойственных обычно бедным родственникам, на хлебникам, которые воспитываются в богатых домах...

А х м е д. Вы не ответили на мой вопрос...

Н и х а л ь. А что я должна делать? Стыдливо опустить глаза? Или броситься вам на шею? Или сказать: о, я верю, что с милым рай и в шалаше! Или, может быть, я должна сказать, что мне надоело быть приживалкой, надоело завидовать Айтэн с ее брильянтами и что вы, молодой человек с большим будущим, будете много трудиться и у меня тоже будут брильянты? Или же я должна сказать: «К сожалению, Ахмед-бей...»

А х м е д. Вы должны сказать: «Ахмед, я согласна стать вашей женой».

Из передней доносится звонок.

Н и х а л ь. Это Айтэн.

А х м е д. Вы не ответили на мой вопрос.

Н и х а л ь. Идите откройте Айтэн.

А х м е д. Вы не ответили.

Н и х а л ь молчит.

Почему вы молчите?

Н и х а л ь. Я думаю, может ли женщина быть счастливой, выйдя замуж за чудака?

Пауза.

Не заставляйте Айтэн ждать. Прошу вас, откройте дверь.

Ахмед уходит.



ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

Та же комната, что в первом действии, но с некоторыми изменениями: радиоприемник, на стене — картина, в вазе на письменном столе — цветы. Посредине комнаты — обеденный стол. В кресле сидит элегантно одетый Неджми. Он насвистывает вальс. Из боковой двери входит Нихаль с тарелками в руках. Она в белом парадном переднике. При ее появлении Неджми перестает свистеть и встает.

Н и х а л ь. Вы будете вставать при каждом моем появлении? Неплохо. Тоже гимнастика... А то за последнее время вместе с вашими доходами у вас начал расти живот. (*Ставит на стол тарелки. Видно, что она накрывает на двоих.*)

Н е д ж м и (*ощупывает свой живот*). Вы это серьезно, Нихаль-ханым? Тогда плохо мое дело.

Н и х а л ь. Пока не очень, но...

Н е д ж м и. Вы презираете толстых мужчин, не правда ли, Нихаль-ханым?

Н и х а л ь. Смотря какой мужчина.

Н е д ж м и. А если бы ваш муж был толстым?

Н и х а л ь. Я все равно вышла бы за него.

Н е д ж м и. Вы так сильно любите Ахмеда?

Н и х а л ь. Помогите мне, пожалуйста.

Н е д ж м и. С удовольствием.

Н и х а л ь. Поставьте эту вазу на стол.

Н е д ж м и (*ставит вазу на обеденный стол.*) А вы любите заниматься домашним хозяйством?

Н и х а л ь. Люблю.

Н е д ж м и. Ахмед самый счастливый мужчина на свете!

Н и х а л ь. Потому что его жена любит хозяйничать?

Н е д ж м и. У вашей прислуги сегодня выходной?

Н и х а л ь. Уволили. Я люблю заниматься домашним хозяйством сама.

Неджми. Итак, вы довольны своей жизнью?

Нихаль. О да, вполне.

Неджми. Вы уже год замужем за Ахмедом.

Нихаль. Немного больше.

Неджми. Как вы думаете, когда же это вам надоест?

Нихаль. Вы полагаете, что когда мне наскучит Ахмед, я буду развлекаться с вами?

Неджми. Разве я ошибаюсь?

Нихаль. Не люблю лишать людей надежды...

Неджми. Айтэн красивее вас.

Нихаль. Знаю.

Неджми. Но вы более привлекательны.

Нихаль. Знаю.

Неджми. Я люблю вас!

Нихаль. Я и это знаю.

Неджми. Вы счастливы с Ахмедом?

Нихаль. Должна ли я удовлетворить ваше любопытство?

Неджми. Нет...

Из передней доносится звонок.

Это Ахмед?

Нихаль. Ахмед обычно звонит три раза.

Неджми. Почему?

Нихаль. Не знаю.

Неджми. Открыть?

Нихаль. Не трудитесь. *(Уходит.)*

Неджми *(подходит к письменному столу, начинает рыться в альбоме)*. Им и в голову не придет, что это я взял... Пусть Нихаль догадывается, да, да, пусть догадывается. Так даже лучше. Где же она? Вот!.. *(Вынимает из альбома фотокарточку.)* Ах, какая фигура! Сколько раз я видел Нихаль вот точно так, в купальном костюме, на пляже. Но эта карточка... Еще одна должна быть... Вот черт! *(Услышав шаги, поспешно кладет альбом на стол, фотокарточку сует в карман.)*

Входит Нихаль.

Нихаль *(в руке клочок бумаги)*. Повестка о взносе за холодильник... *(Кладет повестку на радиоприемник.)*

Неджми. Не люблю покупать вещи в рассрочку.

Нихаль. Я тоже... Но пока мы ничего не можем купить без рассрочки.

Неджми. Нелегко обставить дом, Нихаль-ханым.

Н и х а л ь. Еще одну мудрую мысль изволили высказать, Неджми-бей.

Н е д ж м и. Зачем вы смеетесь надо мной?

Н и х а л ь. Достаньте из буфета вилки и ножи... (*Уходит в боковую дверь.*)

Н е д ж м и (*достает из буфета ножи и вилки, кладет их на стол, затем снова подходит к письменному столу, берет альбом, роется в нем. Услышав шаги Нихаль, кладет альбом на место, возвращается к столу. Нихаль входит с графином*). Вы накрываете на двоих?

Н и х а л ь. Достойного вас обеда, к сожалению, у меня нет. Да вы все равно не останетесь, если бы я даже стала уговаривать. Вы стали модным человеком и, вероятно, как всегда, приглашены.

Н е д ж м и. Какая вы странная женщина! Иногда я вас боюсь.

Н и х а л ь. Я и сама иногда себя боюсь.

Н е д ж м и. Вы не обидитесь, если я скажу одну вещь?

Н и х а л ь. Не обижусь.

Н е д ж м и. Вы, кроме себя, никого не любите и не сможете любить.

Н и х а л ь. Значит, вы согласны играть роль безнадежно влюбленного?

Н е д ж м и. А вы обидитесь, если я вам скажу еще одну вещь?

Н и х а л ь. Не обижусь.

Н е д ж м и. Я говорил, что вы, кроме себя, никого не любите и не сможете любить, но...

Н и х а л ь. Из этого не следует, что я не смогу быть вашей любовницей?

Н е д ж м и. Да... так же, как стали женой Ахмеда.

Н и х а л ь. Ударить мне вас или сказать: убирайтесь из моего дома?

Н е д ж м и. Не делайте ни того, ни другого.

Н и х а л ь. Муж мой ваш друг...

Н е д ж м и. И очень близкий... Я ни от кого не видел столько добра, сколько от Ахмеда. Не думайте, что я это забыл. Он единственный человек, в честность которого я верю. Будь у меня миллион лир, я доверил бы ему без расписки. Ахмед — верный товарищ. Но это не может помешать ему обманывать свою жену. Вы опередите его со мной...

Н и х а л ь. Вы ошибаетесь. Мой муж никогда меня не обманет. Чудаки — верный народ!

Из передней доносится звонок.

Неджми. Ахмед?

Нихаль. Нет, может быть, опять повестка — на этот раз о взносе за приемник. *(Уходит.)*

Неджми *(снова берет альбом, торопливо переворачивает страницы)*. Где она? Или уже стянули? Ну и друзья у Ахмеда! Один подлее другого. Какая женщина! С ума сойти!.. Терпение, дружок... Где же эта проклятая карточка?

Входят Нихаль и Кямиль. Неджми не успевает положить альбом на прежнее место, делает это только после того, как они вошли в комнату.

Кямиль. Простите... Я очень спешу... *(Идет к картине, которая висит на стене)*. Пришел взять...

Нихаль. Вашу картину?

Кямиль. Разве Ахмед не говорил? Странно... *(Снимает картину со стены.)* Вчера встретились... да... вчера вечером... Нашел одного покупателя... американца. На выставке, оказывается, видел... *(Ребром ставит картину на кресло и долго смотрит на нее)*. Смотрите, вот так самый подходящий свет... Вот так нужно ее повесить! *(Взволнованно.)* Посмотрите на этот красный цвет... даже самому не верится, что это я писал... Простите за беспокойство! С вашего разрешения... Привет Ахмеду. *(Обращается к Неджми.)* До свидания, бейэфенди!

Неджми. До свидания.

Кямиль *(идет к двери, останавливается. Снова ставит картину на кресло и, прищурившись, разглядывает ее. Печально.)* Если человек, сделав такое хорошее дело, создав столь прекрасное произведение, станет лгать или обманывать людей, он должен будет презирать самого себя... Не так ли?

Нихаль *(недоумевая)*. Конечно, разумеется...

Неджми. Вот, скажем, бог, он всегда лжет, но когда он сотворил прекрасную женщину, например Нихаль-ханым, он должен был либо перестать лгать, либо возненавидеть себя и больше никогда не создавать ни одной красивой женщины.

Кямиль. Я не бог и в бога не верую... Я человек. Я человек, пишуший светлые картины, которые возбуждают в людях мечты и надежды. Я не должен обманывать людей.

Неджми. Обманывать или не обманывать... Это понятие относительное. Скажем, врач, который обманывает

больного, обреченного на скорую смерть, говоря, что тот проживет еще много лет, разве он поступает дурно?

К я м и л ь. Я не врач. Люди, которым мое искусство доставляет радость и счастье, это не больные, обреченные на смерть. Художник не имеет права обманывать людей. Художник должен оберегать свою честь в любом случае. И тогда, когда он умирает с голоду, и тогда, когда его осыпают золотом... Ахмед должен скоро вернуться?

Н и х а л ь. Да, подождите его, если желаете.

К я м и л ь *(обеспокоенно)*. Нет... Я не могу ждать... Очень спешу. До свидания, прошу извинить...

Нихаль и Кямиль уходят.

Неджми *(делает шаг к письменному столу, но останавливается, видимо, передумав)*.

Входит Н и х а л ь.

Кто это?

Н и х а л ь. Художник Кямиль. Ахмед увидел на выставке его картину. Очень понравилась. Вероятно, он прав. Я не понимаю в живописи.

Неджми. Я тоже.

Н и х а л ь. Но вы понимаете в фотокарточках. Отдайте, пожалуйста.

Неджми. А что, если она останется у меня?

Н и х а л ь. Может быть, надписать: «Горячо любимому Неджми»? Отдайте, прошу вас.

Неджми *(протягивает карточку)*. Пожалуйста!

Н и х а л ь *(кладет карточку в альбом)*. О чем я говорила? Да, так вот, Ахмед купил картину...

Неджми. За сколько?

Н и х а л ь. Были у нас кое-какие сбережения... Почти половину отдали за этот пейзаж. Но Ахмед считает, что этот художник очень талантлив, картина дивная и что мы заплатили за нее мало. Он сказал Кямиллю, что тот в любое время может взять картину обратно, если найдет более выгодного покупателя. Ну, вот он и взял.

Неджми. Нихаль-ханым...

Н и х а л ь. Слушаю.

Неджми. Можно мне поцеловать вашу руку?

Н и х а л ь. Да я просто буду считать вас невежей, если вы не будете целовать моей руки всякий раз, когда приходите к нам, уходите от нас или где-нибудь встречаете меня.

Неджми. Нет, вы не поняли меня... Могу ли я поцеловать вашу руку, но без почтения? Даже бесстыдно.

Нихаль. Любопытно, как целуют руку бесстыдно?

Неджми (*схватывает руку Нихаль, целует ладонь*). Вот так!

Нихаль. Очевидно, я должна сказать: «Пустите, не надо», — или что-нибудь в этом роде. Не правда ли?

Неджми. Зачем вы говорите! (*Снова целует ее ладонь.*) О, волшебный миг!

Нихаль. Если я буду говорить, волшебство кончится?

Неджми. Вы разговариваете, потому что боитесь меня. (*Продолжает целовать ее руку выше кисти.*)

Нихаль. Пустите... Я знаю, как целуют в этом месте руку... Ахмед делает это лучше вас. (*Отнимает руку.*) Теперь требуется, чтобы раздался звонок и Ахмед внезапно застал нас... Мы не можем скрыть смущения, Ахмед начинает подозревать что-то... и так далее в этом роде...

Из передней доносится звонок.

Неджми. Это он!

Нихаль уходит.

(*Про себя.*) Можно считать, что сегодня сделан первый шаг... Умная женщина! Первая умная женщина в моей жизни... Обладать умной женщиной — высшее наслаждение. Терпение... Терпение...

Входят Нихаль и Ахмед. У Ахмеда в руках большой портфель.

Ахмед. Здравствуй, Неджми!

Неджми. Здравствуй, дорогой. У меня есть приятное известие для тебя.

Ахмед. Очень хорошо...

Неджми. Нихаль-ханым еще не знает... Дожидался тебя, чтобы лично сообщить.

Ахмед. И хорошо сделал. Потерпи еще немного... (*Раскрывает портфель, достает бумажный кулек, передает Нихаль.*) Здесь, милая, фисташки...

Нихаль. Благодарю.

Ахмед. Куплены на пристани Кадыкей.

Нихаль. Благодарю.

Неджми. Ахмед, дорогой мой, я хочу оказать небольшую услугу тебе лично и твоему дому.

А х м е д. Спасибо. *(Обращается к Нихаль.)* Фисташки совсем теплые.

Н и х а л ь. Благодарю, милый.

Н е д ж м и. Если кто-нибудь делает мне добро, я помню об этом всю свою жизнь. И я, в свою очередь, люблю делать добро своим друзьям. Ты это знаешь, Ахмед...

А х м е д. Знаю... *(Обращается к Нихаль.)* Что ты больше любишь — фисташки или меня?

Н и х а л ь. Одинаково, милый.

А х м е д. Благодарю. *(Целует Нихаль руку на сгибе локтя, потом кисть руки.)*

Н и х а л ь *(отнимает руку)*. Не надо... Оставь...

Н е д ж м и. Будете вы слушать мою новость или не будете?

А х м е д. За столом.

Н и х а л ь. Неджми-бей не может остаться у нас обедать. Он приглашен к мистеру Рооту.

А х м е д. Мистер Роот? Мистер Роот? Кто он такой? Из твоих шефов?

Н е д ж м и. Председатель правления компании. Но Нихаль-ханым пошутила. Я не приглашен к мистеру Рооту. У меня есть другие дела. Послушай... Компания будет издавать журнал. Редактирование я взял на себя. Литературно-художественный, политический, экономический журнал... Хочешь писать для нас?

А х м е д. Это и есть твое приятное известие? Нет, не хочу.

Н и х а л ь. Почему?

Н е д ж м и. Журнал еженедельный. Если в каждом номере будет одна твоя статья по юридическим вопросам, я смогу гарантировать тебе в месяц чистыми деньгами триста лир...

А х м е д. Спасибо, но не могу.

Н и х а л ь. Почему, Ахмед?

Н е д ж м и. Хочешь — делай переводы... С английского... Можешь без подписи или под псевдонимом. Материалом я тебя обеспечу... Хочешь — пиши под моим именем!

А х м е д. Благодарю... Но не могу.

Н е д ж м и. Ты же одно время переводил с английского детективные романы?

А х м е д *(добродушно усмехнувшись)*. Кажется, из-за тебя я лишился этой работы?

Н е д ж м и. Может быть, работу в моем журнале ты считаешь менее достойной, чем перевод детективов?

А х м е д. Я люблю читать детективы. Но в политике

не разбираюсь. Ничего в ней не смыслю. А вы делаете политику... То есть будете делать. Если я начну вникать в это, боюсь, политика ваша мне не понравится.

Н и х а л ь. Пришла повестка за холодильник.

А х м е д. Заплатим.

Н и х а л ь. Скоро пришлют повестку и за приемник, и за спальню, и за мою единственную шубу.

А х м е д. Заплатим.

Н и х а л ь. Чем?

А х м е д. Милая моя, красивая моя, ты же у меня умница, прямо как Ротшильд, сердце у тебя, как у ангела, зачем утомлять Неджми нашими финансовыми делами?

Н е д ж м и. Напротив... Отвергая мою услугу, которую я предложил тебе от всей души...

А х м е д. Прекратим этот разговор.

Некоторое время все молчат.

Н е д ж м и. Ну, я пошел.

А х м е д. Заходи к нам. (*Подходит к радиоприемнику, берет повестку.*) Это?

Н и х а л ь. Да... Ты что, первый раз такую видишь?

А х м е д (*с любопытством рассматривает повестку*). Ты права... Мне каждый раз кажется, что подобную бумажку я вижу впервые.

Н и х а л ь (*протягивает руку Неджми*). Заходите к нам почаще...

Неджми берет руку Нихаль, хочет поцеловать, Нихаль подставляет ему ладонь. Неджми целует.

Н е д ж м и (*шепчет*). Если вздумаете еще когда-нибудь мстить, можете рассчитывать на меня.

А х м е д (*кладет повестку на радиоприемник, смотрит на Нихаль и Неджми*). Ты что-то сказал?

Н е д ж м и. Нет. Ничего. Не беспокойтесь, дорогу найду сам... Хорошенько прикрою за собою дверь, чтобы вор не украл ваш кошелек. Счастливо оставаться. (*Уходит.*)

А х м е д. Ты сердишься на меня за то, что я не принял предложения Неджми.

Н и х а л ь. Я измучена.

А х м е д. Чем? Моими чудачествами, как вы все их называете?

Н и х а л ь. Если бы ты мог заработать столько денег, сколько этот дурак Неджми, может, твои чудачества и понравились бы мне.

А х м е д. Милая моя, единственная моя... (*Хочет снять*

передник с Нихаль.) Ты подожди, я сейчас надену передник, пойду принесу суп. А ты садись за стол, как жена миллионера.

Н и х а л ь *(не дает снять передник)*. Пусть закипит.

А х м е д. Тогда дай я что-нибудь сделаю. Скажи, что я должен делать, что куда переставить? Командуй! *(Смотрит по сторонам, замечает отсутствие картины.)* Что это? В спальню перевесила?

Н и х а л ь. Картину унес Кямиль.

А х м е д. Ах, как я рад! Значит, сумел продать подороже... Но все же я привык видеть ее на стене.

Н и х а л ь. А разве ты не знал? Он сказал, что вчера говорил с тобой.

А х м е д. Что за чепуха! Мы с ним даже не виделись.

Н и х а л ь. Аферист какой-то... Деньги, конечно, не вернул. Правда?

А х м е д. Нет. Но получим... Мы же не в пустыне живем.

Н и х а л ь. Он дал тебе письменное обязательство или расписку?

А х м е д. О какой расписке ты говоришь?!

Н и х а л ь. И это называется адвокат!

А х м е д. Деньги получим... Но почему он соврал?

Н и х а л ь. Ахмед, мне надоело...

А х м е д. Я тебе надоел? Так скоро!

Н и х а л ь. Мне надоела такая жизнь... Мне надоело быть женой человека, которого все обводят вокруг пальца!

А х м е д. Ты увидишь, завтра же он принесет деньги... Видно, он очень спешил...

Н и х а л ь. Надейся!

А х м е д. Не сердись... ради бога, не сердись... Не делай такого лица... Улыбнись, хоть чуточку, уголком рта, взглядом... Улыбнись... Прошу тебя.

Нихаль улыбается.

Еще немного, еще, вот так... Когда ты смеешься, на душе моей становится так ясно-ясно! Я чувствую себя так, словно слушаю наши народные песни или симфонию Бетховена... Вижу, как зеленеет ветка деревца или плещет ночное море при луне... Мне кажется, что я слышу их, вижу их... Я словно глажу голову ребенка, и мне хочется быть еще лучше, еще добрее. Любовь — страшная вещь, Нихаль! Счастье любить, не насыщаясь, не утоляя жажды, — невыносимо...

Н и х а л ь. Сядь сюда.

А х м е д. Опять наставления?

Н и х а л ь. Да, и на этот раз очень серьезные. (*Садится на колени к Ахмеду.*) Ты примешь предложение Неджми.

А х м е д. Не могу.

Н и х а л ь (*встает*). Ну хорошо. Об этом после. Слушай меня... Ты все твердишь: не в пустыне находимся! Нет, мы находимся в пустыне... Этот город — пустыня. Даже хуже пустыни. Этот город, все города, все деревни, весь мир — это дремучий лес.

А х м е д. Дорогая моя наставница, я во многих книгах читал эту казенную, эту не оригинальную сказку: мир — это лес, и люди — хищные звери.

Н и х а л ь. И если ты не съешь, тебя съедят.

А х м е д. Кого же в данный момент я должен съесть?

Н и х а л ь. Ты умнее их... Ты не должен допустить, чтобы тебя съели.

А х м е д. Что же мне делать?

Н и х а л ь. То, что делает дядя, что делают Неджми, Абдурахман, Кямиль...

А х м е д. Мне не нравится то, что они делают.

Н и х а л ь. Но мы вынуждены делать много такого, что нам не нравится! Я всю жизнь это делала и... делаю.

А х м е д. Например?

Н и х а л ь. Послушай, будь разумным, если ты меня любишь, сделай хоть для меня... Посмотри на мои руки... В доме дяди я была чужая, но не была судомойкой!

А х м е д (*целует руки Нихаль*). Прости, прости меня, милая... Прости. С утра до вечера тружусь, как вол.

Н и х а л ь. Не нужно трудиться, как вол, нужно охотиться, как волк. Так делают все. В шелках, в брильянтах я покажусь тебе еще красивее, еще привлекательнее!

А х м е д. Разве я не хочу, чтобы у тебя были шелка и брильянты! Не одна, а десять меховых шуб?

Н и х а л ь. Знаю, ты готов умереть, чтобы сделать меня счастливой.

А х м е д. Клянусь тебе!

Н и х а л ь. Я не требую твоей смерти.

А х м е д. Ты требуешь, чтобы я перестал верить людям... Но я никогда не думаю, верить или не верить людям, я просто им верю.

Н и х а л ь. Ты, может быть, и не замечаешь, но считаешь себя хорошим, даже очень хорошим человеком. Это тебе нравится. Ты прощаешь людям, когда они тебя обманывают... Тебе нравится прощать! Ты делаешь людям

добро. Тебе нравится делать добро. Ты делаешь только то, что тебе нравится! За квартиру мы задолжали за шесть месяцев...

А х м е д. Знаю.

Н и х а л ь. Прими предложение Неджми... Его хозяева сделали человеком такого дурака, как он. Так представь, что же они из тебя могут сделать? Вступи с этими людьми в деловые отношения. В этом ничего плохого нет. Я не говорю тебе (*усмехаясь*): господин Фауст, продайте душу Мефистофелю. Я говорю: будь похож на окружающих.

А х м е д. А если я тогда стану тебя меньше любить?

Н и х а л ь. Наоборот, ты станешь меня еще больше любить. Сейчас ты меня не ревнуешь. Мы никуда не ходим, мы не бываем в обществе, где ты мог бы видеть, что мужчины смотрят на меня, как на лакомый кусочек... Я могу быть самой красивой женщиной на любом балу. И такая женщина принадлежит тебе. Ты и ревнуешь и гордишься...

А х м е д. Странное у тебя понятие о любви.

Н и х а л ь. Ты примешь предложение Неджми?

А х м е д. Подумаю.

Н и х а л ь. Будешь делать эти переводы без подписи...

А х м е д. Подожди, Нихаль, я же сказал — подумаю.

Н и х а л ь. Поцелуй меня.

Ахмед целует Нихаль. Из передней доносится звонок.

Повестка за приемник или...

А х м е д. Сейчас посмотрим... (*Уходит.*)

Н и х а л ь (*про себя*). Триста лир в месяц. Триста!.. В год, трижды двенадцать... Трижды десять — тридцать, трижды два — шесть... Три тысячи шестьсот... Буду копить... Образумится. Я заставлю. Ах, почему я не мужчиной!.. Все надоело! Если б я была мужчиной, я была бы безжалостнее дяди... Безжалостнее... Глупый, еще хочет, чтобы я ему ребенка родила. Недостаточно, видите ли, что я пол подметаю, обед готовлю. Ребенка ему еще корми! Девочку хочет. Не дай бог, пусть уж лучше будет мальчик. И на меня пусть будет похож. А глаза пусть будут карие, как у отца. Интересно, полюбила бы я его? Ведь и кошки любят своих котят... Дитя... Мое дитя... мой сын... Кто это пришел? Не может быть, чтобы за шубой... Три тысячи шестьсот лир... Разве это деньги? Целый год надо копить...

Входят Ахмед и Реджеб.

Дядя, дядюшка! (*Обнимается с Реджебом.*) Как я рада! Как я рада! Шесть месяцев вы не приходили к нам. Я думала, вы нас совсем забыли.

Р е д ж е б (*ставит на стол коробку.*) Я принес тебе засахаренные каштаны.

Н и х а л ь. Благодарю вас. Обожаю засахаренные каштаны! Что слышно от Айтэн?

Р е д ж е б. Вчера получил письмо из Ниццы. С мужем фотографировались в Венеции. (*Достает из бумажника фотокарточку.*) Вот, смотри...

Н и х а л ь (*берет карточку, рассматривает*). Это площадь святого Марка?

Р е д ж е б. Да, гуляют по свету!.. Жаль, в наше время не совершали свадебных путешествий.

Н и х а л ь (*с улыбкой*). И в наше время не все совершают.

Р е д ж е б. Это твой муж виноват. Я же предлагал отправить вас в свадебное путешествие. Он не согласился. Нихаль, детка моя, когда ты выходила замуж, мне не удалось дать тебе того приданого, которое я хотел. И опять не по моей вине.

Н и х а л ь. Я не знала, что Ахмед и на это не согласился.

Р е д ж е б. Нет, он не сказал: я не хочу, чтобы вы дали приданое моей жене. Но я уверен, если бы я дал, если бы, например, записал на твое имя мой дом на Кызылтопраке как приданое, он, конечно, отказался бы. Отказался бы жениться на тебе, но не принял бы. (*Ахмеду.*) Скажи, принял бы?

А х м е д. Ей-богу, Реджеб-бей, не знаю.

Р е д ж е б (*Нихаль*). Видела?

А х м е д. Я не могу вмешиваться в ваши отношения, даете вы своей племяннице дом или не даете...

Р е д ж е б (*растерянно*). Хорошо, но... Ведь ты тоже будешь пользоваться имуществом Нихаль. Не дай бог, если с ней что случится, дом останется тебе. Ты спас мне жизнь, я хотел дать тебе в долг деньги — ты не согласился. На моей дочке жениться не захотел. Я тебя хорошо знаю — ты не принял бы. Но, может быть, с тех пор ты изменился?

Н и х а л ь. Да, да, изменился. Очень изменился! Теперь по такому поводу...

Р е д ж е б. Не стал бы возражать? Слава богу! Кстати, поэтому я и решил записать дом на твое имя...

Н и х а л ь. На мое имя? Дом на Кызылтопраке? Дядя-

дюшка... Спасибо, дорогой мой дядюшка... (*Обнимает его за шею.*) Какой вы хороший! Вы ангел... Ахмед, поблагодари же! Мы немедленно переедем туда!

Р е д ж е б (*указывая на портфель Ахмеда*). Это твой портфель?

А х м е д. Мой.

Р е д ж е б. Открой его.

А х м е д. Зачем?

Р е д ж е б. Открой, говорю... Посмотри, нет ли там одной доверенности, в существование которой я никак не могу поверить...

Н и х а л ь. Какая доверенность?

Р е д ж е б. Да уж такая! Неслыханное дело!

Н и х а л ь (*Ахмеду*). Что ты опять натворил?

Р е д ж е б (*Ахмеду*). Сын мой, я бы тебе дал в два раза, в три раза, в десять раз больше денег, чем он тебе дал или обещал дать. Неужели ты не мог сначала со мной поговорить?

А х м е д. Я не понимаю, о чем вы говорите?

Р е д ж е б. Что тут понимать?

Н и х а л ь. Что случилось, дядя? Объясните и мне!

Р е д ж е б. Твой муж стал вести одно дело против меня.

Н и х а л ь. Против вас?

Р е д ж е б. Муж моей племянницы, которую я не отличаю от своей дочки, муж моей Нихаль, единственной дочери моего покойного любимого брата, мой зять, выступит на суде, будет требовать, чтобы я, Реджеб-бей, возместил убытки.

Н и х а л ь. Я с ума сойду! Какое дело, какой суд? Ахмед, что ты натворил? Говори же!

А х м е д. Возникло разногласие между твоим дядей и Абдурахманом, по поводу этого прибора для маникюра. Реджеб-бей нарушил две статьи соглашения о распределении прибыли...

Р е д ж е б. Утверждение этого болвана Абдурахмана совершенно необоснованно.

А х м е д. Простите, но Абдурахман прав.

Н и х а л ь. Что значит Абдурахман прав? Разве может быть прав Абдурахман, если он судится с моим дядей?

А х м е д. По закону Абдурахман прав. По совести Абдурахман прав! Закон, может быть, иногда и делает неправого правым, но, слава богу, моя совесть чиста — я ни разу в жизни не сделал ни одного невинного виновным. Я верю в справедливость. Я всегда выступал против не-

справедливости... Я обыкновенный адвокат. Я защищаю человеческое право. Это моя профессия! Если бы мой покойный отец вышел из могилы и начал бы дело против моего врага, хотя я не думаю, что у меня есть враги, но, положим, есть... Вот, если бы отец вышел из могилы и начал дело против моего врага, и если бы мой враг оказался прав и просил меня защитить его право против моего отца, я бы не колебался. Я взял бы на себя защиту своего врага...

Н и х а л ь. Это твое личное дело. Но ты не можешь взять на себя защиту Абдурахмана против моего дяди... Понимаешь? Не можешь!

Р е д ж е б. К сожалению, он уже взял. Доверенность вот в этом портфеле.

Н и х а л ь. Дай мне ее...

А х м е д. Послушай меня, Нихаль!

Н и х а л ь. Если ты хоть чуточку меня любишь...

А х м е д. погоди, Нихаль... *(Реджебу.)* Вас интересует только эта доверенность, Реджеб-бей?

Р е д ж е б. И еще должна быть одна справка...

А х м е д. Доказывающая мошенничество вашей бухгалтерии? Да, эта справка тоже здесь.

Р е д ж е б. Дай ее.

А х м е д. Вы понимаете, что вы мне предлагаете?

Р е д ж е б. Сколько ты хочешь?

А х м е д. Как вам не стыдно!

Р е д ж е б. Все равно ты не выступишь по этому делу.

А х м е д. Выступлю.

Н и х а л ь. Ахмед!

Р е д ж е б. Я говорил с твоим компаньоном, с твоим патроном...

Н и х а л ь. С профессором Шекибом-беем?

Р е д ж е б *(Ахмеду)*. Как только придешь в контору, он тебе прикажет оставить это дело.

А х м е д. Не может этого быть. Мы вместе изучили все документы. Он сам советовал мне взяться за это дело.

Р е д ж е б. Где телефон? *(Подходит к телефону, поднимает трубку, набирает номер.)* Это профессор Шекиб-бей-эфенди? Это Реджеб говорит. С вами будет говорить Ахмед Рыза. *(Ахмеду.)* Чего боишься? Иди говори.

А х м е д *(берет трубку)*. Учитель, да, это я... Я хотел у вас спросить... Да, насчет дела Абдурахмана... Что вы сказали? Но, учитель... Да, но... Как это можно?... Повесил трубку...

Р е д ж е б. Что сказал?

А х м е д. Контора отказалась принять дело.

Р е д ж е б. Теперь видишь?

Н и х а л ь. Ахмед, милый, образумься!..

Р е д ж е б. Сын мой, ты уже семейный человек. На твоих плечах лежит забота о целом семействе! Ты обязан думать о жене, о ребенке, который не сегодня завтра у вас будет... Такой крупный профессор сказал, что он отказывается! Ты сомневаешься в честности, в уме, в логике своего учителя?

Н и х а л ь. Подумай обо мне.

А х м е д. Шекиб-бей... Учитель мой... Такой ученый!.. Сколько вы ему заплатили? Меня интересует, за сколько у нас покупают профессоров права?

Р е д ж е б. Ты ребенок.

Нихаль хочет взять портфель.

А х м е д. Не трогай, Нихаль. Прошу тебя.

Н и х а л ь. Ахмед! Или ты отдашь эти бумаги...

А х м е д. Нихаль, дорогая, умоляю тебя, пойми меня...

Н и х а л ь. Ахмед! Или ты отдашь эти бумаги...

А х м е д. Нихаль!..

Нихаль берет портфель, хочет открыть замок.

(Кричит.) Оставь!..

Н и х а л ь. Дай мне ключ!

А х м е д. Реджеб-бей, дорогой Реджеб-бей, прошу вас, скажите, чтобы она не трогала...

Р е д ж е б. А я-то думал, ты действительно любишь свою жену!

А х м е д. Дай сюда! *(Старается отнять портфель у жены.)*

Нихаль не отдаст. Слышен треск замка, портфель раскрывается, бумаги сыплются на пол. Нихаль хочет их поднять, но Ахмед отталкивает ее. Нихаль падает на кресло, роняет портфель. Ахмед на коленях собирает бумаги, кладет их в портфель.

Н и х а л ь. Я презираю тебя! Презираю!

А х м е д. Милая...

Р е д ж е б. Все что угодно я от тебя ожидал, но такой грубости...

Н и х а л ь. Я никогда тебя не любила...

А х м е д. Жена моя, дитя мое!

Н и х а л ь. Не трогай меня... Я никогда тебя не любила...

А х м е д. Что ты говоришь! Ты... никогда меня не любила?.. Но постой... Почему же ты вышла за меня?

Н и х а л ь. Надо же было за кого-нибудь выйти...

А х м е д. За кого-нибудь...

Н и х а л ь. Да, за кого-нибудь... Будь ты проклят!.. Если б не ты, на мне, может, женился бы кто-нибудь другой. Нашелся бы, вероятно, человек, который обеспечил бы мне спокойную жизнь. Идемте, дядя. Ни минуты больше не желаю оставаться в одном доме с этим идиотом, с этой тряпкой! *(Срывает с себя передник, он рвется.)* Возьмите меня с собой, дядя! Чем быть у него судомойкой, лучше уж быть приживалкой в вашем доме...

Р е д ж е б. Это что за слова? Ты дочь моего любимого брата!

Н и х а л ь. Идемте, дядя!

А х м е д. Что же вы стоите? Не слышите? Она зовет вас... Все равно вам не удастся получить от меня эти бумаги. Убирайтесь отсюда вместе с дочерью вашего любимого брата!

Р е д ж е б. Мерзавец! Негодяй! Идем, доченька... Неужели я тебя в беде оставляю? Идем!

Реджеб и Нихаль уходят. Ахмед смотрит им вслед. Механически раскрывает портфель, разглядывает бумаги, потом закрывает портфель, кладет его на радиоприемник. Включает радио. Передают сонату Бетховена. Некоторое время слушает. Поднимает с пола передник, надевает на себя. Уходит в боковую дверь. Возвращается с тарелкой супа. Ставит на стол. Садится, ест несколько ложек. Встает. Выключает радио. Снова садится за стол. Входит Абдурахман. Некоторое время молча смотрит на Ахмеда. Ахмед его не замечает.

А б д у р а х м а н. Ахмед!

А х м е д. А, это ты?.. Садись. Хочешь супу?

А б д у р а х м а н. Дверь распахнута... Что с тобой? Где Нихаль?

А х м е д. Ушла.

А б д у р а х м а н. То есть спустилась вниз?

А х м е д. Совсем ушла...

А б д у р а х м а н. Как это — совсем ушла?

А х м е д. Так... Ушла... Чего стоишь?.. Наша контора, профессор Шекиб-бей, отказывается принять твоё дело...

А б д у р а х м а н. Как это?

А х м е д. Не перебивай! В голове у меня все перепуталось... Я продолжаю быть твоим адвокатом. Согласно договору между мной и профессором я имею право в год взять два дела для себя... Пришел Реджеб-бей... Потребовал бумаги... Просил отдать...

А б д у р а х м а н. Ты, конечно, не отдал. Я уверен в твоей честности. Но цену назначил?

А х м е д. Какую цену?

А б д у р а х м а н. Эх, брат, не обижайся, но ты дурак! Дурак! Ты упустил выгодный случай, который сам шел к нам в руки.

А х м е д. Все у меня в голове перепуталось... Не понимаю, о чем ты говоришь...

А б д у р а х м а н. Продав эти бумаги, мы могли бы получить вдвое больше, чем если бы выиграли дело. Ты мог их продать, разумеется, для меня. Реджеб-бей, конечно, не захочет, чтобы его имя склоняли в судах. Эх, брат... Упустил такой случай!.. Где эта справка?

А х м е д. В портфеле.

А б д у р а х м а н (*достает из портфеля доверенность и справку*). Я взял... Доверенность тоже... (*Гладит Ахмеда по щеке.*) Почему вы поссорились с Нихаль? Конечно, тебе нет смысла вести мое дело. Осудить дядю и потерять, так сказать, жену. Такой жертвы я не могу от тебя требовать... Я найду себе другого адвоката.

А х м е д. Нет, я доведу это дело до конца.

А б д у р а х м а н. Нельзя, брат, ты не обижайся, но ты, так сказать, все равно не сумеешь провести это дело. Да и, кроме того, я решил продать эту справку. Суд, прокуратура — долгая история. Не расстраивайся, Нихаль вернется... Хочешь я пойду с ней поговорю? Куда она ушла?

А х м е д. Не пужно, не беспокойся.

А б д у р а х м а н. Ну как хочешь. Помни, что я всегда готов, так сказать, прийти тебе на помощь. Иди приляг на диван, ты что-то бледный. Прощай, брат. (*Целует Ахмеда в щеку, уходит.*)

Ахмед некоторое время стоит неподвижно, потом замечает, что на нем передник, снимает его, машинально принимается за еду. Стук в дверь. Ахмед, очнувшись, вскакивает и идет к выходу. В дверях появляется И с м а и л. Он задумчив и не замечает состояния Ахмеда.

И с м а и л. Простите, я помешал, вы, кажется, обедали?

А х м е д. Да, обедал. Жены нет дома... Если хотите есть, садитесь!

И с м а и л. Благодарю, я обедал.

А х м е д (*садится на прежнее место*). Ну, рассказывайте, господин доцент. Как там ваши коммунисты?

И с м а и л. Я сегодня рассеян немного, вернее, взволнован... Вы простите...

А х м е д. Ну, полно. Рассказывайте, я слушаю...

И с м а и л. Опять я с просьбой к вам... Вы знаете, у

нас адвокаты не могут больше чем три раза взять на себя защиту коммунистов. Иначе выгонят из коллегии адвокатов. Так ведь?

А х м е д. Да, таков закон, ничего не поделаешь.

И с м а и л (*стараясь улыбнуться*). Значит, вы без опасения можете взять и второе дело? Я хочу сказать, без опасения быть выгнанным из коллегии.

А х м е д. Из коллегии... Да...

И с м а и л. Вот... Снова арестовали... На этот раз сорок пять человек... Среди арестованных двенадцать рабочих... четверо из университета. Две девушки... Сапожник... Два врача... Поэта Тахсина вы знаете. И его...

А х м е д. Поэта Тахсина я знаю. Студенты университета... Что же вы хотите от меня?

И с м а и л. Прошу вас их защищать.

А х м е д. Кого защищать?

И с м а и л. Коммунистов.

А х м е д. Что они сделали? В чем их обвиняют?

И с м а и л. В коммунизме.

Ахмед смеется.

Чему вы смеетесь?

А х м е д (*неожиданно умолкает. Потом, в сильном раздражении*). Его высокоблагородие задумчивы, взволнованы, потому что коммунистов, его товарищей, арестовали... А я?... А что со мной сделали? Пусть делают со мной что угодно... я... конечно, не существую для вас... (*Старается взять себя в руки.*) По-вашему, я просто мелкобуржуазный интеллигент, которым можно воспользоваться... человек, известный своими чудачествами... Я же взял когда-то одно ваше дело бесплатно! Почему бы не взять еще одно? Вам ведь нет дела до того, что со мной, гибну ли я, сдыхаю ли я... Срублены все ветки, за которые я держался. Я скатился вниз, я корчусь на земле! Всего этого вы не видите!...

И с м а и л. Ахмед, что вы говорите? Простите, я только сейчас заметил, как вы... Что с вами? Вы знаете — я ваш друг...

А х м е д. Оставим эти разговоры... Поговорим о деле. Я беру дело ваших коммунистов. Сколько они дадут? Меньше чем пять тысяч лир я не возьму.

И с м а и л. Пять тысяч! Но у нас нет таких денег.

А х м е д. Нет!.. Известно... Пяти курушей у вас нет! Но и у меня отныне нет желания бесплатно защищать лю-

дей, еще более чудаковатых, чем я, еще более глупых и безумных. Они сознательно ставят на карту свою жизнь, свою свободу во имя великого братства, великой свободы, великого мира, во имя еще кое-каких глупостей! Нет! Довольно! Я больше никому не желаю делать добро! Отныне я без выгоды, без денег, не мучая других, не строя западни своим близким, пальцем не пошевелю! Нет! Я больше не чудака! Я подал в отставку! Слышите? Подал в отставку! В отставку!



ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

Вечер. Кофейня в одном из переулков района Бейоглу в Стамбуле. Играет радио, передают народную музыку. На переднем плане несколько столиков. За одним из них — Селим; за другим — Иззет, Хусейн и Тевфик; в глубине — другие посетители кофейни. За стойкой Орхан. Около столика Селима — Али.

Селим. Али, принеси мне еще стопку.

Али. Слушаю, Селим-абей.

Селим. Есть жареные устрицы?

Али. Есть, Селим-абей.

Селим. Давай.

Али. Слушаюсь, Селим-абей.

Иззет. Нам тоже принеси жареных устриц.

Али. Слушаю, Иззет-уста.

Хусейн. Али, сколько нас здесь?

Али. Где?

Хусейн. Здесь, за столом.

Али. Три человека.

Хусейн. А ну-ка, сосчитай, сколько ты пожей принес?

Али. Простите, Хусейн-эфенди.

Хусейн. Нет, если простить, ты это повторишь... Считай, говорю!

Али. Два ножа.

Хусейн. А нас трое, правда?

Али. Правда.

Хусейн. Сказал — правда, и все уладилось, да? Уладилось?

Али. Я сию минуту принесу пожик, Хусейн-эфенди...

Хусейн. Когда же ты научишься обслуживать посетителей как полагается? А? Когда?

Орхан (*выходит из-за стойки, подходит к столику*). Какое-нибудь недоразумение?

Т е в ф и к. Нет...

О р х а н. Что-нибудь не так?

Х у с е й н. Все так. Никто худого ничего не сделал. Ни на кого мы не жалуемся. Неужели ты думаешь, мы будем науськивать мастера на подмастерье за то, что он принес на один нож меньше? Неужели будем жаловаться хозяину, твой, мол, работник совершенно не умеет обслуживать посетителей? Ты меня все еще не понял, дружок... Ты слышал, чтобы я наушничал начальству на товарищей по работе? А? Чего смеешься? Ты видел, чтобы я занимался доносами?

О р х а н. Кто же сказал, что ты занимаешься доносами, Хусейн-эфенди?

Х у с е й н. Не люблю пустых слов, ты отвечай на мой вопрос. Есть ли на свете что-нибудь хуже, чем профессия шпиика?

О р х а н. Нет, Хусейн-эфенди.

Х у с е й н. Правильно! А теперь иди и пришли нам нож и жареных устриц, которые заказал Иззет-уста.

Орхан возвращается к стойке. Али уходит.

(Доставая из кармана столовый нож.) А ножей-то было три! Вот третий.

И з з е т. Почему ты делаешь такие вещи?

Х у с е й н. Душа требует. Черт толкает.

И з з е т. Ты точно скорпион, Хусейн-эфенди.

Х у с е й н (грустно). Не могу не укунить. Но я не шпиик!

Т е в ф и к. Во времена султана Хамида половина Стамбула состояла из шпииков.

Х у с е й н. И во времена Ататюрка так было, и теперь точно так же. (Указывает на Селима, тихим голосом.) Откуда мы знаем, не подслушивает ли этот субъект. Правда, на агента Первого отделения он вроде бы не похож, но... Кто знает? Государство не может обойтись без агентов. (Берет со столика газету.) Читали, а? Завтра начинается процесс над сорока пятью коммунистами, ну теми самыми, которых арестовали в прошлом году. Слыхали? Теперь я вас спрашиваю, если б не было целой армии агентов, осведомителей, шпииков, разве удалось бы совладать с этими коммунистами? Я вас спрашиваю: вы, что ли, будете их ловить?

И з з е т. Я лично никого не собираюсь выслеживать и ловить. Даже в детстве птиц не ловил никогда. Если б мой родной сын заделался агентом, я бы его на порог дома не

пустил. Уж лучше стать мусорщиком, чем полицейской ищейкой.

Хусейн. Я тоже. Чтобы мой сын стал агентом...

Иззет. А если б его сделали начальником полиции?

Хусейн. Скажешь тоже! Кто же наших с тобой сыновей поставит начальниками? *(Некоторое время молчит в задумчивости.)* Вот если б я сам заделался начальником полиции...

Тевфик. Что бы ты тогда сделал?

Хусейн. Перво-наперво я бы приказал всем полицейским, всем явным и тайным агентам устроить облаву в домах свиданий, в гостиницах Стамбула, чтобы разом выловить всех замужних женщин и женатых мужчин, которые пустились в загул. Таких хватает, поверьте! Я бы не стал отправлять их под суд за нарушение нравственности. Я назначил бы штраф: с мужчин — сто, а с женщин — двести лир. Ведь женщины всегда совращают мужчин. Представляете, какой это был бы куш?

Тевфик. А на что ты употребил бы эти деньги?

Хусейн. Что за вопрос? На постройку приюта для подкидышей.

Входит Али, приносит нож и блюдо жареных устриц, ставит на столик Хусейна. Уходит. Входит Ахмед. Он не брит, в мятом костюме.

Ахмед *(Орхану)*. Никто меня не спрашивал?

Орхан. Нет, бейэфенди.

Ахмед. У меня будут гости.

Орхан. Сколько человек?

Ахмед. Один... *(Думает.)* А может быть, двое... Пошли кого-нибудь за фисташками. Знаешь, где нужно их купить? На пристани Кадыкей. Чтобы были теплые. Держи их в теплом месте... Теплые... Да поторопись!

Входит Али и ставит блюдо с жареными устрицами на столик Селима. Орхан выходит на улицу. Входит Александр. На шее у него висит стеклянный лоток. Он подходит к столу Ахмеда.

А, это вы, Александр! Здравствуйте.

Александр. Здравствуйте, Ахмед-бей. Знаете, я еду! Еду!

Ахмед. Куда?

Александр. На родину, в Россию!.. Сегодня в консульстве паспорт получил. Кончилась эмиграция! Еду!

Ахмед. Желаю тебе удачи.

Александр. Ахмед-бей, хотите ливерпой колбасы? Вы же ее любите. Возьмите на прощанье!

Ахмед. Спасибо, друг!

Александр кладет ливерную колбасу на стол перед Ахмедом.

Хусейн *(зовет)*. Александр, погляди на нас тоже!

Александр. Иду! *(Подходит к столу Хусейна.)*

Хусейн. Есть колбаса?

Александр. Есть.

Хусейн. Давай.

Александр подает ему колбасу.

Каждый раз об этом спрашиваю и сейчас спрошу: в этой колбасе ни грамма свинины нет, а? Правда нет?

Александр. Нет, Хусейн-эфенди.

Хусейн. Каждый раз спрашиваю и сейчас спрошу: ее вы сами дома готовите, не так ли? У бакалейщиков есть колбаса, похожая на эту, но такой нет. Как ты думаешь, у вас там, в России, в Москве, или в других городах, сейчас тоже делают такую колбасу?

Александр. Почему же не делать?

Хусейн. Почему не делать? Да потому что из-за твоих большевиков народ небось разучился колбасу делать. Ну-ка, скажи, разучился?

Александр *(уклончиво)*. Не знаю...

Иззет. Александр-эфенди, есть у тебя пирожки?

Александр. Есть, Иззет-уста.

Иззет. Заверни шесть штук. Дети очень любят.

Александр заворачивает пирожки в бумагу, получает деньги.

Александр *(тихо Иззету)*. Еду, Иззет-уста! Получил разрешение! Еду!

Иззет. Дай тебе бог удачи. Счастливого пути.

Селим *(зовет)*. Александр-эфенди!

Александр. Иду!

Ахмед *(зовет)*. Али!

Али *(подходит к столу)*. Слушаю вас, бей.

Ахмед. Не забудь водку поставить на лед.

Али. Хорошо, бей. *(Уходит.)*

Хусейн. О чем это вы шептались?

Иззет. А тебе что?

Хусейн. У него язык не поворачивается ругать большевиков. А по мне белый или красный — все равно, раз московский — все равно гяур.

Тевфик. Не знаю. Надо мной живет русский полков-

ник из «врангелей». В нашей охранке — свой человек. И по-турецки говорит, как турок. Из аристократов. По пять раз на дню ругает большевиков. В последней войне, говорят, в немецком консульстве работал.

Хусейн. И правильно делал.

Иззет. От тебя первого слышу, Хусейн-эфенди, что шпионить в пользу врага — хорошее дело.

Хусейн. Почему шпионить? Человек из аристократов? Да? Из аристократов. Полковник, да? Полковник. Большевики отняли у человека дом, деньги, землю, имение, выгнали его из страны, так? Выгнали! Если бы немцы победили, этот твой полковник получил бы обратно свой дом, свои деньги и свое звание? Получил бы! Он же не чужак какой-нибудь, конечно, будет изо всех сил помогать немцам. Вот я и говорю, что правильно поступал.

Иззет. Большевики, меньшевики, дома, деньги, звания — все это так, но ведь есть, кроме всего, достоинство, честь, человечность, есть родина, Хусейн-эфенди!

Хусейн. Пусть будет родина моя цветущим раем, но если меня оттуда выгнали, войду в сговор с самим чертом против такой родины.

Иззет. Хорошо, что Адам и Ева не разделяли твоих убеждений.

Тевфик. Этот Александр тоже из «врангелей»?

Иззет. Не знаю. Рассказывал, будто в Киеве или где-то еще был студентом. В пятнадцатом году его призвали в армию. Потом, в семнадцатом, когда армия перешла к Ленину, остался у белых. Потом вдруг, так и не разобравшись, что к чему, оказался вместе с белыми в Стамбуле. С тех пор его на родину тянет.

Хусейн. А может, все врет, а? Вот черт, до сих пор в голову не приходило! Конечно, врет! А эти наши агенты политического отдела слепые котята, ей-богу! Сколько лет Александр разгуливает на воле и чуть ли не кричит: «Я — большевистский агент, я — большевистский агент!» А наши агенты и ухом не ведут. И эти колбасы и пирожки, которые он продает, отравлены. Да! Ядом, который не сразу убивает. Медленно, постепенно, в течение года.

Тевфик. Сколько лет ты ешь его пирожки?

Хусейн. Шесть лет. Но большевистский яд мне ни-почем. Ты же, Тевфик, смотри в оба, береги себя, ты молод, любишь читать книги, смотри, чтобы тебя не отравили.

Иззет. Давайте выпьем по рюмочке и закусим отравленной колбасой Александра-эфенди.

Чокаются, пьют. Александр подходит к столику Селима и садится, по его приглашению поставив лоток на край столика. Входит А л и.

С е л и м. Али, принеси еще одну рюмку и еще графинчик. Подбавь закуски.

А л и. Сию минуту, Селим-абей. (*Уходит.*)

Входит О р х а н.

А х м е д (*Орхану*). Принес фисташки?

О р х а н. Ну и скажешь, Ахмед-бей! Ведь отсюда до пристани Кадыкей...

А х м е д. Не забудь положить в теплое место.

О р х а н. Не беспокойтесь.

В дверях появляется Неджми. Ахмед сидит спиной к двери. Неджми узнает Ахмеда и оглядывается по сторонам. Орхан подходит к Неджми.

Пожалуйте, бей. Вы кого-нибудь ищете?

Н е д ж м и. Да, но его здесь нет.

Ахмед, услышав голос Неджми, привстает с места, чуть оборачивается, но затем, видимо передумав, делает вид, что ничего не слышит.

О р х а н. А кого вы искали?

Н е д ж м и. Адвоката Ахмеда-бея.

О р х а н. Ахмед-бей здесь. Вот он сидит. (*Отходит.*)

А х м е д (*оборачивается, встречается с Неджми глазами. Некоторое время оба разглядывают друг друга. Ахмед продолжает сидеть*). А, Неджми!

Неджми удивленно смотрит на Ахмеда.

Я ждал тебя...

Неджми подходит к столику.

Садись.

Н е д ж м и (*садится*). Ты очень изменился.

А х м е д. Да. Я теперь богат.

Н е д ж м и. Поздравляю.

А х м е д. Заказал себе несколько костюмов, но никак не могу пойти на примерку. Ни минуты свободной.

Н е д ж м и. Рад за тебя.

А х м е д. Дела самых крупных контрабандистов, промышляющих опиумом, самых известных растратчиков, фиктивных банкротов — все это находится в моих руках.

Н е д ж м и. Поздравляю.

А х м е д. Зарабатываю раз в десять больше тебя.

Неджми. Очень рад.

Ахмед. Скажи своим шефам, пусть повысят тебе оклад. А хочешь, иди ко мне, есть место — секретарем в моей конторе.

Неджми. Благодарю.

Входит Али, приносит новые закуски, графины с водкой, рюмку. Часть ставит на столик Селима, часть — на столик Ахмеда.

Ахмед. Как знаешь. Теперь давай хорошенько выпьем, хорошенько поторгуемся, сладим одно дельце. *(Наполняет бокалы, подвигает к Неджми закуску. Оба пьют.)*

Хусейн *(встает)*. Али!

Иззет. Оставь. Сегодня я плачу.

Хусейн. Пусть будет так. А в начале следующего месяца угощение за мной, нет, не в начале, а ровно через месяц.

Иззет. Хорошо.

Хусейн. До свидания.

Иззет и Тевфик *(вместе)*. Прощай.

Хусейн уходит. Али продолжает обслуживать посетителей, переходя от одного столика к другому.

Тевфик *(Иззету)*. Александр сказал тебе, что получил разрешение вернуться на родину?

Иззет. Да, сказал.

Тевфик. А почему ты утаил от Хусейна? Разве это секрет?

Иззет. Никакого секрета нет, но, знаешь ли, иногда я скрываю от Хусейна, что иду в кино.

Ахмед *(Неджми)*. Я начну с повторения некоторых моментов, хорошо известных нам обоим.

Неджми. Зачем? Какая в том надобность?

Ахмед. Мне так хочется. А я уже привык делать то, что мне хочется. Итак, ровно год, восемь месяцев и четырнадцать дней тому назад Нихаль-ханым оставила дом своего мужа и поселилась в доме своего дяди. И через три месяца после этого...

Неджми. Обратилась к тебе, чтобы получить развод.

Ахмед. Не перебивай меня. Я не дал согласия на развод. А если нет согласия мужа, дело о разводе может тянуться годами. То обстоятельство, что муж-адвокат взялся вести дело человека, которого считал правым, не может служить поводом для развода.

Неджми. Не затевай здесь юридического спора.

Ахмед. Где ты оставил Нихаль? Почему ты смутил-

ся? Я только что видел вас около кондитерской «Лябон». Нихаль там ждет тебя, не правда ли?

Неджми. Да.

Ахмед. Выпьем. (*Наполняет бокалы.*)

Оба пьют.

Я продолжаю... Неделю назад Нихаль-ханым возобновила свое ходатайство о разводе. Своим доверенным она выбрала тебя. Почему она из стольких друзей выбрала именно тебя? Ты очень ее любишь? А как ты думаешь меня уговорить? На какой моей струне будешь играть? На моей вере? На моем чудачестве? Но эта струна лопнула. Лопнула, и тебе на ней не сыграть. (*Пауза.*) Как только Нихаль-ханым разведется со мной, выйдет за тебя, не правда ли? Ты не обижайся, по это называется слезть с коня и сесть на осла. Я красивей тебя и богаче.

Неджми. Красив тот, кого любит сердце.

Ахмед. Значит, ее сердце полюбило тебя?

Неджми. Да, меня.

Ахмед. Таково сердце! (*Грустно.*) Меня она никогда не любила. Мне она сказала это прямо в лицо. (*Сердито.*) Но каждую ночь она спала со мной. Ты когда-нибудь входил в нашу спальню? У нас была одна постель на двоих. И в вашей спальне тоже будет одна постель или у каждого своя? (*Снова грустно.*) Когда начался ваш роман? Еще в моем доме?

Неджми. Относительно Нихаль...

Ахмед. Относительно Нихаль?.. Как ты говоришь? Не забывай, что ты разговариваешь с мужем Нихаль! Ты должен называть ее Нихаль-ханым. Ну, что ты хотел сказать? Очевидно, хотел рассказать о том, когда ты начал питать к моей жене нежные чувства? Хотел бы я знать, вы еще в моем доме наставили мне рога?

Неджми. Она знала мои чувства, но мы не переходили границ дозволенного.

Ахмед. Границ?! Ну, а сейчас эти границы позади?

Неджми. Нет.

Ахмед. Поклянись!

Неджми. Клянусь!

Ахмед (*смеется*). Ну и чудак! (*Повторяет про себя.*) Чудак... (*Неджми.*) Ты знаешь, с тех пор как я перестал быть чудачком, так сказать, подал в отставку, с тех пор как я стал порядочным человеком и моя прежняя жизнь осталась позади как далекий чужой берег, я все чаще думаю о чудачках. Вчера ночью, например, мне приснился

Джордано Бруно на костре. Вот уже кто был чужак так чужак! Какая царственная глупость! Ну что случилось бы, если бы Джордано Бруно перестал упрямиться! Ну, сказал бы, что Коперник не прав, что земля не вертится вокруг солнца — разве мир погиб бы? А этот парнишка, которому, видите ли, захотелось взлететь к облакам!.. Люди говорили ему: «Остановись, безумный! Что ты делаешь? Человек не может оторваться от земли!» Не послушался. Бедный Икар! Да зачем далеко ходить? А эти, наши, ну те, о которых так хлопочет Исмаил, — сорок пять Дон-Кихотов! Безумцы! Чужаки! Что они могут сделать? Что могут изменить? Не будь их, земля не перестала бы вращаться... А может быть, перестала бы? Кто знает! Может быть... Может быть, ее окружили бы забором? Может быть... Может быть, земля продолжает вращаться именно благодаря чужакам!

Неджми хочет что-то возразить, но Ахмед не дает ему говорить.

Молчи. Я хочу послушать эту песню...

Александр (*Селиму*). Я не смог вернуть вам свой долг. Не уеду, пока не верну.

Селим. Ладно, ладно...

Александр. Вы тоже рабочий человек. Может, это были не ваши деньги. Продам сундук, обязательно уплачу.

Селим. Оставь эти разговоры.

Пауза.

Так, говоришь, пароход будет через неделю?

Александр. Да, через неделю. Через семь дней. А долг свой я...

Селим. Если я еще раз услышу об этом, право, обижусь. Пришлешь мне из Киева детскую кофточку с вышивкой. Дочка обрадуется. Ну, прощай, брат. Желаю тебе счастья.

Александр. Спасибо тебе, брат.

Обнимаются. Селим уходит.

Ахмед (*Неджми*). Нашел слова, которые размягчат мое сердце?

Неджми. Пусть тебе поможет язык логики, язык разума.

Ахмед. Разум и логика говорят мне... (*Задумывается.*)

Неджми. Тебе доставляет удовольствие мучить женщину, которая хочет уйти от тебя?

Ахмед. Разум и логика говорят мне: пусти ее на волю! Пусть она испытает свою судьбу еще раз — с этим человеком... Послушай, почему ты хочешь жениться на Нихаль? Любовь? Пустые слова! Одно дело волочиться за чужой женой, а другое — жениться на бедной, разведенной женщине. Постой, постой, я, кажется, понял. Дядя обещал ей дом на Кызылтопраке. Не хочу быть помехой вашему счастью. Я согласен на развод. Только у меня есть одно условие — я хочу провести с Нихаль последнюю ночь. Я не продал двухспальную кровать. Берегу как память.

Неджми. Что за странное условие?

Ахмед. Разве это так странно? Человек хочет провести последнюю ночь со своей женой! За одну ночь я плачу десять тысяч лир. Десять тысяч! Иди скажи ей об этом. Утром, перед тем как уйти из дому, она на комодѣ пайдет вознаграждение, а к концу недели свидетельство о разводе.

Орхан (*подойдя к столику*). Вот ваши фисташки, Ахмед-бей. Теплые.

Ахмед. Не надо. Убери. Положи в теплое место, может, пригодятся.

Неджми. Давай поговорим серьезно.

Ахмед. И тебе я даю две тысячи пятьсот лир комиссионных. Прощальная ночь со своей женой обойдется мне в двенадцать с половиной тысяч лир. Ну, ступай! Скажи, пусть придет сюда. Может, сердце мое размякнет, когда ее увижу. Или увеличу вознаграждение, или откажусь от своего условия. Я еще не решил окончательно. Иди скажи, что я очень соскучился по ней. Ты даже не можешь себе представить, как соскучился!

Неджми. Ты прекрасно знаешь, что Нихаль не может прийти в этот кабак. Порядочные женщины сюда не ходят.

Ахмед. А почему бы нет? (*Вынимает из кармана бумажник, кладет на стол, вынимает из бумажника билет в тысячу лир, бросает на стол.*) Если приведешь сюда Нихаль — эта тысяча твоя. Может, еще все изменится, когда увижу ее лицо... (*Нечаянно смахивает локтем билет*). Ступай! Приведи ее! (*Пьет. Роняет голову на руки.*)

Неджми наступает погой на деньги.

Неджми. Что с тобой? Голова кружится? (*Незаметно поднимает деньги.*)

Ахмед (*не поднимая головы*). Меня тошнит.

Неджми. Ты пьян.

Ахмед. О, если бы я был пьян! Ступай, приведи ее!

Неджми. Ладно, попробую. Не ручаюсь.

Ахмед. Возьми такси, разумеется, за мой счет... Ступай.

Неджми уходит.

(*Поднимает голову, смотрит ему вслед, потом на пол, куда уронил деньги.*) Сукин сын... (*Снова опускает голову.*)

Входит агент полиции в гражданской одежде. Оглядывается вокруг и подходит к Александру, который у одного из столиков продает закуску. Агент кладет ему руку на плечо.

Александр. Что желаете, бейэфенди?

Агент. Забери свой лоток, пойдешь со мной.

Александр. В чем дело?

Агент. Пойдешь со мной в участок.

Александр. Да почему же?

Агент. Там узнаешь.

Александр. Но я должен ехать... Я еду уже, господин чиновник.

Агент. Куда?

Александр. На родину... В Советский Союз... Через неделю еду... Уже получил паспорт...

Агент. Ладно, поедешь. Через неделю. Или через четыре года.

К Александру и агенту подходят Иззет, Тевфик и Али.

Иззет. В чем дело? Что случилось?

Агент. Ничего особенного.

Александр. Меня забирают в участок!

Тевфик. Почему?

Агент. А вам что за дело?

Иззет. Мы знаем Александра-эфенди. Он честный человек.

Агент. Кажется, ты ищешь себе неприятностей?

Тевфик. Каких неприятностей? Правду ищем.

Иззет. В чем виноват Александр-эфенди?

Александр. Иззет-уста, не беспокойтесь, я не воровал, не убивал, в участке все выяснится. Если только там задержат не очень долго...

Иззет. Донесли на него... я знаю. Сказали, занимается, мол, коммунистической пропагандой!

Агент. Кто это тебе сказал?

Тевфик. Я знаю. Это дело Хусейна-эфенди. Скорпион проклятый!

Иззет. Господин чиновник, мы тоже идем в участок. Нельзя допустить, чтобы человек стал жертвой гнусной клеветы.

Агент. Дела у вас нет, что ли?

Иззет. Это и есть наше дело. Потому и идем.

Тевфик. Не бойся, Александр-эфенди.

Александр. Через неделю отходит пароход. Не опоздать бы...

Тевфик. Не опоздаешь... Скоро отпустят. Мы там все объясним. Не в пустыне живем.

Агент. Пошли.

Иззет. Али, завтра вечером рассчитаемся.

Али. Хорошо, Иззет-уста. (Александр.) Как выпустят, сразу приходи!

Александр. Приду, не беспокойся.

Александр, агент, Иззет и Тевфик уходят.

Ахмед (*при последних словах поднимает голову, смотрит им вслед*). Что случилось?

Али. Забрали.

Ахмед. Видел. За что?

Али. За коммунизм. Каждый день арестовывают людей, говорят: коммунисты... В газетах написано, завтра начинается суд... Сорок пять человек судить будут. Говорят, среди них есть даже один поэт... Их уже давно арестовали. Вот я заметил, Ахмед-бей, всегда так получается: когда арестовывают коммунистов, следствие тянется очень долго... А почему? Потому что там их бьют, пытаются. Ахмед-бей, прошу вас, если нашего Александра станут судить за коммунизм, возьмите на себя его защиту! Хороший человек! В прошлом году хозяин меня выгнал, я месяц ходил безработным, если бы не Александр, умер бы с голоду. Кормил меня своими пирожками...

Ахмед. Зачем же он это делал?

Али. Потому что хороший человек.

Ахмед. А кто эти люди, которые ушли с ним?

Али. Саножник Иззет и столяр Тевфик... Пошли, будут свидетелями.

Ахмед. Против Александра?

Али. Да нет, за Александра!

Ахмед. Видно, их этот чужак тоже кормил своими пирожками? Ну, хватит об этом. Ступай купи мне арбуз.

Али. Слушаю.

Ахмед. Постой. Дай-ка мне сегодняшнюю газету.

Али. Сейчас. (*Приносит газету.*) Вот видите? На первой странице фотография арестованного поэта...

Ахмед (*берет газету*). Да, это Тахсин.

Али. Вы его знаете?

Ахмед (*занят чтением*). Ступай купи арбуз.

Али уходит. Входят Нури, Халид и Селим. Селим садится за свой столик. Нури и Халид садятся за свободный столик.

Нури. Эй, гарсон...

Орхан (*выходя из-за стойки*). Али! Да где же он?

Ахмед. Я послал его купить арбуз.

Нури. Гарсон!

Орхан (*подходит к столику Нури*). Приказывайте.

Нури. Накрой стол.

Орхан. Сейчас. (*Уходит.*)

Нури (*указывая Халиду на Ахмеда*). Посмотри-ка на этого типа.

Халид. Кто таков?

Нури. Я его с первого взгляда признал, хоть он и здорово изменился.

Халид. Кто же он?

Нури. Адвокат Ахмед Рыза.

Халид. Скажите пожалуйста! Ты с ним заговоришь?

Нури. Непременно. (*Встает, подходит к столику Ахмеда.*) Привет, господин адвокат.

Ахмед. Простите...

Нури. Не узнали?

Ахмед. Простите, не узнал.

Нури. Нури Аклын. Иначе Рябой Нури.

Ахмед. Здравствуйте, Нури-эфенди.

Нури. Не узнали?

Ахмед. Не узнал.

Нури (*садится*). Кто знает, скольких хороших парней ты загубил, как меня, например. Разве всех упомянешь?

Ахмед. Вы из-за меня пострадали?

Нури. Да, из-за тебя просидел четыре года. Сегодня утром выпустили.

Ахмед. Значит, я был адвокатом противной стороны.

Нури. Хромого Османа... Я пролил немного его крови.

Ахмед. Вот как?

Нури. Да, так. Мой адвокат встретился с судьей. До-

говорились на трехстах... Я должен был получить шесть месяцев.

А х м е д. А почему суд дал четыре года?

Н у р и. Ты что, смеешься? Из-за тебя! Ты так говорил, будто Хромой Осман твой родной брат. Как сейчас помню. Был понедельник, тяжелый день. Последнее заседание. Сегодня, говорили, будет и обвинение, и защита, и решение. Я со своим адвокатом, стариком Шерифом-беем, помнишь его?..

А х м е д. Не помню.

Н у р и. Мошенник. Ну да, адвокат — ничего не подделаешь. Так вот, мы с ним по коридору суда взад и вперед, и вдруг,— ведь случается, человек видит во сне, что с ним случится наяву,— вот я и увидел тебя. Стоишь у окна, на тебе, как сейчас помню, коричневый костюм, адвокатская мантия переброшена через руку, вроде как летнее пальто. Мой старик говорит: «Смотри, Нури, Хромой Осман панял этого безбородого своим адвокатом. Сегодня он впервые будет выступать на суде. Ты не беспокойся, говорит, таких мы видели на своем веку. Сколько таких адвокатов я проглотил, как кусок сыра!..» Но вышло, что ты нас проглотил, как рахат-лукум!

А х м е д. Прости, я поступил глупо. Я защищал по совести.

Н у р и. Помню, ты беседовал с одной девушкой.

А х м е д. В тот день я пригласил Нихаль в суд. Она хотела слушать мою речь.

Н у р и. Видно было, что здорово втрескался. Ты стоял у окна, глаз с нее не сводил и соловьем заливался. И на суде, когда держал речь против меня, ты все смотрел туда, где сидела эта девушка.

А х м е д. Да, да. Все было так. Продолжайте.

Н у р и. Ты издеваешься надо мной?

А х м е д. Нет. Вспоминаю. В тот день, там, в коридоре, у окна, я впервые понял, что так сильно ее люблю. Простите...

Н у р и. Да уж придется... Ладно, что прошло, того не вернуть.

А х м е д. Выпейте со мной рюмку водки.

Н у р и. Выпьем.

А х м е д. За ваше здоровье.

Н у р и. Спасибо. Видно, дела идут неважно?

А х м е д (*задумчиво*). Да, дела идут неважно.

Н у р и. Оно и видно. Что-то впал в меланхолию!

А х м е д. Да, да... Я впал в меланхолию...

Пауза.

Вот что я хочу вам сказать, Нури-эфенди: если еще раз прольете кровь, возьмите меня адвокатом, обещаю добиться для вас оправдания.

Нури. Ну и скажешь тоже! Я ж говорю, что только сегодня утром вышел. Дай хоть пожить на свете, господин адвокат.

Халид *(зовет)*. Нури!

Нури. Я товарища оставил. Пойду.

Ахмед *(подает Нури визитную карточку)*. Здесь указан адрес моей конторы. Если понадобится, приходите.

Нури. Можно. *(Отходит к своему столу. Халиду.)* Как увидел этого человека, кровь во мне закипела. Подошел к его столу, чтобы затеять ссору. А потом, ты видел, выпил с ним водки. Человек низкое существо, очень быстро забывает зло.

Халид. Ладно, черт с ним! Значит, ты говоришь, нам удастся переправить в тюрьму гашиш?

Нури. Старший надзиратель свой человек.

Халид. Сколько ему дадим?

Нури. Двадцать пять процентов.

Халид. Подходяще.

Входит Али. Он принес арбуз для Ахмеда.

Али *(Ахмеду)*. Резать?

Ахмед. Не надо. Принеси мне длинный острый нож. Нужно, не задевая края, выпнуть сердцевину арбуза.

Али уходит. Входит Зехра, останавливается, оглядывается по сторонам.

Орхан. Вы кого-нибудь ищете, ханым?

Зехра. Моего мужа. *(Продолжает осматривать посетителей.)*

Орхан. Кто ваш муж?

Зехра *(заметив Нури)*. Вот он. *(Идет к столику, за которым сидит Нури.)*

Халид замечает Зехру.

Халид *(Нури)*. Она пришла.

Нури. Кто?

Халид. Зехра.

Нури *(поворачивается, видит Зехру, хмурится)*. В чем дело?

Зехра *(садится на свободный стул)*. Я голодна. *(Начинает есть.)*

Нури. Дома разве нечего было поесть?

Зехра. Я ждала тебя... Думала, вместе будем обедать... Сядем друг против друга...

Нури. Напрасно ждала.

Зехра. Я ждала тебя четыре года. Я работала на табачной фабрике. Кормила тебя в тюрьме... Четыре года... И это я-то напрасно тебя ждала сегодня?

Нури. Зачем ты пришла?

Зехра. Настоящий мужчина, выйдя из тюрьмы, идет к себе домой, а не в кабак.

Нури. Зачем, говорю, пришла сюда? Здесь не место для порядочной женщины. Уходи.

Зехра. Слушай, Нури, ты не смеешь меня прогонять... Ты едва вышел за порог тюрьмы и уже обманул меня. Ты сказал — ступай домой, я приду... Я думала, что после четырех лет тюрьмы ты перестанешь врать... Ничего, я сделаю из тебя человека!

Подходит Орхан.

Нури (*Орхану*). Ты чего тут торчишь?

Орхан. Я хотел спросить, не прибавить ли вам закуски?

Нури. Не надо.

Зехра. Принесите мне стопочку.

Нури. Этого еще не хватало! (*Орхану.*) Ничего не надо. Иди.

Орхан отходит.

Зехра. Нури! Несмотря на все твоё свинство, я тебя любила и считала моим мужем... Я и до сих пор люблю тебя. Ты как огонь горишь в моей груди... Либо я сделаю из тебя человека, либо...

Нури (*насмешливо*). Либо что?

Зехра. Либо... я знаю, что я сделаю!

Нури. Что ты сделаешь?

Зехра. Я знаю, что я сделаю!

Нури. Раскудаhtалась! Что ты привязалась ко мне? Уходи сию минуту! Это начинает мне надоедать.

Зехра. А! Я знаю, почему ты не идешь! Ты ждешь женщину...

Нури. Дура!

Зехра. Да, да я знаю... Я тебе мешаю... Вот почему ты меня гонишь. Но я не уйду!

Нури (*в бешенстве*). Не зли меня!

Халид. Молчи, Зехра! Ты же знаешь, какой он бешеный!

Зехра. Он ждет женщину.

Нури. Убирайся отсюда!

Зехра. Я не уйду.

Нури бьет Зехру по лицу. На звук пощечины все оглядываются. Нури сидит за столиком как ни в чем не бывало. Зехра закрывает лицо.

Нури. Перестань реветь. Все смотрят.

Халид. Да уходи же, Зехра! Видишь, твой муж сегодня не в духе. Никаких женщин он не ждет. Мы пришли просто выпить и поговорить, как мужчина с женщиной.

Зехра *(встает)*. Все равно я сделаю из тебя человека. Хорошо, я уйду. Но знай, что я тебя жду через час. Если не придешь, я знаю, что мне делать! *(Идет к выходу.)*

Открывается дверь, и на пороге появляются Нихаль и Неджми. Женщины смотрят друг на друга. Зехра следит, куда они пойдут.

(Про себя). Вот, оказывается, какие шлюхи приходят сюда! *(Уходит.)*

Ахмед *(при виде Нихаль и Неджми вскакивает с места, делает два шага в их сторону, потом останавливается)*. Милости прошу.

Нихаль и Неджми здороваются, потом все трое садятся.

Нури *(Халиду)*. Глупости! Что она может сделать?

Халид. Донесет в полицию?

Нури. Нет! Этого она не сделает! Да ведь и я еще чистенький!

Халид. Бросит тебя!

Нури. Нет! Она любит меня. Просто пугала.

Халид. А, вспомнил: она сделает из тебя человека. Тогда нам крышка.

Нури. Брось шутить. *(Замечает Нихаль.)* Ого! Смотри на эту женщину. Это она!

Халид. Кто такая?

Нури. Молчи. Теперь только гляди в оба.

Ахмед *(растерянно)*. Али!

Орхан *(подбегает)*. Прикажите, Ахмед-бей!

Ахмед. Принеси фисташки.

Орхан. Сейчас! *(Уходит во внутреннее помещение.)*

Ахмед. Ты... Вы любите жареные фисташки...

Нихаль. Вы еще помните об этом?

Ахмед. С пристани Кадыкей.

Н и х а л ь. Благодарю.

А х м е д. Теплые.

Н и х а л ь. Благодарю.

Орхан приносит фисташки, прикрытые салфеткой. Ахмед снимает салфетку.

А х м е д. Прошу...

Н и х а л ь. Благодарю вас. Мне не хочется.

А х м е д. Может быть, выпьете что-нибудь? Здесь бывает хорошее вино. Иногда я пью. Они специально держат для меня... французское вино...

Н и х а л ь. Вы знаете, я не люблю вина.

А х м е д. Я думал, может быть, уже полюбили... Человек меняется.

Н и х а л ь (*осматривает Ахмеда с головы до ног*). Даже очень. Но я не изменилась.

А х м е д. Нисколько?

Н и х а л ь. Нисколько.

А х м е д. Это хорошо...

Пауза.

Н и х а л ь. Пригласив меня сюда, посадив среди этого сброда, вы, вероятно, хотели мне отомстить?

А х м е д. Нет.

Н и х а л ь. Разве нельзя было выбрать другое место для встречи?

А х м е д. Нет.

Н и х а л ь. Почему?

А х м е д (*вдруг рассердившись*). Мне так захотелось. Я делаю то, что мне хочется.

Н и х а л ь. Не повышайте голос!

А х м е д. Послушайте, вы пришли сюда, чтобы читать мне нотации или поговорить о деле?

Н е д ж м и. Ахмед, возьми себя в руки.

А х м е д. А если я не возьму себя в руки, вы уйдете? Пожалуйста.

Н е д ж м и (*встает*). Пошли, Нихаль!

Н и х а л ь (*тянет Неджми за рукав*). Садитесь. Ахмед-бей знает, что все козыри в его руках. Раз уж мы пришли сюда, будем терпеть до конца все его оскорбления. Даже интересно, какие еще штучки он может выкинуть! Не уйду отсюда, пока не кончим дела.

А х м е д. Я вижу, ваша практичность со временем развилась.

Н и х а л ь. Неджми-бей говорил о вашем странном предложении, о вашем условии.

А х м е д. Только странном?

Н и х а л ь. Чтобы не сказать, глупом, идиотском.

А х м е д. Что еще он говорил?

Н и х а л ь. Он говорил, что вы можете отказаться от своего условия, если я приду сюда. Прошу вас, поговорим откровенно и покороче. Меня ждет Айтэн. Мы едем на прием.

А х м е д. Я советую вам позвонить Айтэн, чтобы она не беспокоилась. Разговор наш может затянуться. Вот телефон.

Н и х а л ь. Хорошо, я согласна выслушать вас.

А х м е д. Однажды, кажется, в последний день, вы мне сказали, что мир — это дремучий лес, а люди — дикие звери: сильный пожирает слабого, хитрый — глупого. Помните?

Н и х а л ь. Помню.

А х м е д. Это не оригинальная философия...

Н и х а л ь. Тогда вы тоже так говорили.

А х м е д. Значит, вы помните, что я тогда говорил?

Н и х а л ь. Тяжелые дни нелегко забываются.

А х м е д. Эта неоригинальная философия стала теперь моим девизом.

Н и х а л ь. Весьма рада за вас.

А х м е д. Я построил свою жизнь по закону дикого леса. Вы знаете, сколько я зарабатываю в месяц?

Н и х а л ь. Не знаю и знать не хочу.

А х м е д. Почему?

Н и х а л ь. Мне будет приятно узнать, что вы теперь без труда расплачиваетесь за радио, холодильник, электричество и газ.

А х м е д. Разве Неджми не говорил вам, что я готов заплатить десять тысяч лир за одну ночь с вами?

Н и х а л ь. Вы не могли найти более оригинального способа меня оскорбить?

А х м е д. Я зарабатываю в месяц в среднем пятнадцать тысяч лир. На моем текущем счету около ста тысяч лир. Недавно я взял одно дело, в конце месяца его завершу, это даст чистыми деньгами сорок тысяч лир. Вот моя чековая книжка. *(Достает из бумажника чековую книжку и кладет перед Нихаль.)*

Н и х а л ь *(плачет)*. Я презираю тебя... Презираю...

А х м е д. Это не может помешать мне любить тебя как прежде, больше чем прежде...

Неджми. Нихаль-ханым, возьмите себя в руки, на вас смотрят.

Ахмед. В таких заведениях привыкли к слезам, ругани и драке...

Нихаль. Все, я больше не плачу.

Неджми. Ты хочешь уговорить женщину, которая презирает тебя?

Нихаль. Прекратите, прошу вас!

Ахмед. Нихаль, если ты вернешься домой, я готов перевести на твое имя все свои сбережения.

Неджми. Позор!

Ахмед. Что позор? Мое желание вернуть домой свою жену или обещание перевести на ее имя все мои деньги?

Нихаль (*Ахмеду*). Ты самый ужасный, самый безжалостный человек на свете!

Неджми. Идем, Нихаль!

Ахмед. По-моему, ты предпочитаешь, чтобы она не возвращалась ко мне, а просто провела бы со мной одну ночь, получила свои десять тысяч лир, а ты — свои коммиссионные... А потом вышла за тебя замуж...

Нихаль. Ты стал волком!

Ахмед. Я люблю тебя. Мне неизвестны твои отношения с ним.

Нихаль. Между нами ничего серьезного не произошло.

Ахмед. И он так говорит. Но что бы у вас там ни было, я готов простить... Но если ты хочешь... Если ты действительно хочешь...

Нихаль. Чего? Чего я хочу?

Ахмед. Если хочешь, я готов дать развод без всяких условий!.. Я все могу. Я могу помириться с дядей. И дом на Кызылтопраке оформить на твое имя.

Нихаль. Ты страшный человек!

Ахмед. Вернись домой, Нихаль.

Нихаль. Я сойду с ума.

Неджми. Идем, Нихаль, он даст тебе развод!

Ахмед. Через пять лет я сделаю тебя самой богатой женщиной Стамбула.

Неджми. Если не попадешь в тюрьму.

Ахмед. О нет! Со мною в этой грязи плавают рядом такие высокопоставленные лица... Так много золота течет из этого болота, что никто не посмеет даже волос на моей голове тронуть.

Нихаль. Какими делами ты занимаешься?

Ахмед. Такими, какими (*указывает на Неджми*) он

занимается слегка, мой друг Абдурахман несколько серьезнее, а твой дядя с утра и до вечера! Такими, какими ты в свое время советовала мне заниматься. Да, Нихаль, я вышел на завоевание мира, мир будет моим! И все, что будет моим, будет и твоим, Нихаль!

Н и х а л ь. Как болит голова...

Н е д ж м и. Ты заболеваешь.

Н и х а л ь. А что дядя скажет? Он так на тебя обижен!

А х м е д. Я же сказал, помиримся! У меня есть одно дельце... Только услышит его запах, повиснет у меня на шее.

Н и х а л ь. Айтэн...

А х м е д. Что Айтэн?

Н и х а л ь. Сердилась, что я оставила тебя... Теперь обрадуется.

А х м е д. Вернись назад, чтобы обрадовать Айтэн!

Н и х а л ь (*перелистывает чековую книжку*). Смотри, в каком состоянии твоя чековая книжка! Не отличишь от тетради бакалейщика, вся в масле. (*Перелистывает страницы.*) Разве ты не можешь получить новую?

Н е д ж м и. Нихаль, не делай глупости! Не забывай, что тебе дядя говорил.

А х м е д. Страшная вещь быть холостым... Поверишь, если я тебе скажу, что я два месяца не мылся?

Н и х а л ь. В доме, наверно, пыль выросла на два пальца...

А х м е д. На два пальца.

Н и х а л ь. Грязной посуды...

А х м е д. Горы...

Н и х а л ь. Боже мой...

А х м е д. Мы оставим эту квартиру как есть, переедем в другую, в квартале Нишанташы... Найдем повара, горничную...

Н и х а л ь. Лучше снимем квартиру в квартале Таксим.

А х м е д. Хорошо, в квартале Таксим.

Н и х а л ь. Как Айтэн обрадуется! Как обрадуется!..

А х м е д (*грустно*). Значит, договорились... Спасли семейное гнездо от разрушения. (*Осторожно отнимает у Нихаль чековую книжку.*) Я люблю тебя безумно, без памяти... Но ты не можешь себе представить, какое я питаю к тебе, а главное к себе... отвращение! К тебе, к нему, ко всем людям. Меня тошнит от тебя! Но я еще подлее тебя! Мы оба страшно одиноки... Мы предоставлены самим себе. О, как было бы хорошо, если бы ты не согласилась!

Согласилась бы только переспать со мной... Но вернуться в дом мужчины, которого не любишь, быть женой человека, которого презираешь! О, если бы ты отказала! Как я этого ждал! *(Пауза.)* Ступай, Нихаль! Встань, возьми Неджми под руку. Вы опоздаете на прием. Я завтра подам заявление о разводе. За неделю судья все уладит. За пятьсот лир можно еще не такое дело уладить. Женитесь! Пусть у вас будут дети, похожие на вас, на нас! Будьте счастливы. До свидания. Неджми, до поможет тебе бог! Пусть он даст вам терпение, вам обоим и всем нам...

Нихаль с удивлением встает, хочет что-то сказать, но, передумав, берет Неджми под руку.

Н и х а л ь. До свидания, Ахмед.

А х м е д. Прощай... Прощайте, ребята. Привет Айтэн.

Нихаль и Неджми уходят.

Н у р и *(подходит к столику Ахмеда)*. Это она была, правда?

А х м е д. Да.

Н у р и. Поссорились?

А х м е д. Да.

Н у р и. Оставила тебя, вышла за этого щелкопера?

А х м е д. Да.

Н у р и. Женщина все равно что мыло — если не будешь крепко держать в руке, выскользнет.

Входит А л и.

А л и *(принес нож.)* Ахмед-бей, вы просили нож для арбуза?

Ахмед берет нож, вертит в руке, задумывается. Смотрит на Нури.

Н у р и *(берет нож)*. Вот это нож! На что им здесь такой?

А л и. Этим ножом овец режут.

Н у р и. Легонько ударишь — по самую рукоятку войдет в тело.

А х м е д. Али, принеси закуски. *(Нури.)* Ты любишь жаренные фисташки? *(Али.)* И водку принеси! *(Нури.)* Почему ты стоишь? Садись. Как зовут твоего товарища?

Н у р и. Халид.

А х м е д *(зовет)*. Халид-эфенди, перекочевывай на эту сторону.

Х а л и д. Не помешаю?

А х м е д. Напротив. Али, неси сюда все, что на том столике.

Али выполняет поручение Ахмеда и отходит к стойке. Нури и Халид садятся за столик Ахмеда.

(Наполняет рюмки.) За приятную встречу!

Х а л и д и Н у р и. Очень рады!

Чокаются, пьют.

А х м е д (Нури). Я узнал тебя, как только увидел.

Н у р и. Но сделали вид, будто не узнали.

А х м е д. Испугался.

Н у р и. Что я вам смогу сделать худого?

А х м е д. Что бы ты ни сделал, будешь прав.

Х а л и д. Оставим эти разговоры. Что было, то прошло.

А х м е д. Выпьем еще по одной.

Х а л и д. Мы уже раздавили бутылочку. Может быть, ребята, не будем спешить?

А х м е д. Двести пятьдесят грамм на человека, и это называется мужчины?

Н у р и. За ваше здоровье.

А х м е д. За ваше...

Н у р и. По радио опять гявуры тоску разводят.

А х м е д. Али, выключи радио. Поставь пластинку... Что-нибудь турецкое.

Н у р и. И не слишком громко!

А х м е д. В прежние времена храбрецы, молодцы удалые, были совсем другие.

Н у р и. Какие?

А х м е д. Имена их, слава о них вошли в книги. Вчера мне попала такая книга по истории. Я прочел в ней о Шекере Кязыме. Это был один из семи прославленных храбрецов. Жил в Стамбуле. Этот богатырь, после того как вышел из тюрьмы, в течение десяти лет по всему свету искал судью, который его осудил. И как только нашел, отправил на тот свет.

Х а л и д. Если посылать на тот свет всякого судью, который тебя осуждает, то некому будет выступать в суде.

А х м е д. Вот что тебя беспокоит!

Н у р и. В какой книге ты прочитал о Шекере Кязыме?

А х м е д. В книге Эвлии Челеби. Эх, все это уже стало историей! Остались только описания. Ну-ка, Рябой Нури, разрежь арбуз! Это дело попроще, чем зарезать судью или адвоката.

Х а л и д. Что за разговор вы затеяли? Больше не о чем говорить, что ли?

А х м е д (*протягивает нож Нури*). Ну-ка, посмотрим, сможешь ли ты вынуть сердцевину, не повредив ее?

Нури берет нож, начинает резать арбуз. У него дрожит рука.

Рука у тебя дрожит, Нури. Вижу, в тюрьме ты отвык играть ножом.

Н у р и. У меня рука не дрожит. А в тюрьме я ходил с ножом за поясом.

А х м е д. Во времена султана Хамида инвалиды и старые паши тоже носили мечи.

Н у р и. Слушай, чего ты на меня нападаешь?

А х м е д. Для чего мне на тебя нападать? Обиделся? Давай лучше выпьем! (*Поднимает рюмку.*)

Х а л и д (*хватает руку Нури*). Оставь, хватит тебе. (*Ахмеду.*) Ахмед-бей, ты человек образованный... Не спаивай парня.

А х м е д (*Нури.*) Товарищ твой бережет тебя... Не пей, а то блевать начнешь. Это тебе не материнское молоко!

Н у р и. Замолчи! (*Пьет.*)

Х а л и д (*Нури*). Ты что, слепой? Не видишь, сам не пьет, а тебя подпаивает.

А х м е д. Это я-то не пью! Смотри! (*Пьет.*)

Х а л и д. Нури, вставай, уйдем отсюда.

А х м е д. Куда это вы? Ну и времена пошли! Мужчины бегут от водки.

Н у р и. Потихе, адвокат. Чего доброго, беду накличешь.

А х м е д. Беда может прийти от того, кто на это способен.

Н у р и. Выходит, от меня не может?

А х м е д. Ты только сегодня утром вышел из тюрьмы, страх в твоих глазах еще не прошел. И не похоже, что когда-нибудь пройдет. Видно, тебе там здорово хвост прищемили. А перед женщинами небось будешь хвастать, героя из себя корчить. Почему не режешь арбуз? Да не так! Смотри, как брызнуло сбоку, как кровь. Не можешь резать, так дай я разрежу. (*Делает вид, будто хочет отнять нож.*)

Нури не дает. Продолжает резать.

Вот я смотрю на тебя и жалею.

Н у р и. Чего меня жалеть?

А х м е д. Ты ведь знаешь, что из-за этой женщины,

которая сидела за моим столом, ты получил четыре года.

Х а л и д. Ахмед-бей, ты опять начал?

А х м е д. Если бы я не был влюблен, если бы не хотел блеснуть перед ней, если бы не пригласил тогда ее в суд, чтобы показать, посмотри, мол, каков я,—захочу и любого могу за решетку упечь. Если бы я так искусно не запутывал законы, судья не дал бы тебе четыре года.

Х а л и д. Судьи не слушаются адвокатов, мы тоже разбираемся в таких делах.

А х м е д. А меня послушались. Если адвокат Рябого встретился с судьей, то я договорился с самим прокурором.

Н у р и. Врешь!

А х м е д. Зачем мне врать?

Н у р и. А что я тебе сделал?

А х м е д. Я тебя тогда только впервые видел. Сказал ведь, хотел блеснуть перед девушкой. Это, брат, любовь. Думаешь, легко?

Н у р и. Замолчи!

А х м е д. А что, если не замолчу?

Х а л и д. Ахмед-бей, ради бога, отстань от парня!

А х м е д (*Нури*). Отстать от тебя, парень?

Н у р и. Ах ты собака!.. (*Играет ножом.*)

А х м е д. Чего ты играешь ножом, будто фокусник в цирке? Режь арбуз, слышишь? Режь арбуз! Или ты способен только с бабами воевать?

Н у р и (*вскакивает с места*). Молчи! Я тебя зарежу! (*Хватает Ахмеда за горло.*)

Х а л и д. Нури!

Н у р и (*толкает Халида, тот падает*). Отойди! (*Подносит нож к горлу Ахмеда.*)

А х м е д. Ну, ударь, чего боишься? Трус! Наверно, тебе твоя жена наставляет рога? Ударь же!

Н у р и. На!

Селим вскакивает с места и становится между Ахмедом и Нури. Он хватает за руку Нури, нож задевает плечо Селима.

С е л и м. Стой, болван!

Х а л и д. Не отпускай, держи его!

А х м е д. Отойди!

Селим с силой сжимает руку Нури, нож падает на пол. На шум прибегают Али и Орхан.

А л и (*Нури*). Что ты делаешь?

Х а л и д. Он не виноват.

Н у р и. Пустите меня! Пустите!

О р х а н. Полиция!

С е л и м. Не надо никакой полиции! Выведите на улицу, пусть убирается!

Н у р и. Пустите!

Х а л и д. Иди!

Халид, Али, Орхан, подталкивая Нури, выходят вместе с ним на улицу. Остаются Ахмед и Селим.

А х м е д (*устало*). Кто ты такой?

С е л и м. Рабочий с верфи, Селим... Товарищи меня зовут Селим-абей.

А х м е д. Ты знаешь меня?

С е л и м. Нет! В первый раз вижу.

А х м е д. Почему ты стал между нами?

С е л и м. Я был свидетелем вашей ссоры. Ты заставлял человека убить себя. Жаль и его и тебя.

А х м е д. Нож мог задеть тебя. Вместо меня мог умереть ты!

С е л и м. Может быть. Что ж из того?

А х м е д. У тебя кровь на груди... (*Поспешно встает.*)

С е л и м. Ничего страшного, царапина.

А х м е д. Но почему же ты это сделал?

С е л и м. Станный вопрос... Разве ты не сделал бы то же самое? Чему удивляешься? Где ты вырос, среди волков, что ли? Ни от кого добра не видел?

А х м е д (*задумывается*). Селим-абей, я должен что-то сделать, сейчас же, сию минуту... Сейчас же, сию минуту я должен выбраться из болота, в котором увяз по горло... Селим-абей, я должен что-то сделать... Как прежде... как прежде...

Входит А л и, поднимает с пола газету, кладет на стол Ахмеда.

А х м е д (*берет газету, смотрит на Селима*). Ты читал, Селим-абей?

С е л и м. Читал.

А х м е д. Хорошо. (*Встает, подходит к телефону, набирает номер.*) Это вы, Исмаил? Говорит адвокат Ахмед. Я беру на себя защиту этого дела, того самого, что будет слушаться завтра. Что вы сказали? Что?.. Да, я решил снова стать чужаком. И убежденным! Сейчас я к вам приеду. (*Кладет трубку, смотрит на Селима.*) Селим-абей, ты коммунист?

С е л и м. Нет.

А х м е д. А мог бы стать.

С е л и м. Мог бы.

А х м е д. Выпьем с тобой по рюмке, Селим-абей.

С е л и м. Выпьем. Налей нам, Али!

Али наполняет рюмки.

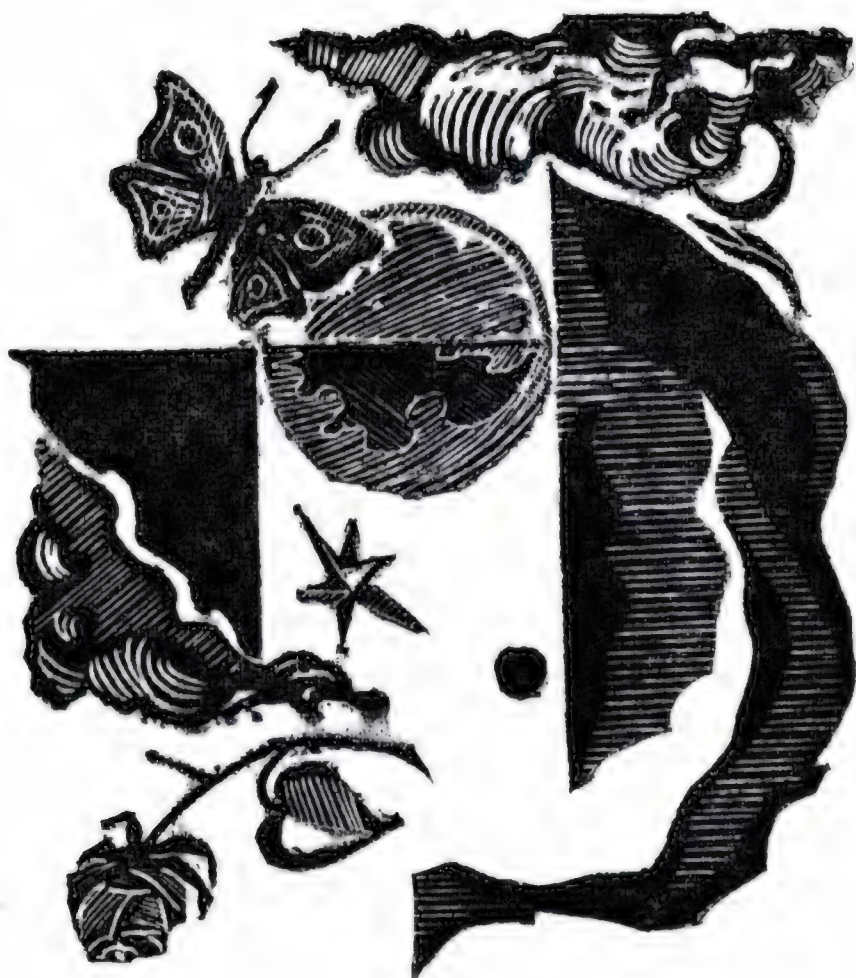
А х м е д. В жизни так много сложностей, Селим-абей. И все-таки мир прекрасен! *(Улыбается.)* И сказать вам еще одну важную вещь? Я верю людям, хорошим людям... За твое здоровье, Селим-абей. И за добрую славу Джордано Бруно!

А л и. Это кто такой?

А х м е д. Тоже один чудака.



Миниатюры







СОЛОВЕЙ И КАНАРЕЙКА

Не зря в народе говорят: «Быть бы соловью безголосым, век бы горестей не знал».

Задумывался ты когда-нибудь, почему так говорят?

Соловей не поет в неволе. Вся душа соловьиная — в его песне. Едва засадишь в клетку соловья, как он вместе с песней, словно невидимый выдох, отдает свою душу, и она уже никогда не возвращается к нему. Если б соловей приучился петь в неволе, век бы он горестей не знал...

А канарейка? Ведь и ее иные считают певуньей не хуже соловья. Только никто еще не сказал, что лучше б ей быть безголосой. Дело в том, что эта птица прекрасно поет в неволе. Сидит себе день-деньской в резной нарядной клетке и знай заливается звонкой песней. И нет для нее иных забот, кроме как ублажать слух ценителей птичьих трелей, развешивая на прутьях клетки свои песни, словно жемчужные ожерелья.

Лучше быть соловьем, чья душа не терпит неволи, нежели канарейкой, не знающей бед.

СОВЕТЫ МУДРОГО ЧЕЛОВЕКА

Один мудрый человек между двумя затяжками сигареты сказал мне:

— Самый надежный друг и самый коварный враг человека — его нервы. Не хочешь угодить в ловушку, не желаешь терпеть поражений — не давай воли своим нервам.

Говорят, одряхлевший волк становится посмешищем для собак. Не верь! Смешны собаки, что бросаются на одряхлевшего волка.

Ничто в этом мире не остается неизменным. Но история не есть простое повторение былого, а предательство — отнюдь не движение вперед.

Чем дольше гладят человека по шерстке, тем вероятней, что он цапнет за руку.

Тот, кто не удержался на высоте, невольно желает других видеть в своем положении. Знать о чьем-то падении — это их единственное маленькое утешение. Но до чего же оно иллюзорно!

На вершину горы можно забраться либо напрямик, либо кругным путем. Какую выбрать дорогу — зависит от обстоятельств.

За дело, в успех которого не веришь, лучше и не берись — все равно ничего у тебя не выйдет.

Сердце без любви все равно что бумажный цветок. Он, разумеется, выглядит ярким и свежим, и лепестки у него не вянут, но ведь он не растет и лишен аромата.

ЗВУКИ И ТИШИНА

На долгих семь дней я покинул Стамбул. Гостил в Ченгелькёе на ялы у одного знакомого, в полукилометре от моря. Почему дом в полукилометре от моря называют прибрежной виллой? Не знаю. Наверное, по той же причине, по которой любую халупу в Эренкёе называют особняком, а каждое трехэтажное каменное строение в Таксиме — апартыманом. Итак, целых семь дней провел я на ялы у Босфора, по самое горло погружаясь в тишину. «Вот и славно, — скажете вы, — дал роздых своей голове». Не говорите так!

Голове, погруженной в тишину, хорошо отдыхать, как и арбузу покачиваться в прохладной стоячей воде, часок-другой, но не больше. Тишина, растянувшаяся на долгих семь дней, на восьмой день превращается в безмолвие смерти.

Отдых в этой пустоте абсолютно немыслим! Не только запахи, краски и движение в этом извечном, беспредельном бытии, но и звуки его для меня жизненно необходимы. Особенно те звуки, что созданы людьми, те, которые вплетаются в голоса природы. Гудки паровозов, пароходов, заводов, звуки радио, граммофона, скрипки, рояля, сигналы автомобилей, перестук вагонных колес!

Городские шумы мне родственней и ближе, чем, положим, гул извергающегося вулкана. Потому что в шуме города слышится и гул вулканов.

Тишина в Ченгелькёе подобна болотистой ряске, лишь время от времени ее нарушают гудки пароходов, то высокие или низкие, то пронзительные или хриплые.

Отчего эти пароходные гудки внушают жителям отдаленных уголков босфорского побережья щемящее чувство разлуки? Отчего они всякий раз наполняют душу невыплаканными слезами?

Я понял.

Пароходы, разрывая тьму безмолвия, движутся навстречу звукам и свету, свидетельствуют о движении, о жизни.

Сердца тех, кого с каждым днем все глубже засасывает трясина смертной тишины, рвутся на части от разлуки со звуками, бросаются в отчаянии в волны, бурлящие за пароходной кормой, и в последнем усилии тянутся навстречу звукам.

Быть вдали от звуков — значит быть вдали от жизни. Самое живительное из всего, что дарует нам извечное, беспредельное бытие, — это звуки.

О ТУРЕЦКОМ СТИХОСЛОЖЕНИИ

Разговорились мы как-то с товарищем-стихотворцем о турецком языке. Он мне поведал о результатах некоторых своих поэтических опытов. Полагая, что это может заинтересовать моих читателей, особенно тех из них, кто склонен к сочинению стихов, — если таковые имеются, — я счел полезным привести здесь рассказанное им.

«Одной из наиболее характерных особенностей турецкого языка в области стихосложения является то, что на этом языке возможна и легко произносима самая длинная по количеству слогов стихотворная строка. Судя по результатам моих опытов, у нас могут слагаться и легко произноситься, не утрачивая при том гармонии, строки из двадцати и более слогов.

Это достигается тем, что турецкому языку свойственны не только долгие и краткие слоги, но, если можно так выразиться, и круглые слоги. Точнее, в турецком языке нет слогов, как таковых, а есть слова. Долгие слова, краткие слова, круглые слова. Особое внимание обратите на турецкий звук «р». Он подобен колесу. Подхватывая самые длинные и тяжелые строки, звук «р» мчит их со скоростью, превышающей скорость стамбульских трамваев.

Арабское и персидское влияние привило турецкому язы-

ку долготу и краткость, а округленность — результат его исконного естества. Соединение этих трех свойств создает то, что именуется стамбульским говором (сказанное в первую очередь относится именно к стамбульскому говору).

Я считаю, что турецкому стиху не может быть обеспечена свойственная нашему языку мелодичность ни самим количеством слогов в строке, ни противопоставлением долготы — краткости. В основании мелодичности турецкого языка, как я уже сказал, находится слово. И архитектоника стиха должна создаваться с использованием своеобразного строительного материала, именуемого словом. Аруз основывается только на долготе — краткости. Хедже (хедже хесабы) — только на количестве слогов. То есть один опирается на следы арабского и персидского влияния в языке, другой же — на исконное свойство родного языка. С этой точки зрения оба приема — односторонни. Именно поэтому современные стихотворцы, пишущие размером хедже, дабы выйти за пределы этого канонического размера, вынуждены использовать и элементы мелодичности, основывающиеся на противопоставлении долгих слогов кратким, что свойственно арузу.

Однако надо смотреть в корень. Чтобы простую мелодичность стиха возвысить до многокомпонентной гармонии, в качестве исходной единицы используя особенности размеров и хедже и аруза, надо, по-моему, брать не слог, а слово. Надеюсь, дальнейшие опыты в этом направлении принесут желанные результаты».

НАШИД И СМЕХ НАРОДА

Вчера вечером Нашид с товарищами побывал в нашем квартале.

В одной стороне нашего квартала вздымаются под небеса многоэтажные доходные дома, в другой жмутся друг к другу одноэтажные домишки и вовсе хибары, сооруженные из жести, досок, булыжников, которыми мостят дороги.

Жители именно этой части квартала и стали зрителями Нашида.

Воткнули в землю четыре жердины, натянули на них два одеяла, поставили стол, пять табуретов. Это сцена. Для зрителей на длинные скамьи из кофейни уложили поперек рядами толстые половые доски. Получился зрительный зал.

И вот Нашид с такой вот сцены зрителям, сидящим в таком вот зале, показал трехактный водевиль.

Народ, а это был самый что ни на есть настоящий народ, в течение двух часов без отдыха смеялся. Нечасто приходится наблюдать, как хохочет простой народ. Заставить его смеяться — дело весьма непростое. И мало что может сравниться по своей силе, обнадеживающему и вдохновляющему воздействию с хохотом простого народа, если его как следует рассмешить.

Нашид — самый большой наш артист, умеющий рассмешить настоящий народ в зрительном зале, как он сам говорит, «без калориферов», со сцены без декораций, без аппаратуры для создания световых эффектов.

Что может быть прекрасней народной любви? Заставить народ кого-нибудь полюбить — практически невозможно. А того, кто изменит народной любви, либо моментально забудут, либо возненавидят.

Нашид многие годы несет любовь народа как знамя. Народ многие годы любит Нашида, потому что на его представлениях хоть раз в месяц, хотя бы на пару часов можно окунуться в атмосферу светлого хохота, забыть об усталости, накопившейся в течение многих дней адского труда. Веселя народ целую зиму, переходя из квартала в квартал целое лето, обходясь без декораций, освещения, грима и прочих сценических атрибутов, опираясь лишь на любовь народа к себе и своим товарищам, на свою собственную любовь к народу, Нашид вершит свое дело.

Я уважаю сына народа, поистине народного артиста Нашида. Возможно, он придерживается не слишком прогрессивных взглядов, возможно, многое не понимает из того, что надо бы понимать, однако к задаче, которую он взвалил на свои плечи, к задаче смешить народ, который не просто рассмешить, он относится как к святому делу и поэтому стал по-настоящему большим человеком, достойным самого глубокого уважения.

ДОГМАТИЧЕСКИЙ МЕТОД

Один мой знакомый после посещения выставки художников группы «Д» сказал мне:

— Ничего я не понял в этих картинах. По-моему, настоящая живопись прежде всего должна...

Я перебил собеседника на полуслове:

— Если ты начинаешь свои рассуждения о живописи

со слов «прежде всего должна», значит ты ничего не смыслишь в живописи. Ты уже пришел на выставку с заранее сложившимся, устоявшимся, предвзятым представлением о том, какой должна быть живопись. И вдруг увидел картины, которые никак не влезали в узкие рамки твоих окаменелых, ограниченных, словно бы отштампованных представлений. Вот почему ты ничего не понял. И никого, кроме себя самого, не вини в этом.

Приятель изумленно взглянул на меня:

— Ты, что же, сторонник группы «Д»?

Я рассмеялся.

— Не в этом дело! А возразил тебе вовсе не потому, что испытываю какие-то симпатии или антипатии к участникам этой группы. Я просто хотел доказать тебе, что к искусству нельзя относиться догматически, да и не только к искусству, но и ко всем областям общественной жизни, которая, пребывая в постоянном движении, ежеминутно меняется. Мы часто бываем слепы из-за нашего догматизма, из-за узких, сковывающих нас рамок начетничества.

На этот раз собеседник взглянул на меня слегка ошарашенно.

— Выходит, ты против того, чтобы человек придерживался четких принципов и подчинял все свои взгляды этим принципам?

Я снова рассмеялся.

— Не путай догматику с диалектическим методом, который является воплощением переменчивой, находящейся в постоянном движении действительности. Справедливость этого метода доказана самой жизнью. Я противник окаменелой, негибкой, раз и навсегда устоявшейся системы мышления. Противник принципов, порожденных этой системой. Я — сторонник другого метода, живого, как сама жизнь. Если бы ты в восприятии живописи руководствовался этим методом, ты бы не начал свой рассказ с постулата: «настоящая живопись прежде всего должна...» Диалектический метод дал бы тебе возможность шире взглянуть на вещи, увидеть представленное на выставке направление в его развитии, от самых истоков, ты бы понял, почему эти художники стали пользоваться именно такими приемами художественного выражения. И тебе стало бы ясно то, чего ты не понял с самого начала.

Логика настолько сильна, что горы своротить способна. Самую отъявленную глупость, замаскировав с помощью логики, можно выдать за величайшую премудрость, друзья.

Если говорить слегка по-научному, у нас сейчас есть два вида логики. Одна — схоластическая, официальная; другая — диалектическая. Первая — не более чем игра ума, берущая за основу неизменность, неподвижность мира. Другая — выражение самой жизни, ее вечной изменчивости.

Когда наши ученые мужи говорят о логике, они имеют в виду только первую, схоластическую, которая еще со времен...

Мы, пожалуй, перегнули палку, голубчик мой, разговор по-научному у нас не получается. Не будем вторгаться в чуждую нам сферу. А то, чего доброго, примут меня за того самого доктора, автора пресловутой книги по физиологии... К чему мне это!

Вот заговорил я о силе логики, и припомнился мне один психически больной. О нем, собственно, и хотел я вам рассказать.

Повстречал я того ненормального в одной анатолийской деревеньке. Бедняга был убежден, что ему удалось раскрыть секрет бессмертия. Точно так же, как наш муниципалитет нашел способ всего за пять лет превратить Стамбул в благоустроенный город, этот сумасшедший нашел способ избежать смерти. И тот, и другой были в равной степени логичны и последовательны в своих рассуждениях.

Приходил сумасшедший каждый вечер в кофейню и возглашал:

— Слушайте меня, мусульмане! Я открыл секрет бессмертия. Имеется опыт, имеется смекалка. Вы только взгляните на подлунный мир. Каждый, кто потреблял пищу, умер. Выходит, чтоб избежать смерти, надо отказаться от пищи. И тот, кто жажду утолял водой, тоже рано или поздно помирал. Выходит, нельзя пить! Любители всякого овоща — баклажанов, перцев, помидоров — тоже отправились в мир иной. Не ешьте овощей, тем более с перцем! Кто лежа отдыхал — умер. Никогда нельзя ложиться! Кто хоть раз в жизни присел — тоже умер. Никогда не сидите! Кто спал — умер. Не спите! Кто ходил — умер. Никуда никогда не ходите! Имеется опыт, имеется смекалка, имеется логика. Всяк родившийся на свет, каждый, покинувший материнское чрево, не пользуйся

жизнью! Только так можно избежать смерти. Богом клянусь, валлахи-билляхи, если внемлете моим советам, никогда не умрете... Имеется опыт, имеется смекалка, имеется логика, черт побери!

Вот видишь, мой милый, не думай, что дурак есть дурак, и этим все сказано. Мудрено ли, что псих отыскал — да еще что! — способ избавления от смерти! А я считаю, эфендим, имеется опыт, имеется смекалка, имеется логика, если будете слушать советы дураков не только по части бессмертия, но и по части многого другого, останетесь довольны, ей-богу!

ЧУДАК

Встречаются порой среди нас люди, которых все называют «чужаками». Снискали они себе это прозвище, потому что совершают поступки странные, необычные. Соверши такой человек точно такой же поступок пятьсот лет назад или через пятьсот лет, его бы никто «чужаком» не назвал.

Чужак — это хороший человек, немного не от мира сего, не понимающий и не принимающий общепризнанных взглядов на вещи. Благие намерения чужака обратились в наивность. Чужак, в сущности, — бедолага. А с другой стороны, те, кто называет чужака чужаком, не в меньшей, если не в большей степени достойны жалости.

* * *

Есть у чужака приятель — портной. Чужак шьет у него костюм, но брать у приятеля какую-либо «квитанцию» ему и в голову не приходит, он даже считает это зазорным. Костюм готов, чужак честь по чести расплачивается за него. Однако спустя некоторое время приятель-портной обращается в суд, требуя уплаты долга. У чужака нет ни квитанции, ни расписки, и суд выносит решение не в его пользу. Так приходится ему дважды платить за одно и то же. Удивительно ли, что в результате даже пройдоха портной называет его за это чужаком!

Чужак никогда не может вернуть своего. Взятое ему не отдают, долги не возвращают.

Проходя по улице, чужак видит старую женщину, которая вот-вот попадет под колеса мчащегося автомобиля. По забыв обо всем, он бросается старушке на выручку. Она спасена, но его собственная нога — раздроблена. Того, кто

из-за незнакомой женщины рискует жизнью, тоже называют чудачком.

Своим добросердечием и мягкостью, благими наставлениями и доброжелательными советами чудак пытается исправить мир, но люди-волки ему не внемлют. И всякий раз его наивность становится объектом для насмешек.

Допустим, чудак влюблен. Он верит своей любимой. Ему кажется, даже подумать о том, что он может быть обманут,— все одно что оскорбить любимую. Но в один из дней, позже всех остальных, он убеждается в своей наивности.

У чудака нет друзей, никто его не уважает, ибо кто же станет уважать того, кто вечно стремится делать добро, ни к кому не испытывает ненависти, легко прощает причиненное зло, того, кто лишен когтей и клыков? Раз нет уважения, значит, нет и любви, а нет любви — не может быть и дружбы.

Словом, встречаются порой среди нас люди, которых называют «чудаками». В большинстве своем «не-чудаки» лишь изредка сердятся на них, да и то лишь в том случае, когда сами становятся «чудаками». Потому что сердиться на чудака — своего рода чудачество. Их услугами только пользуются, над ними только подшучивают.

СКАЗКА О ТРЕХ ЮНОШАХ

(Первая сказка моему сыну)

Жили-были, сынок, в трех разных концах света, далеко друг от друга, трое юношей одного возраста, одного роста. Эти юноши, жившие в трех разных концах света, далеко друг от друга, никогда не виделись и не слышали друг о друге.

Так вот, сынок, трое юношей, живших в трех разных концах света, в одном и том же году, в один день и час покинули родные места и отправились искать Камень бессмертия.

Камень бессмертия, как они слышали, был за горами, за долами, на дне Кровавого колодца. Чтобы найти этот камень, скрытый за горами и долами в Кровавом колодце, трое юношей, живших далеко друг от друга, в трех разных концах света, пошли, сынок, по разным дорогам.

Первый юноша шел, шел, сносились его железные чарыки, стерлась его железная палка — стала тонкой, как ивовый прут. Присел он на полпути, чтобы передохнуть

немного, закрылись глаза от усталости у первого юноши.

Но вот проснулся первый юноша, сынок, и что же — стоит у него в головах прекрасная девица-красавица с насурмленными глазами, с раскрашенными хной руками!

— Куда это ты, юноша, направляешься? — спрашивает девица-красавица.

— Искать Камень бессмертия, — отвечает юноша.

— Камень бессмертия далеко за горами, за долами, в Кровавом колодце, — говорит девица-красавица, — тебе не хватит жизни, чтобы добраться туда. Коль уж суждено нам жить считанные дни, надо стараться вкусить всю их сладость. Ты пчела, а я цветок. Оставайся со мной, пей мой нектар.

Склонил голову первый юноша, сынок, остался на полпути.

Между тем второй юноша все шел и шел, шел и шел. Чтобы случайно не заснуть от усталости, он пожом наносил себе раны и посыпал их солью. При этом он чувствовал такую боль, сынок, что ему было не до усталости, только язык у него от жажды присох к нёбу. Ему так хотелось пить, второму юноше, сынок, что, увидев перед собой сверкающий ручей, не сдержался он, побежал к воде. Словно жидкое золото, сверкала вода на солнце. Выпил второй юноша глоток золотой воды — и почувствовал такую свежесть, сынок, что больше уже не мог оторваться от ручья. Остановился он, пройдя две трети своей дороги.

Так, первый юноша одолел половину пути, второй — две трети. А третий юноша продолжал идти. Ему очень хотелось пить, но он не пил из журчащих ручьев, попадавшихся по дороге. Он испытывал страшную усталость, но не отдыхал на коленях у прекрасной девицы-красавицы с насурмленными глазами и раскрашенными хной руками... Он шел да шел, шел да шел... Кто так идет, тот достигнет цели.

И ты, мой мальчик, иди, как он, не зная усталости, не боясь жажды, иди, как он, с верой в груди. Кто не теряет веры, тот добивается своего.

СКАЗКА ПРО ИДОЛА И МУДРОГО СТАРЦА

(Вторая сказка моему сыну)

Когда-то, сынок, в тридевятом царстве, в тридесятom государстве жил-был белобородый старец, мудрейший среди самых добрых, добрейший среди самых мудрых.

В столице того государства, на самой многолюдной площади, был воздвигнут идол, в сотни раз превышающий ростом любого из простых людей. Глаза у идола были сделаны из драгоценных камней, волосы отлиты из чистого серебра, а тело — из червонного золота. Люди той страны, где жил мудрейший из самых добрых и добрейший из самых мудрых белобородый старец, поклонялись, сынок, своему идолу. Они думали, что все на земле — хорошее и дурное, плодоносное и бесплодное, прекрасное и безобразное — все сущее создано идолом, в сотни раз превышающим ростом любого из них.

Один только белобородый мудрец не верил, сынок, в силу этого идола. Он долго таил от людей свое неверие, но годы шли, и он старел, и вот мысли, которые он таил в себе, тяжким бременем стали давить ему на сердце. В один из дней он наконец не выдержал и, придя на главную площадь, громко крикнул:

— Чего ради вы, люди, преклоняетесь перед этим идолом с глазами из драгоценных камней, с волосами из чистого серебра и телом из червонного золота?! Ведь вы же сами, своими собственными руками сотворили его. Того, кто создан вашим умом и вашими руками, вы почитаете творцом ваших умов и ваших рук.

Все сущее в этом мире — лишь воплощение бытия, не имеющего ни конца, ни начала, вечно изменчивого и никем не сотворенного. Уничтожьте этого идола, братья мои!

Услышав крамольные речи мудрейшего среди самых добрых и добрейшего среди самых мудрых, люди поначалу опешили, потом удивились, затем рассердились и, наконец, схватив с земли тяжелые камни, стали бросать ими, сынок, в старца. Они так избili его камнями, что белая борода его от крови сделалась красной, но он, представь себе, не умолк. Он продолжал говорить людям все, что считал истиной. И вот на глазах у людей произошло чудо: человек с белой бородой начал молодеть. Чем больше он молодел, тем уверенней звучал его голос, а чем уверенней звучал его голос, тем больше он молодел.

Но это, сынок, еще не все. По мере того, как молодел человек с белой бородой, те, кто бросал в него камни, старели и дряхлели. Когда у них сторбились спины и затряслись руки, они уже не могли защищать своего идола. И тогда обретший вечную молодость старец одним ударом кулака свалил гигантского идола, в сотни раз превышавшего ростом любого из простых людей.

Если и ты, мой мальчик, даже под градом камней не

побоишься высказать правду, в которую веришь, ты, подобно мудрейшему среди самых добрых и добрейшему среди самых мудрых, обретишь вечную юность.

ЛАВАНДА

Гостил я вчера у одного знакомого на даче в Гёзтепе. Погода стояла теплая, ясная. Хозяин дачи мотыжил землю у себя в саду. Вокруг сада вдоль ограды растет лаванда. Я наклонился, сорвал пучок цветов, растер в ладонях. И тотчас повеяло запахом чистого белья, запахом, ласкающим душу, воскрешающим сонм воспоминаний о далеком прошлом.

Не знаю, принято ли это у других, но у нас дома издавна заведено класть в старый деревянный бельевого шкафа сушеные цветы лаванды в маленьких батистовых мешочках. Я не признаю одеколона и прочих отдушек с французскими названиями. Зато аромат цветов лаванды, когда я, уже в ночной рубашке, укладываюсь в постель, неизменно возвращает меня в пору детства, в годы юности.

Приход весны у меня дома отмечается тем, что из мешочков высыпают старые цветы лаванды и наполняют их новыми.

Аромат лавандовых цветов вызывает у меня в памяти лицо бабушки в желтом головном платке с зеленой и красной вышивкой. Этот запах возвращает мне забытые радости детства.

Ныне цветы лаванды демократичны. И разве что только название напоминает о тех временах, когда наша страна приобщилась к европейской культуре и лаванду сеяли только в садах при особняках знати.

ГОЛОС ЖЕНЩИНЫ

Я слышал голос женщины, поющей в темноте. Это был не то чтобы сильный голос, о котором говорят, что он достигает горных вершин, и не то чтобы плавно текущая мелодия, где безупречно взята любая нота. Это было свечение, подобное искрящемуся полету светлячков или блеску падающей звезды.

Голос с красивым тембром, сильный голос, поставленный голос — это одно, а задушевный голос — нечто совсем другое. Голос той, что пела песню в темноте, не был по-

ставлен выдающимся профессором, не был отмечен дипломом консерватории. То был славный голос, идущий от самого сердца!

Допускаете ли вы мысль, что в общем-то слабый, но задушевный, светлый голосок способен победить темноту? Не кажется ли вам странным, что слабый, тающий голос может взять да и превратить темноту вокруг нас и внутри нас в сияние солнечного дня?

Если вы этого не допускаете, если не считаете так, то послушайте светлый, исполненный любви и веры голос женщины, поющей в темноте.

СОБАКА ЛАЕТ — КАРАВАН ИДЕТ (1)

Среди пословиц, оставшихся нам в наследство от предков, немало таких, которые и по сей день не утратили своей прелести и остроты. «Собака лает — караван идет» — это ли не одна из таких пословиц, если не лучшая из них?

Всякий раз, когда я слышал в детстве эту пословицу, перед моими глазами возникала одна и та же картина: по ночной, еще не остывшей от жара, как раскаленный кирпич, пустыне, под мерный перезвон колокольцев движется караван верблюдов. Он идет и идет, а вслед ему издалека доносится протяжный собачий вой. И стоило мне вообразить эту картину, как в моем маленьком сердце рождался почтительный страх, почти благоговение, перед караваном, идущим сквозь знойную темень, оставляя далеко позади бессильный собачий вой. В такие минуты мне хотелось зажмуриться и спрятаться на груди у мамы.

Став взрослым, я перестал испытывать почтительный страх перед воображаемым караваном, как перестал бояться многого другого. Пословица же эта превратилась в источник света, снявшего мне в самые черные дни моей жизни.

«Собака лает — караван идет». Эти слова, подобные оптимистической песне, постоянно на устах у тех, чья вера несокрушима и кто до последнего борется за свою веру. Борцы революции выкрикивали их как боевой клич и первыми бросались в битву.

Вся история человечества, если вдуматься, есть не что иное, как движение каравана вперед, несмотря на злобный лай собак.

Публикуя эти заметки, я знал, что и в нашей стране есть собаки, которые злобно лают вслед идущему каравану. Я не настолько глух, чтобы не слышать пронзительное собачье тьяканье по поводу любого дела, предпринимаемого во имя революции.

Любой шаг на пути революционных преобразований, будь то низвержение халифата в седьмой круг ада или запрещение фесок, находит своих противников, сердца которых буквально разрываются на части от необходимости принять эти преобразования. Всегда отыщутся люди, для которых все, начиная с изгнания оккупантов с родной земли до борьбы за очищение турецкого языка, равносильно петле на шею. Да, я это знал, и для меня не было неожиданностью, что сразу после публикации первой заметки «Собака лает — караван идет» в крошечной тьме поднимутся головы в зеленых чалмах и чалмоносцы начнут поглаживать свои окладистые, пахнущие розовым маслом холеные бороды. Так оно и вышло. С одной лишь разницей: вместо того, чтобы в полный голос вопить: «Истеме-зюк!»¹, они решили сорвать зло на мне, Орхане Селиме, «техническом работнике», зарабатывающем на жизнь тем, что пишет в газете «Акшам». Мне угрожают лишением поденной платы за то, что я назвал историю человечества «движением каравана вперед, несмотря на злобный лай собак».

Оказывается, Орхан Селим — не более чем «технический работник», который осмелился со страниц газеты «Акшам» вести пропаганду очищения турецкого языка. Да, в этом смысле он всего лишь малоопытный «технар» от литературы. Но, право ж, у него есть пара глаз, и он многое видит, и есть пара ушей, и он многое слышит. Поэтому он понимает, в кого метят своими плевыми чалмоносцы, кого облаивают они с хитроумием, достойным «отца Тахира», и отлично видит их истинную сущность, хотя внешне они и изменились до неузнаваемости: сбрили свои холеные, пахнущие розовым маслом окладистые бороды, сняли чалмы и нацепили галстук бабочкой.

Пусть, как они говорят, Орхан Селим — «технический работник», получающий поденную плату. Однако, не боясь

¹ Восклицание, образованное от слова «истемийоруз» (не желаем); этим возгласом янычары в древности начинали свои бунты.

лишиться этой своей поденной платы, он снова повторяет: сколько б ни лаяли злобные псы, караван будет идти вперед! Вот так-то!

КОГДА ПРИХОДИТ ВЕСНА

Один журнал, проводя анкету, задает такой вопрос писателям: «Какие стихотворные строки приходят вам на ум с наступлением весны?» Писатели отвечают кто во что горазд.

Я тоже задумался над этим вопросом. Действительно, какие же стихи вспоминаются мне, когда наступает весна? Какие светлые, идиллические, радостные образы рождает она в душе?

Быть может, вы мне не поверите, но я говорю чистую правду: наступление весны не напоминает мне ни единой строки ни из одного стихотворения. Увы! До тех пор, пока не установится летняя жара, я далек от всего, что принято называть «поэзией». Впрочем, слово «далек» не совсем точное, я просто чужаюсь всех, кто пишет стихи, испытываю неприязнь к тому соединению звуков, красок и образов, который называют «поэзией». Боюсь, что даже стихи о тяжких горестях отдельных людей или всего человечества в целом также вызывают у меня чувство неприязни. Не знаю, понятно ли я говорю? Достаточно ли доходчива моя речь? Когда приходит весна, которая озаряет море — светом, поля — спокойствием, воздух — ароматом и песнями счастья, которая, по всеобщему представлению, является порой благоденствия, носительницей красоты и добра, я становлюсь раздражительным, упрямым, вспыльчивым, словно порох.

Каждый год весной я укрепляюсь в своих убеждениях и исполняюсь решимости. Но, с другой стороны, весна возвращает меня в пору детства, во многом делает меня ребенком. Несмотря на то, что для меня очевидны корни того явления, которое называют «социальной несправедливостью», несмотря на то что я верю, что оно не вечно и когда-нибудь непременно исчезнет, всякий раз весной я поддаюсь чувству протеста, становлюсь упрямым и строптивым, как лицеист.

Отчего в то время, когда пробуждается вся природа — ее воды, травы и живность, когда кажется достижимым величайшее, дивно прекрасное совершенство, отчего мир людей так печален и жалок! Отчего он так убог и смешон!

Вот какие мысли посещают меня с приходом весны. Я изнемогаю от бессильного отчаяния и досады, сравнивая совершенство весенней природы с полной невзгодами жизнью тех, кто переживает это дивное время года.

Да, весной я становлюсь одновременно и мужественней и ребячливей, сильней и слабей. Однако ни одной радостной, просветленной, беспечной строфы она не рождает в моей душе.

РЕАЛИЗМ

Великий французский писатель Бальзак по своим политическим убеждениям был монархистом. Он ждал реставрации королевской власти, возрождения феодализма, словно только так можно было бы избавить Францию от всяческих горестей и невзгод.

Однако основоположники научного коммунизма Маркс и Энгельс читали романы монархиста Бальзака и высоко их ценили. Как же так?

Бальзак реалист. Реализм романиста Бальзака обладал такой страшной силой, что время от времени заставлял писателя выражать истины, идущие вразрез с убеждениями монархиста Бальзака. Реакционер и монархист Бальзак отступал на задний план под натиском реалиста Бальзака.

Реалист Бальзак не только отобразил современное ему французское общество таким, каким оно было на самом деле, но даже показал в основных чертах типы людей, которые появились во французском обществе значительно позже.

Между мелкобуржуазным реализмом Золя и реализмом Бальзака, желавшего воскресить навсегда ушедшие общественные отношения, существует большая разница.

Бальзаковский реализм по сравнению с реализмом Золя гораздо активнее. На реализме Золя явственнее проступает печать общественной и классовой ограниченности писателя. В отличие от Бальзака Золя сумел разглядеть и отобразить только одну из множества граней, которыми характеризовалось современное общество.

Сегодня реализм есть знамя самой передовой литературы.

Сегодня реализм подлинный, то есть не пассивный и отображающий жизнь не односторонне, а во всей ее полноте, сложности и развитии, становится главным лозунгом са-

мого революционного искусства. Тот, кто бежит реализма в искусстве, поневоле становится ретроградом. А тот, кто относит себя к лагерю передового искусства, не испытывает страха перед действительностью.

ТЬМА И СВЕТ В ЛИТЕРАТУРЕ

Большинство молодых поэтов любит изъясняться туманно, невнятно, будто бормочут что-то едва различимым шепотом. Большинство проявляет стремление уйти от забот и тревог нынешнего дня, предпочитая изливаться в тоске по минувшему, чутко прислушиваться к одному только голосу — своего собственного «внутреннего я».

Оставим в стороне социальные предпосылки этого явления, не будем доискиваться, в чем таятся корни этой склонности. Я просто хотел бы показать механизм его воздействия на уровень художественного мастерства.

Первое. Создать нечто высокохудожественное и в то же время кристально ясное чрезвычайно трудно. Ясность в искусстве все равно что луч солнечного света, который безжалостно высвечивает самую ничтожную фальшь, самую малую погрешность и даже искусно завуалированное шарлатанство. Далеко не каждому по силам создать истинно глубокое, по-настоящему действенное и безупречное в художественном отношении произведение, озаренное при всем том светом ясности. Зато отсутствие ясности, подобно тому, как сумерки или лунный свет скрадывают очертания предметов, скрадывают недостатки, наполняют пустоты тенями, отсутствие смысла — якобы глубокомыслием. В призрачном мерцании едва ли не каждая вещь превращается в таинственную загадку. А люди? Люди, увы, в большинстве своем наивны и простодушны, и им кажется, что раз загадка нелегко поддается разрешению, значит, в ней заключен глубочайший смысл, значит, она ведет к величайшей истине. Какое раздолье для литературных проходимцев! Не потому ли молодые поэты так легко сворачивают на этот заманчиво легкий путь, что в сумеречном свете нелегко отличить истинное произведение искусства от фальшивки.

Второе. Спеть песню на вчерашний мотив гораздо проще, чем на сегодняшней, еще не затверженный, и тем более — на завтрашний. «Покорять сердца» слушателей набившим оскомину мотивчиком куда более легкая задача, нежели заставить вслушаться и полюбить впервые звуча-

щую песню. А наши молодые поэты достаточно себе на уме, чтобы смекнуть, какое дело проще.

Что поделаешь, истинное искусство неискренности не терпит.

ЛИТЕРАТУРА И ОБЩЕСТВО

Литература определяет характер общества, изменяет его, разрушает старое и создает новое, то есть беспрестанно влияет на весь тот сложнейший механизм, состоящий из людей, технических средств, экономических и правовых отношений, форм государства и идеологии, который мы называем обществом. Или же, напротив, общество со всеми своими институтами, находящимися, каждый на своем уровне, в сложных диалектических взаимоотношениях и связях, определяет лицо и характер литературы, тем более, что литература является порождением этого самого общества?

Чем объясняется различие литературных произведений как с точки зрения формы, так и содержания, созданных представителями различных литературных школ? Только ли психологическими и физиологическими особенностями художника? Или же социальными условиями, общественно-исторической обстановкой?

Что следует ставить во главу угла исследователю литературы — личность автора или место его произведений во всем историко-литературном процессе? Как определить степень значимости социальных условий и общественной обстановки для того или иного произведения?

Все эти проблемы еще не разработаны, особенно у нас в стране.

На мой взгляд, исследуя историю литературы, нельзя упускать следующее:

1. Художник, так же, как мы все, — просто человек.
2. Человек не существует вне общества.
3. Изменяя общество, человек изменяется и сам, изменяет свою природу.
4. Таким образом, взаимоотношения между человеком и природой, человеком и обществом — не пассивные, а деятельные, активные.
5. Все остальное, касающееся общественных отношений, учреждений, категорий надстройки, их обусловленность и причинность, все эти сложные закономерности в конце концов так или иначе находят свое выражение в литературе.

6. Личные особенности художника играют роль только в количественном отношении.

7. Не «поскольку я мыслю, я существую», а «я мыслю, потому что существую». И в особенности «я мыслю так, а не по-другому не потому, что нахожусь в неких социально-экономических условиях, а именно в данных общественно-экономических условиях». Это точнее.

ЗАБЫВЧИВОСТЬ И ИСКУССТВО

Я хочу поделиться с вами размышлениями одного своего товарища, который говорил:

«Нет у человека коварней врага, чем забывчивость. Я имею в виду отнюдь не ту забывчивость влюбленных, воспетую в классической поэзии, которая приводит их к неверности. И не ту забывчивость, что через два-три месяца после смерти близкого человека позволяет напрочь забыть его имя.

Самым коварным нашим врагом я называю способность сынов Адама быстро вычеркивать из памяти даже самые большие бедствия, не извлекая из них никакого урока.

К примеру, мировая война. Трудно представить себе что-либо более ужасное для всего рода человеческого, чем это бедствие. И что же? Большинство тех, кто прошел через пламя этого пожарища, кто побывал в этой мясорубке, уже забыли о ней. А для тех, кто взирал на сей смертоносный пожар только краешком детского глаза, для них 1914—1918 годы — не более чем пять-шесть страничек в учебнике по истории.

Люди забывчивы. Более того, напрочь забывая о великих бедствиях, они острее переживают свои повседневные мелкие горести.

А ведь нам ох как нужна крепкая память! Особенно сегодня, когда весь мир сотрясается от ударов молний — предвестниц всесокрушающей грозы. Наше сегодняшнее нежелание извлечь уроки из прошлого есть само по себе великое бедствие.

Чтобы людская память не мертвела, людям надобно постоянно напоминать о минувшем. Одним из самых действенных орудий, способных справиться с этой задачей, является, по-моему, искусство.

Литература, живопись, музыка, скульптура, театр, кинематограф должны постоянно напоминать нам о великих бедствиях, забывая о которых мы не вправе.

Искусство, не вносящее хотя бы малую лепту в это

святое дело, представляет собою не бóльшую ценность, чем песенка, которую слушают в кафе между двумя стопками водки».

ИДЕАЛИСТ

Он снимает небольшой дом, а к дому примыкает садик.

Как-то в начале весны, в воскресенье, я собрался к нему в гости. У этого человека замечательная коллекция старинных рукописных книг, и всякий раз, бывая у него в доме, я с наслаждением вдыхаю тот особый аромат, которым веет от пожелтевших страниц, ласкаю руками их тисненные переплеты.

Я распахнул деревянную калитку, окрашенную зеленой краской, и вступил в садик. Тотчас я увидел его — он стоял с лопатой в руках.

— Добрый день, бог в помощь! — приветствовал я его.

— Спасибо. Входи, входи.

— Чем это ты занят?

— Да вот, хочу посадить дерево.

Яма была уже готова. Он взял в руки тонкий саженец, чем-то напоминающий новорожденного младенца, аккуратно опустил его корнями в яму, начал присыпать землей.

— Вот и все, — наконец распрямился он. — Дело сделано.

— Какое дерево ты посадил?

— Сосну.

— Когда же она подрастет и станет вровень хотя бы с молодым парнем?

— Лет эдак через пятнадцать. Но это что! Ты приходи сюда лет через пятьдесят, вот тогда увидишь.

Я промолчал. Только что человек посадил дерево — в чужом саду при доме, который, может быть, в ближайшее время покинет, и навсегда. Посадил крохотный саженец, которому суждено стать взрослым деревом только через пять десятков лет. Передо мной словно бы приподнялся уголок завесы, прикрывающей святую святых идеализма.

О РАССЕЯННОСТИ

Быть рассеянным, право же, очень доходно. Я был бы чрезвычайно доволен, если б мне удалось среди друзей-

приятелей списать себе славу крайне рассеянного человека. Эх, стать бы мне из-за своей рассеянности притчей во языцех, уж тут-то я знал бы, как себя вести и что делать.

«Хочешь стать рассеянным — стань им, никто тебе не запрещает», — скажете вы. Но в том-то и дело, что быть обыкновенным рассеянным, никому не известным, — не сулит никаких выгод. То ли дело рассеянная знаменитость! Ну, а я, чтобы стать знаменитостью, увы, упустил время. В моем возрасте, как ни старайся, как ни усердствуй, ничего не выходит. Таким образом не суждено мне войти в избранный круг таких рассеянных знаменитостей как поэт Яхья Кемаль, Эмруллах-эфенди и другие...

Любой, даже самый неприглядный поступок, совершенный таким вот человеком, воспринимается снисходительно и охотно оправдывается рассеянностью. К примеру, Эмруллах-эфенди залезает в карман к незнакомому человеку, спутав якобы этот карман со своим собственным, и начинает уплетать каленый горох из этого кармана. Соверши такой поступок ты — на тебя набросятся с воплями: «Вай, прощелыга ты этакий! Вай, бессовестный мошенник!»

Эмруллах-эфенди тем временем догрыз горох, а тот, в чей карман он залез, хоть все и заметил, виду не подал, напротив, остался весьма доволен и долго еще каждому встречному-поперечному будет рассказывать, как рассеянная знаменитость угощалась за его счет.

Вот оно как получается. Возникает вопрос: а почему бы вместо кармана с леблеби не залезть в чужую сумочку с деньгами? Заметят — простят за рассеянность, не заметят — можешь прикарманить денежки.

И вот еще что интересно. Рассеянность отчего-то никогда не идет во вред самим рассеянными, никогда не обращивается против их собственных интересов. Рассеянность рассеянными только на пользу. Честь и хвала такой рассеянности!

В политической жизни рассеянность также весьма полезна. По рассеянности можешь проголосовать «за», можешь — «против», никто не укорит тебя в непоследовательности.

Ах, ах! Почему такая благодать обошла меня стороной? А-ах! Почему моя матушка не родила меня по рассеянности рассеянной знаменитостью?

ВЕСНА НАСТУПАЕТ!

Весна наступает!

Медленно, исподволь, будто сквозь оттаявшие стекла, начали проявляться весенние краски земли. И весенние запахи начинают дразнить обоняние; они пока что слабы и неопределенны, как звуки, приглушенные расстоянием.

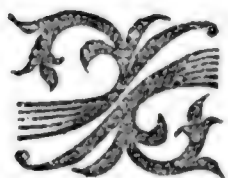
Весна наступает.

Весенним светом окрасились морские воды, будто там, в глубине, развели гигантский очаг. Ожили деревья, отблески слабых улыбок скользнули по их еще обнаженным ветвям. От земли поднимаются клубы теплого пара, небо и ночи светлы и мягки.

Весна наступает.

Совсем не хочется ни читать, ни писать, ни думать. Семена, заложенные в меня дальними предками, жившими еще, быть может, в каменном веке, семена безотчетной любви к земле, воде, огню, запахам, дают свои всходы в моей душе.

Весна наступает. Она придет и вскоре покинет нас. С каждой новой весной мы будем понемногу удаляться от каменного века. Плохо ли это? Нет!



Статьи







О СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМ РЕАЛИЗМЕ И ТУРЕЦКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

Меня просят написать статью о направлениях в современной турецкой литературе. Я могу сказать о борьбе за принципы социалистического реализма в ней. Но признаюсь, что я всегда с удивлением и с уважением читаю пространные статьи об искусстве и литературе, написанные писателями, которые не являются одновременно критиками или литературоведами. Удивление и уважение исходят из того, что я лично на это не способен. Очень часто для меня труднее написать статью в двадцать страниц, чем целую пьесу. На этот раз я постарался преодолеть эту трудность, но преодолевать трудность — это еще не означает справиться с делом. В статье, конечно, есть композиционная рыхлость и, вероятно, некоторые ошибочные рассуждения. Я прошу моих уважаемых читателей относиться к первому снисходительно, а ко второму — безжалостно. Говоря о борьбе за принципы социалистического реализма, я попытался изложить некоторые мысли о моем понимании искусства.

* * *

По-моему, между отдельными родами и ветвями искусства нельзя проводить различия по степени их значения: один, дескать, выше, другой — ниже. Каждая ветвь распускает свои цветы, каждая дает свои плоды. Но ведь все эти цветы и все эти плоды — для человека. Они, в конечном счете, и полезны, и необходимы человеку одинаково... Правда, плодами одних ветвей при определенных социальных условиях пользуются определенные классы; цветы же некоторых ветвей может сорвать и вкушать их аромат меньшее или большее количество людей. Это все так. Но это

вовсе не означает, что литература, например, выше живописи или что музыка превыше всего. Даже внутри отдельного вида искусства, по-моему, нельзя проводить различия по значимости того или иного жанра. Например, при сравнении стихотворения и романа, оперы и драмы, балета и цирка, театра и кино я не могу признать превосходство одного над другим. Симфонии Бетховена и фильмы Чаплина — что из них выше? По-моему, и те и другие в своем виде искусства — произведения гениальные.

Далее. Один не любит оперу, другому не нравится живопись, я не в восторге от поэзии, ты не ходишь в кино. У каждого человека есть свой вид искусства, более или менее им любимой, лучше или хуже им понимаемый и воспринимаемый. Так и должно быть. Но если мы оставим в стороне эти индивидуальные вкусы, то вместе с тем мы не можем не констатировать, что мнение о различной значимости отдельных ветвей искусства порождено в классовом обществе. Возьмем, к примеру, поэзию, балет и театр. Первоначально у многих народов они представляли собой различные виды искусства, одинаково признанные самыми широкими слоями народа. И в определенную эпоху в древности все они были предметом всеобщего поклонения, участником и зрителем их был весь народ. И очень часто между ними существовала самая тесная связь. Прибавьте сюда и музыку. Поэт и читал, и пел свои стихи перед толпами народа. Народные танцы — в том числе и религиозные танцы, часто являвшиеся стилизацией трудового процесса, — эти первоисточники балета, были и остаются искусством, в котором народ или сам участвует или выступает активно реагирующим зрителем, искусством, которое народ понимает и любит. То же можно сказать о театре. То же и о гимнастике, о всевозможных состязаниях и о борьбе, которые составляли основу цирка. Но в определенных исторических условиях танцы, развиваясь, усложняясь и переходя в форму балета, сначала замыкаются в залах и садах дворцов, а потом в зданиях с дорогостоящими билетами. Поэзию заключают в книги. С театром происходит подобное же. Что касается цирка, то будь он под шатром или под крышей, он никогда не теряет своей связи с широкими кругами народа. Рождается кино и сразу же по рождении вступает в контакт с самыми широкими слоями населения.

Я не собираюсь писать историю развития искусств. Я только хочу высказать свое мнение по поводу того, откуда исходит утверждение некоторых историков и крити-

ков в классовых обществах относительно «аристократичности» и «возвышенности», например, балета, поэзии, драмы и музыки по сравнению, скажем, с кино и цирком.

Конечно, я должен при этом отметить еще один момент. Разные виды искусства, особенно музыка, живопись и даже поэзия, а также некоторые другие виды доходят в своем развитии до такой степени совершенства, что для их лучшего восприятия и понимания, для того, чтобы их полюбить, необходимо обладать определенной культурой и определенными знаниями. Бесспорно, что для подлинного понимания и эстетического восприятия симфонических произведений Бетховена или Чайковского или, например, живописи французских импрессионистов нужно получить определенное воспитание по музыке или по живописи. В классовых обществах, в том числе в капиталистическом обществе, народные массы лишены такого систематического воспитания. В этих обществах и возникает у иных критиков, выражающих точку зрения эксплуататорских классов на искусство, утверждение о том, что чем труднее воспринимают и чем меньше любят народные массы тот или иной вид искусства, тем он важнее и выше. Только «примитивные» виды искусства понимает и любит народ, — утверждают эти критики. Я, разумеется, против этой точки зрения. К сожалению, и в нашей среде приходится иногда встречаться с такими критиками, которые утверждают: те виды искусства и те стили, которые не сразу доходят до народных масс и которые не сразу им нравятся, представляют собою формализм, декадентство или что-либо подобное. По-моему, эта точка зрения ошибочна. Одно дело — всякого рода беспредметность или трюкачество в искусстве, которые по сути дела представляют собою не некую новую форму, а распад всякой формы, и должны быть расценены поэтому как бесформенность, аморфность, противоречащие самой природе искусства. Другое дело то, что среди некоторых видов искусства есть такие жанры, как, например, в музыке — симфонии или оперы, которые не сразу нравятся народным массам. Чтобы их понять, как я отмечал выше, необходимо иметь музыкальное образование и воспитание. В социалистических обществах народные массы и получают такое образование и воспитание. Поэтому, например, в Советском Союзе из дня в день растет число людей, которые любят и понимают симфоническую музыку. По существу же симфоническая и оперная музыка, как и каждый настоящий вид искусства, всегда принадлежит народу. Даже по своей

природе, по технике исполнения, по оркестровке и т. д. она рассчитана на широкую аудиторию.

Что же касается стиля, то возьмем, к примеру, живопись. Конечно, трудно вкусить сладость яблок Сезанна. Для этого необходимо получить воспитание в области живописи, воспитание широкое, основательное и всестороннее. То же самое можно сказать и о кино. Даже в этом виде искусства, наиболее любимом в народных массах, велика роль воспитания вкуса. Многие американские фильмы и их подражательные копии, оставляя в стороне другие недостатки (я говорю здесь только о вкусах), ничего хорошего не дают народным массам, а лишь портят их вкус.

Я уверен, что придет день, когда в нашем социалистическом мире даже самые трудные для понимания и восприятия виды искусства и даже самый сложный, но действительно богатый и содержательный стиль станут достоянием самых широких слоев населения.

* * *

Я — коммунист. Я хочу, чтобы искусство служило народу. Но было немало писателей-некоммунистов, они есть и сейчас, которые также хотят, чтобы искусство служило народу. Я отличаюсь от них прежде всего тем, что коммунизм как общественная формация признается мною социальной необходимостью. Я уверен, что с полной победой коммунизма на земле человечество приобретет счастье, человечество выйдет из эпохи доисторической и войдет в эпоху историческую. Коммунизм, таким образом, я считаю единственной возможностью счастья как для своего народа, так и для всех других народов. Поэтому в служении победе коммунизма я вижу наилучший способ своего служения моему народу и всем народам. И поскольку я признаю руководящую роль коммунистических партий в победе коммунизма, я отдал свое искусство в распоряжение своей коммунистической партии, то есть в распоряжение своего народа, ибо нет разницы между интересами народа и интересами партии. Я должен здесь разъяснить, что я понимаю под словами «отдать в распоряжение». Нельзя противопоставлять понятия: народ и я — поэт. Я — поэт своего народа и, разумеется, прежде всего рабочего класса. Служа народу, я тем самым служу и самому себе, как частице этого народа. А что касается моих взаимоотношений с партией, то я вступил в партию добровольно, сознатель-

но. Это раз. Во-вторых, с одной стороны, я пропагандирую среди народа цели партии, то есть коммунизм, и лозунги партии, т. е. веки борьбы за коммунизм. Своим искусством я призываю народ к коммунизму, то есть к осуществлению мечты самого народа. Вместе с тем с помощью своего искусства я стараюсь открыть перед своей партией душу народа. Таким образом, мои взаимоотношения как с народом, так и с партией не пассивные, а активные.

Я говорил, что было и есть немало писателей, которые хотят, чтобы искусство служило народу. Я коротко изложил, чем я отличаюсь от них в этом вопросе. Но это не все. Поскольку я коммунист, я сторонник социалистического реализма. Что я под этим понимаю? По-моему, произведение каждого писателя — подлинного марксиста-ленинца, было произведением социалистического реализма еще до того, как возник и утвердился самый термин. Произведение каждого писателя, овладевшего марксистско-ленинским мировоззрением, действующего согласно этому мировоззрению, смотрящего вокруг и анализирующего действительность глазами этого мировоззрения, есть произведение социалистического реализма. Мне могут сказать, что не у всех слова сходятся с делами, одно дело то, что человек декларирует, другое, что он претворяет в жизнь. Это верно, но я имею здесь в виду тех, у которых теория не расходится с практикой.

Каждому марксисту-ленинцу известно, что люди, изменяя природу, переделывая свое окружение, меняются и переделываются сами. История — это борьба классов. Бытие определяет сознание. Нет никакой абсолютной истины, кроме объективной действительности материи, существующей вне зависимости от нас и находящейся в непрерывном движении. Стоит ли перечислять дальше эти бесспорные для каждого марксиста-ленинца истины? Каждый художник, признающий их, признает тем самым активную роль искусства и писателя, воспитательное значение искусства. Он привык рассматривать и анализировать события, в том числе и человеческую душу, в движении, в единстве противоположностей. Для каждого художника — марксиста-ленинца наш мозг, наша душа не есть простое зеркало, они не только отражают получаемые из внешнего мира ощущения, но и обрабатывают их, придают им соответствующую форму. Важнейшим пунктом, отличающим художников социалистического реализма от предшествующих и нынешних художников-реалистов, является то, что мы — марксисты-ленинцы, и мы не скры-

ваем этого. В этом, в главных чертах, состоит, на мой взгляд, основное различие.

В вопросах же стиля и его особенностей у каждого художника социалистического реализма могут быть свои черты и взгляды: если он живописец, у него свое понимание цвета, объема, композиции; если он поэт, у него свое понятие о рифме, размере, языке, образе. Так и должно быть. Человек может служить народу и партии независимо от того, пишет ли он стихи с рифмой или без размера, с обилием образов или нет и т. п. Служение народу и партии творческой деятельностью в театре ничего общего не имеет, например, с игрой в декорациях или без декораций, в гриме или без грима, не зависит от того, употребляем ли мы для изображения снегопада нафталин или вату, или же делаем это с помощью света, а то и просто передаем словами — «падает снег», и т. д., и т. п. Увидеть служение партии и народу в том, что избирается какая-либо форма сама по себе, превратить проблему этого служения в самодовлеющую проблему формы — это и есть настоящий формализм.

Я лично убежден, что для конкретного содержания следует всегда искать наиболее соответствующую ему форму. Сначала я писал стихи классическими и народными размерами, но особенно после приезда в Советский Союз в 1921 году я стал искать новые возможности в форме стиха и писал стихи своеобразным свободным размером. В его основе были все те же размеры турецкой народной поэзии и даже «аруз». В отношении рифмы и языка было то же самое. Но несмотря на это я в то время стал утверждать, что стихи могут быть написаны только таким образом, что это есть единственная поэтическая форма. Долгое время я не писал стихов о любви. Я даже не употреблял слова «сердце» в своих стихах, так как мне казалось, что сердце является символом не разума, а чувства. Но сейчас я пользуюсь всеми формами. Я пишу и размером народной поэзии, и с рифмами, и делаю совершенно обратное — пишу языком обыкновенного разговора, без рифм, без размера. В стихах я говорю о любви и о мире, о революции и о жизни, о смерти и о радости, о грусти, о надежде и о безутешности. Я хочу, чтобы все, что свойственно человеку, было бы свойственно и моему стиху. Я хочу, чтобы читатель нашел во мне или в нас отражение всех своих чувств. Пусть он прочтет нас и тогда, когда он хочет читать стихи о Первом мая, и тогда, когда он ищет стихов о своей безответной любви. Я хочу писать и такие

стихи, где говорится о самом себе, и такие, где я обращаюсь к миллионам. Я хочу писать стихи и об одном яблоке, и о вспаханной земле, о мыслях и думах человека, вернувшегося из застенка, о борьбе людей за лучшую жизнь на земле и о любовной тоске одного человека. Я хочу писать стихи и о страхе перед смертью, и о бесстрашии перед нею.

С тех пор как я стал коммунистом, я жду от искусства и требую от него одного: оно должно служить народу, должно призывать народ к коммунизму, оно должно отображать страдания, гнев, надежду, радость и мечту народа. Оно должно организовать народ на борьбу за торжество коммунизма. Это — суть моего понимания искусства, и это никогда не меняется. Все остальное — театральный грим, отношение к рифме, к ритму, одним словом, все то, что составляет художественные приемы произведения, — постоянно менялось, меняется и сейчас и будет меняться в дальнейшем. Между двумя писателями-коммунистами не может быть различия в понимании главного вопроса в искусстве — вопроса о роли и назначении искусства, об его основной направленности и содержании, о партийности его. Отличия начинают проявляться только лишь после признания этих основных принципов. Так оно и должно быть. Ведь социалистический реализм мы потому и считаем единым творческим методом деятелей социалистического искусства, а вовсе не единым стилем, не единой манерой творчества, что он не сковывает художника, а наоборот, дает ему действительную свободу для подлинного творчества. Разве существуют в мире два художника с одинаковым эмоциональным складом, с одинаковой образностью мышления? Конечно нет. Но существуют ли в мире два художника, у которых выявление этого мышления было бы направлено к одной цели — к цели воспитания и переделки людей в духе коммунизма? Конечно, существуют. И не два, не четыре, не десять, не сто, а тысячи честных художников, стремящихся своим творческим трудом переделать мир, жизнь, людей. Метод социалистического реализма как метод революционный и ставит перед художниками прогрессивные, революционные задачи и цели, указывает способы и пути подхода к явлениям действительности, но он не предусматривает нормативы, каноны, приемы эмоционального отношения и художественного осмысления жизни, не предусматривает каких-то обязательных средств выражения, через которые это осмысление будет доведено до сознания людей.

Как я уже говорил, в вопросах художественной формы я признаю теперь самые различные способы выразительности, стараюсь их понять и освоить. При одном, однако, условии, чтобы они были применены умело, чтобы они действительно были выразительны, а не аморфны и чтобы они наилучшим образом способствовали передаче содержания. Но несмотря на все это я не могу сказать, что для меня нет ныне определенной стихотворной формы, которую я не предпочел бы остальным. Однако предпочитать — это вовсе не означает отрицать все остальное. Короче говоря, все дело в том, повторяю, чтобы найти наиболее соответствующую форму определенному содержанию...

Я должен отметить, что, к сожалению, некоторые критики-искусствоведы из числа сторонников социалистического реализма одно время упорно старались сделать господствующим в социалистическом реализме какой-либо один стиль, одни изобразительные приемы.

Прежде чем продолжить эту мысль, я хотел бы в двух словах коснуться еще одного момента, который достаточно признается всеми, но иногда забывается. Между отдельными родами искусства существует более или менее тесная связь. Этого никто не отрицает. Но у каждого рода искусства есть свой, свойственный ему одному изобразительный язык. Этого тоже не следует забывать. Поскольку ныне поэт не обязательно сопровождает чтение своих стихов игрой на сазе, — хоть и есть связь между поэзией и музыкой с точки зрения ритмики стиха, — то поэзия не тождественна музыке. Одно и то же чувство поэзия выражает одним способом, музыка — другим. Между романом и музыкой, например, также имеется связь, особенно между романом и симфонической музыкой с точки зрения композиции, но одни и те же события, одни и те же ощущения роман передает при помощи одних способов, музыка — других. Роман с точки зрения своих возможностей по сравнению с музыкой — более ясный, осязаемый, более конкретный. В музыке же воображение слушателя должно принимать большее участие, нежели воображение читателя в романе. В музыке, если так можно выразиться, доля слушателя поэтому больше, чем доля читателя романа. Возьмем живопись. Есть ли необходимость говорить о различии в возможностях театра и живописи? Однако между ними существует и связь. Все это настолько тривиально, что нет нужды говорить об этом подробно. Однако прежде чем вернуться к оставленной выше теме, нельзя не коснуться еще одной, столь же общезвестной истины. Каж-

дый вид искусства не только отличается от другого вида, но и внутри отдельного, конкретного вида имеются различия в отношении техники и стиля. В литературе — различные жанры и жанровые формы: стихотворение, роман, рассказ, короткий рассказ, лирические и эпические произведения. Или в изобразительном искусстве: масло, акварель, графика, орнамент, портрет, пейзаж, жанровая живопись, фреска и др. Иногда в том или ином виде по тем или иным социальным причинам мы наблюдаем зарождение какого-либо нового стиля или доминирование одного какого-либо стиля. Встречается и обратное. Один стиль на какое-то время исчезает из употребления.

Теперь я могу вернуться к прерванной выше мысли. Как я сказал, одно время некоторые наши ретивые критики старались объявить стиль чисто внешнего изображения событий, природы и человеческой души единственным якобы стилем, присущим социалистическому реализму. Мы были свидетелями этого, особенно в живописи, скульптуре и театре. Например, в живописи жанровая картина стала подобными критиками признаваться чуть ли единственно приемлемой, они почти начисто отрицали натюрморт и пейзаж.

Бесспорно, что жанровая живопись более доступна зрителю, более доходчива. Но нужно, чтобы то, на что я смотрю, обращалось ко мне прежде всего специфическим языком живописи, включающим все разнообразие жанровых форм.

По-моему, у искусства социалистического реализма есть два врага: ревизионизм и сектантский догматизм.

В политике ревизионизм представляет серьезную опасность. То же и в искусстве, поскольку ревизионисты по существу содействуют отрыву искусства от задачи служения народу, а ведь это главное в искусстве. Как это часто бывает, крайности сходятся: и ревизионизм, и догматизм в искусстве топят конкретную истину в пышной фразеологии, и оба тянут нас назад. Отождествляя понятия «метод» и «стиль», и те и другие лишают понятие социалистического реализма его истинного содержания. Ревизионисты пытаются опорочить метод социалистического реализма, это художественное видение мира, опирающееся на сознательное, марксистско-ленинское мировоззрение, мышлением, будто социалистический реализм «предписывает» некую художественную униформу всему искусству. Сектанты и догматики помогают ревизионистам в клевете на социалистический реализм, и поскольку они прикрыва-

ются при этом своей мнимой верностью принципам марксизма-ленинизма,— а эти принципы являются для меня самым дорогим,— я хочу решительно возразить им, ибо от таких «защитников» социалистического реализма наши принципы искусства коммунизма нужно отстаивать с не меньшей страстью, чем от открытых ревизионистских врагов его. Сектантство — это убеждение в достижении абсолютной истины в стиле и изобразительной технике. Подражание, безвкусие, косность также являются проявлением сектантства.

Как я уже говорил, каждый художник, особенно художник марксист-ленинец, то есть каждый художник социалистического реализма, всегда продолжает искать.

В этом процессе искания он будет стараться находить наиболее соответствующую форму для каждого конкретного содержания, стараться, сохраняя свою индивидуальность, не подражать другому, не повторять другого. Он не будет признавать никаких абсолютных, неизменяющихся правил и норм в искусстве, кроме одного закона — отображать действительность глазами, умом и сердцем марксиста-ленинца. Он, разумеется, будет пользоваться испытанными практикой правилами в искусстве. Он, конечно, будет пользоваться традицией своего народного искусства, искусства других народов, традицией своих и мировых классиков. Но будет только пользоваться — как трамплином, а не как кандалами на ногах.

Я хочу здесь сказать два слова по вопросу об этих традициях. Мы коммунисты, и, разумеется, мы, художники-коммунисты, считаем себя наследниками всех богатств, созданных всем человечеством, наследниками общечеловеческой культуры. Я обращаю ваше внимание на слово «общечеловеческая». Человечество — это не только народы Европы, древней Греции, Рима, это не только Ренессанс. Это — весь мир с его Азией и Африкой, Америкой. Вклад классиков и мастеров народного искусства Китая, Японии, Индии, Ирана, Турции в сокровищницу человеческой культуры ничуть не менее значителен, чем вклад Европы, Рима или Ренессанса. Это верно как для литературы, так и для живописи, скульптуры, танцев.

Возьмем, например, все возрастающее влияние живописи, музыки, танцев, скульптуры, архитектуры, театра и поэзии народов стран Азии и Африки на культуру Запада. Влияние, которое началось еще с XIX в. и продолжается по сей день.

Года два-три тому назад газета «Летр франсез» писа-

ла, что французские художники-импрессионисты довольно широко воспользовались переведенными на французский язык стихотворными наставлениями одного турецкого поэта о природе красок в миниатюрах. Или возьмем Матисса. О влиянии на его живопись классической японской и китайской живописи широко известно. В чем, например, обвиняло Пикассо расистское псевдоакадемическое искусствоведение, нашедшее самое уродливое выражение в гитлеристской доктрине искусства? В том, что он содействовал деградации западной культуры. По мнению расистов, Пикассо носит в себе микробы пизших, неевропейских рас. По их же мнению, проникновение негритянской музыки и особенно негритянской танцевальной музыки и негритянского танца в белый храм западной музыки и танца есть величайшее несчастье для Запада. Поистине чудесные возможности ритма становятся известными Западу благодаря нашим бубнам, барабанам, тамтамам. Разве можно не видеть влияния азиатской и африканской скульптуры на многие образцы западной скульптуры наших дней? А современная западная архитектура? Разве не заметно принципиальное сходство между архитектурой современных жилых домов на Западе и национальной японской архитектурой жилых домов, несмотря на то, что они применяют разные, а иногда и совершенно противоположные материалы? Наши низкие стулья и столы стали предметом подражания для мебельщиков Запада. Надо быть слепым, чтобы не заметить влияния театра Азии на творчество таких больших мастеров театра, как В. Мейерхольд и Б. Брехт, и на других крупнейших представителей сцены. Влияние поэзии Азии на западную поэзию прослеживается уже с XVIII века.

* * *

Но довольно излагать взгляды одного из турецких поэтов. Классовая борьба в Турции продолжается, как и во всем мире, и конечным результатом этой борьбы будет социализм. В области же искусства классовая борьба проявляется в борьбе между сторонниками социалистического реализма и его противниками. Это и составляет основу борьбы литературных направлений, хотя, может быть, не всегда до конца осознается.

Сошлюсь на примеры из современной действительности турецкой литературы.

Турецкий писатель Кемаль Тахир записал на обложке своего сборника рассказов «Озерные люди», изданного в

Стамбуле в 1958 году: «Настоящий турецкий роман рождается из действительности нашего рабочего и крестьянина.

Мы, писатели, обязаны основательно изучить все старые и новые свойства в жизни двух классов, неустанно следить за всеми изменениями в их экономических и социальных условиях.

Чем успешнее продвинемся мы в этом направлении, тем в большей степени произведения наши станут национальными и смогут перешагнуть через наши границы».

Другой турецкий писатель, Самим Коджагёз, писал в 1955 году в стамбульском журнале «Уфуклар»:

«Передовые поэты и писатели нашей страны создают свои произведения, опираясь на передовые воззрения и передовые методы. Эти передовые воззрения, как и во всей мировой литературе, есть народность и социальная направленность».

Эта точка зрения Кемаля Тахира и Самима Коджагёза разделяется сегодня лучшей частью современных турецких писателей. Эти писатели защищают идею о том, что литература должна сыграть активную роль во всей жизни страны. Тот же Самим Коджагёз в своей статье под заглавием «Почему мы пишем?», опубликованной в журнале «Едитепе» в связи с выходом в свет романа «Жестянка» Яшара Кемаля, пишет:

«— Что ты сделаешь, если вдруг у тебя в доме вспыхнет пожар? — спросил я.

— Постараюсь потушить, — ответил он.

— А если уже весь дом охвачен пламенем?

— Позову на помощь соседей.

— Но если и они не смогут помочь?

— Вызову пожарную команду.

Да простите меня за сравнение, но именно так я ответил моему другу — суровому критику, когда тот спросил меня, чего я добиваюсь своей писаниной? Любой тупик, в который заходит моя родина и мои соотечественники, любое препятствие, возникшее на нашем пути к гуманизму и цивилизации, любое затруднение, мешающее нам вести страну к благосостоянию и благополучию, для меня пожар. Во все горло я должен кричать о пожаре».

В беседе между Самимом Коджагёзом и его другом-критиком есть еще одно любопытное место. Критик спрашивает:

«А хорошо ли выставлять напоказ наши недостатки и беззаконие, показывать голодных и нищих людей? Не

скомпрометирует ли это нас в глазах иностранцев, не делает ли нас отвратными для самих себя?»

На этот вопрос Самим Коджагёз отвечает:

«Увидеть уродливость и беззаконие, знать о них — тоже полезное дело. Одни только рыбы не знают, что они живут в море. Увидеть, знать и показывать — это значит искать доброе, искать правду, распознать зло. Сегодняшняя наша литература, слава богу, уже вступила на этот путь».

У критика есть еще одно решительное возражение. Он говорит:

«Все вы говорите в своих произведениях почти об одном и том же: о земле, о безземелье крестьянина, о недостатке воды, о беззаконии, о фанатизме. Одно и то же».

Отвечая критику, который возражает против главной темы сегодняшней турецкой литературы, Самим Коджагёз говорит:

«Это значит, что пожар охватил весь квартал, все кричат о пожаре, и, видимо, придется кричать до тех пор, пока пожар не будет потушен. Если это не литература, то и я в таком случае не писатель».

Полемика между Самимом Коджагёзом и его другом-критиком или между тем же Коджагёзом и другими критиками иногда бывает более острой. Сегодня в турецкой литературе в основном борются два направления. Одну из причин этой борьбы следует искать в социально-политическом положении страны в недалеком прошлом и в наши дни.

Как известно, Турция — это первая страна, которая после первой мировой войны вступила в национально-освободительное движение и завершила его победой. В этой победе роль Советского Союза огромна.

Однако та же Турция была превращена своими правителями в опору империализма на Ближнем и Среднем Востоке. В этом заключается одна из причин той литературной борьбы, о которой я говорил выше. На одной стороне стоят народные передовые писатели, оставшиеся верными идеалам национально-освободительного движения и стремящиеся развивать и углублять эти идеалы; на другой — люди, защищающие существующее в сегодняшней Турции социальное и политическое положение. Я приведу несколько строк из статьи критика Шерифа Хулуси, опубликованной в 1956 году в журнале «Едитепе». Автор усматривает две категории внутри каждого из двух направлений в современной турецкой литературе.

«Писатель,— пишет Шериф Хулуси,— как и каждый человек и каждый интеллигент, есть человек, живущий в обществе. В результате восприятия его сознанием событий, происходящих в обществе, в нем, то есть в писателе, проявляется одно из четырех качеств:

1. Он воспринимает как свершившийся факт то, что сегодняшнее общество превратило все, в том числе и искусство, в товар. Рассчитывая на пошлый вкус, который породила в народных массах торговля искусством, он, этот писатель, пишет порнографические и авантюрные вещи, выбирает себе темой убийство, воровство, шантаж, болезненную любовь, психическое расстройство, мистику, и ему нет дела до того, почему общество угнетается. Точно бакалейщик на углу, он считает литературу и искусство средством наживы и заботится только о своем благополучии. Он превратил искусство в кабачок, где собирается узкий круг интеллигенции, закрыл двери кабака наглухо и, создав «искусство для искусства», сделал из искусства способ пустого времяпрепровождения.

2. Писатель находит, что общество развивается неправильно, он старается вскрыть его недостатки и хочет выступить перед обществом как моралист. В этом случае в его искусстве господствует желание быть полезным своему обществу.

3. Писатель не только хочет исправить общество, он считает, что его следует изменить в корне. Он показывает, что существующий режим превратился в живой труп и требует идеального общественного строя, о котором мечтают он и его единомышленники. Писатель борется за это, употребляет свое искусство как оружие борьбы. В этом виде искусства за счет некоторых слабостей формы в произведениях писателя наличествует богатейший клад взволнованной мысли.

4. Выступая в защиту старого режима, против сторонников нового общественного строя и против литературы для широких народных масс, писатель с целью затуманить головы людей, требующих нового, и привести их в замешательство ниспровергает все ценности и ударяется в софистику. Пестрота формы в подобном искусстве порою мешает нам увидеть всю пустоту скрытой в нем мысли. Такое искусство в действительности также является оружием борьбы в руках тех авантюристов от искусства, которые не хотят расстаться со старым режимом и стремятся к собственному благополучию любой ценой, с помощью любых средств».

Одним из писателей, перечисленных критиком Шерифом Хулуси в четвертом пункте, является писатель Яшар Наби. Он владелец журнала и издательства «Варлык», бывший поэт. По его мнению, главное несчастье сегодняшней турецкой литературы заключается в том, что она старается заниматься социальными проблемами.

Приведу несколько строк из одной его статьи:

«Наши литераторы прежде всего интересуются тем, затрагивает ли писатель в своем произведении социальные вопросы и является ли его произведение целенаправленным.

Такое положение является препятствием на пути развития нашей литературы».

Нетрудно угадать, что хочет сказать Яшар Наби. Он боится, как бы турецкая литература не занималась социальными проблемами, не приблизилась к народу и не дошла до симпатий к социализму. Как раз так и объясняет это критик Гюнйол, который отвечает Яшару Наби:

«Яшар Наби хочет сказать, что произведение, имеющее тенденцию к социализму, не может быть произведением искусства. Он советует нам создать литературу, которая ни рыба ни мясо».

Борьба между двумя противоположными направлениями в турецкой литературе приобретает еще большую остроту в связи с вопросами о социалистическом реализме. Те, кто требуют, чтобы литература, как они выражаются, не занималась политикой, — повторяю еще раз: их меньшинство, — называют противоположную сторону коммунистами и сторонниками социалистического реализма, доносят на них в полицию.

Писатель Пеями Сафа обрушивается на передовую литературу и называет лучших писателей Турции «змеями» и «закоренелыми преступниками». Его особенно раздражает то, что «левые сборники, которые носят красный оттенок, выпускаются один за другим». «Я сто раз предупреждал об этом моих старых друзей, владельцев газет, — писал Пеями Сафа в 1956 году в газете «Миллиет», — однако ни разу не смог убедить их в том, что опасность велика».

Но в борьбе между двумя направлениями побеждают те писатели, которые выступают за народность литературы, за гуманизм, за прогресс, против империализма, то есть за мир. Это отмечают даже иностранцы, знакомые с турецкой литературой. Приведу два примера. Западногерманский литературовед доктор Отто Шпиз пишет в журнале «Ди вельт дес Исламс», выходящем в Бонне: «В турец-

кой литературе отмечается новое веяние, тяга к отображению реальной действительности. Сегодня в турецкой литературе на первый план выдвинуты проблемы общественной жизни: проблемы крестьянства и рабочего класса рассматриваются в тесной связи с изображением самих крестьян и рабочих. Новое поколение писателей, реалистическое по своему убеждению, правдиво изображает жизнь крестьянина, описывает его тяжелую борьбу за существование и его безрадостную жизнь».

Похвалив покойного Сабахаттина Али, доктор Шпиз продолжает в своей статье: «В сегодняшней турецкой литературе есть стремление проникнуть в духовный мир турецкого крестьянина».

Молодые писатели — авторы романов о деревне Яшар Кемаль, Орхан Ханчерлиоглу, Самим Коджагёз, Кемаль Тахир, Орхан Кемаль, Суат Ташер и другие — передают в своих произведениях настроение широких масс крестьянства, угнетенных современным порядком, рисуют их положение, выражают их стихийное чувство протеста и негодования. Они показывают, что в турецкой деревне некоторая часть крестьянства, одиночки, поднимаются с оружием в руках на истребление жандармов и ага, уходят в горы в отряды «эшкия» — в «благородные разбойники», если можно так выразиться, большая же часть крестьянства безропотно несет свое ярмо, плачет и молится, резонерствует и мечтает, пишет прошения и посылает «ходатаев» (например, в романе Яшара Кемалья «Жестянка»), успокаивает себя надеждой на лучшую жизнь на том свете, жалуется на рок и судьбу.

В своих произведениях они рисуют потрясающие картины бедности, нищеты и падения человека, забитого жизнью, предельное обнищание и разорение деревни, поиски крестьянами заработка и пристанища, постепенное превращение крестьян либо в заводских рабочих, либо в нищих бродяг.

Своими произведениями молодые писатели стараются ответить на самые жгучие вопросы социальной жизни: кто виноват в том, что жизнь большинства трагична, где искать выход. Передовая литература Турции постепенно пробивает себе дорогу. В условиях современной Турции она является, пожалуй, единственной отдушиной, проводником передовой мысли. В ней идут напряженные поиски истины, правды. Передовая литература Турции представляет собою кафедру, трибуну, школу. Она помогает выработке правильного мировоззрения у передовых людей

турецкого общества, помогает развитию демократических идей в широких демократических кругах. Она помогает людям докапываться до корня вещей и понять причины бедствий народа.

Творчество передовых писателей Турции вырастает на основе глубокого изучения общественной жизни своего народа, на основе понимания тех процессов, тех сдвигов, которые совершаются в объективной действительности.

В турецкой литературе сторонники общественно полезной литературы, которых нередко именуют писатели социалистического реализма, завоевывают в литературной борьбе все новые и новые победы. Это характерно не только для Турции. Классовая борьба во всем мире в конечном счете завершится победой передовых сил, сил социализма, и поэтому победа в области искусства также будет на стороне социалистической литературы.



САБАХАТТИН АЛИ

В то время я был техническим секретарем и корректором журнала «Ресимли ай» («Иллюстрированный ежемесячник»), который издавали супруги Сертель. «Ресимли ай» боролся против империализма и особенно империализма американского, выступал в защиту демократии, против фашизма, требовал упрочения турецко-советской дружбы.

В те дни, как и сейчас, враги демократии, враги Советского Союза — фашисты, пантюркисты, агенты империализма — объединились в единый фронт. Этому единому фронту «Ресимли ай» противопоставил единый фронт своих изданий. На страницах журнала под заголовком «Развенчиваем кумиры!» шла литературная дискуссия.

На самом деле эта литературная дискуссия была лишь формой для выступлений в защиту политических прав народа. Одновременно в журнале печатались стихи, призывавшие к солидарности с участниками разразившейся в Стамбуле забастовки транспортных рабочих, помещались репортажи о Советском Азербайджане, статьи, разоблачающие Христианскую ассоциацию молодых людей, Библейское общество, американские колледжи в Стамбуле и прочие организации империалистической агентуры. В ответ на это Христианская ассоциация молодых людей и пантюркисты из Турецкого очага, объединившись с полицией Стамбула, устроили налет на типографию журнала. Первым делом они хотели линчевать Зекерию Сертеля, а затем Сабиху Сертель и меня. Но в коридорах редакции их встретили типографские рабочие с наборными щипцами в руках, и палетчики вынуждены были обратиться в бегство.

Я не зря рассказываю о журнале «Ресимли ай». Этот журнал занял важное место в литературной и политической судьбе Сабахаттина Али. Здесь был опубликован его первый рассказ «Лесная трагедия». Здесь началась наша дружба.

Если я упоминаю о нашей дружбе, то лишь потому, что,

как мне кажется, она тоже сыграла какую-то роль в литературной и политической судьбе Сабахаттина Али. Публикование первого рассказа писателя в журнале «Ресимли ай» означало, что он занимает определенную позицию в тогдашней литературной, а следовательно и политической жизни страны. Принеся к нам свое первое произведение, Сабахаттин Али показал тем самым, что его симпатии на стороне тех, кто борется за демократию против империализма. Сотрудничество «Ресимли ай» и наша дружба, а также завязавшееся несколько позднее, в Синопской тюрьме, знакомство с некоторыми членами Коммунистической партии Турции помогли Сабахаттину Али усвоить коммунистические идеалы, привязанность к которым росла в нем с каждым днем. Молодой писатель изучал Маркса, Энгельса, Ленина, проявлял живой и постоянный интерес к международному рабочему движению, к жизни и борьбе рабочих, крестьян и ремесленников Турции.

Среднего роста, плотный, коренастый, Сабахаттин не прятал глаза за стеклами очков, не таил за ними никакого подвоха. Его глаза смотрели на окружающих с дружелюбным вниманием, а иногда и с дружеской насмешкой. По временам во взгляде его сквозила тоска. Порою он бывал очень беспокоен, тревожен. А иногда чересчур полагался на себя. Не на свои кулаки, а на свой ум...

«Я, конечно, умнее и толковее всех наших шпииков, полицейских комиссаров, начальников охраны и министров внутренних дел», — любил он говорить.

Сабахаттин был действительно умнее всех этих палачей и их подручных. Но они были коварны, жестоки, хитры. И главное — организованны. Сабахаттин Али не состоял ни в какой организации. Он горячо сочувствовал Коммунистической партии Турции, но не был ее членом. Если бы он вступил в партию, это, возможно, не спасло бы его от тюрьмы или от руки убийцы. Но тогда он не попался бы так легко на эту проклятую фашистскую провокацию, тогда не так легко было бы его убить в лесу Карабаира.

Голова Сабахаттина поседела раньше времени. Когда его убили, молодая жена Сабахаттина, его верная подруга, осталась с маленькой дочерью на руках.

Сабахаттин Али хорошо знал немецкий язык, сам бывал в Германии. Может быть, поэтому в его первых произведениях чувствуется влияние немецкого романтизма. До конца своих дней он остался восторженным поклонником великих немецких романтиков. Сабахаттин Али очень любил французов, особенно французских реалистов. Но

нельзя сказать, что французские писатели оказали на него большое влияние. Знакомство с классической русской литературой, особенно с Гоголем, Толстым, Тургеневым, Чеховым и Горьким оказало влияние не только на его творчество, но и на общественную деятельность. Из советских писателей он очень любил Шолохова и считал, что его произведения находятся на одном уровне с творениями великих русских классиков.

Сабахаттин прекрасно знал турецкий фольклор, народную литературу. Он сам был хорошим поэтом. В его стихах заметно сильное влияние народной поэзии.

В истории турецкой прозы Сабахаттин Али занимает особое место. До него были в Турции писатели-прозаики, отображавшие в своих произведениях жизнь ремесленников, крестьян и интеллигенции, но большинство из них находилось под сильным влиянием французского натурализма и реализма. Не могу не сказать здесь, что почти за пятьдесят лет до появления в свет известных записок сельского учителя Махмуда Макала «Наша деревня» был опубликован роман «Сын паши», в первой части которого была описана турецкая деревня, почти ничем не отличающаяся от деревни Махмуда Макала, — те же голод, нищета, невежество, эксплуатация женщин, детей. В обеих этих книгах, написанных с натуралистических позиций, можно найти также и элементы критического реализма. Сабахаттин Али не первый рассказал о жизни средних классов, крестьянства и интеллигенции Турции. Но он первый в турецкой прозе сделал это с таким мастерством, он первый в турецкой прозе приблизился к социалистическому реализму.

Недавно некий литературный критик, анализируя историю турецкого романа в одной из стамбульских буржуазных газет, вынужден был признать, что Сабахаттин Али — лучший романист республиканской Турции. Но эти же самые буржуазные газеты в свое время чуть ли не с радостью сообщили об убийстве Сабахаттина Али и объявили его убийцу едва ли не национальным героем.

Сабахаттин Али — глава целой литературной школы, зачинатель нового направления в турецкой прозе. Велико и благородно его влияние на турецких писателей, особенно новеллистов. Все, кто в турецкой литературе выступает вместе с коммунистами против империализма, за демократию, все передовые турецкие литераторы еще при жизни Сабахаттина Али гордились тем, что он находился в их рядах, гордятся этим теперь, после его смерти, и будут гордиться всегда.

Роман Сабахаттина Али «Дьявол внутри нас» всесторонне охарактеризован в послесловии к книге. Мне нечего к этому добавить, за исключением нескольких слов о цензурных условиях, в которых роман был написан. Когда заходит речь о цензуре в Турции, не следует думать, будто газеты, журналы и другие издания перед опубликованием посылаются в какой-то цензурный комитет. Такой цензуры нет сейчас в Турции, и не было ее в те годы, когда работал Сабахаттин Али. Но существует цензура куда более страшная — это тюрьма. Автор не обязан посылать в цензуру книгу прежде, чем ее напечатают, но зато сразу после выхода она может быть конфискована, а писатель может быть брошен в тюрьму. Мало того, нужно найти книгоиздателя и книгопродавца, которые согласились бы взять на себя распространение книги, поэтому она должна обязательно нравиться книгопродавцу, а ее издание не должно грозить ему тюрьмой. Или же книгопродавец должен быть уверен, что книга принесет ему огромные барыши, тогда он может решиться издать ее, если даже книга ему не нравится и ему угрожает тюрьма. В таких цензурных условиях работали Сабахаттин Али и его товарищи, в еще более худших условиях работают турецкие писатели в наши дни.

Многие рассказы Сабахаттина Али переведены на русский язык. «Дьявол внутри нас» — первый переведенный роман писателя. От всего сердца хотелось бы пожелать, чтобы на русский язык были переведены все рассказы Сабахаттина и его лучший роман «Юсуф из Куюджака». Если бы Сабахаттин был жив и его спросили бы, на какой язык он хотел бы видеть прежде всего переведенными свои книги, он наверняка ответил бы: «На язык Толстого и Ленина».

Я говорю это не ради красного словца. Я хорошо помню, как Сабахаттин сказал мне однажды:

«Говорят, госпожу Халиде Эдиб перевели на русский язык. — Он с грустью взглянул на меня из-под очков. — Как ты думаешь, переведут ли когда-нибудь меня? — Глаза его радостно засверкали. — Ведь это не шутка быть переведенным на самый великий язык будущего! Сотни миллионов людей смогут читать меня и, может быть, полюбят меня и мой народ...»

Сабахаттин Али — один из самых честных, самых верных, самых талантливых сыновей турецкого народа.



О НЕЗВАЛЕ

Витезслав Незвал — один из великих поэтов современности, коммунист и человек XX века — был моим другом.

Мы были в братских партиях.

Я — его восторженный читатель.

Он родился в начале века в Моравии, в доме сельского учителя, и умер в конце 50-х годов в Праге, будучи народным поэтом Чехословакии...

Если бы Незвал жил еще год, он стал бы свидетелем того, как сын Человека приступил к покорению космоса. И первыми это начали коммунисты.

Поэт Незвал любил живопись и музыку. Он был интересным художником и великолепно играл на рояле. Он сам рассказал мне, что в молодости колебался, что выбрать — поэзию или музыку.

Его любимые большие города: Прага, Москва, Париж. Мне очень обидно, что он не увидел Стамбула. Если бы увидел, полюбил бы и его, я уверен.

Один французский критик так писал о Незвале: «Он похож на быка, который, напрягая свою толстую шею и мускулы, свое тяжелое тело и большую голову, бросается в жизнь».

Когда я увидел Незвала впервые — он ждал меня в холле одной пражской гостиницы, удобно развалясь в кресле, и пил свое пиво, — мне тоже пришло в голову такое сравнение. Я знал его стихи по французским и русским переводам. И хотя я никогда не видел даже его фотографии, войдя в холл, сразу узнал его. Не потому, что я очень догадлив. Такие стихи мог писать только человек, под тяжестью которого прогибается кресло и который поднимается с него с легкостью пятнадцатилетнего юноши. Я подошел к нему. У него были умные детские глаза, которыми он удивленно и ненасытно смотрел на мир. Он пожал мне руку. Я сел против него. Мы стали друзьями.

Теперь я часто думаю о нем, припоминаю дни, проведенные вместе, снова перечитываю его стихи — и понимаю: Незвал верил, что великая справедливость, великая свобода, великое счастье — коммунизм, осуществляется на земле, и потому он неудержимо любил жизнь. Нельзя быть большим поэтом, каким был Незвал, и отличаться его цельностью, если не любить труд, мышление, любовь, свободу, тоску, хлеб, вино, споры, звезды, горы, если не любить опыта традиций и не разделять страсти к новому — к отысканию этого нового и осуществлению его.

У Незвала было очень больное сердце. У меня тоже. Он заболел на год раньше меня. Незвал интересовался своей болезнью и боролся с ней, как садовник, сражающийся в своем саду с червяком, пожирающим одну из его роз. Он принимал все меры, чтобы его роза подольше жила. Он читал ленты электрокардиограмм лучше многих профессоров. Но чтобы не потерять радостной связи со своим садом, с тем садом, который будет цвести и после гибели розы, он старался жить так, будто роза была здорова...

Я не знаю чешского языка. Но когда читаю Незвала даже в переводах, я восхищаюсь его страстью к свету, форме, объемности, материи. Много раз он читал мне свои стихи на чешском языке. Чешский язык — красивый язык. Мне кажется, что в стихах Незвала язык приближался к народной и классической чешской музыке. В его стихах соединяются песни чешских горцев с мелодиями Сметаны.

Однажды он мне сказал:

— Я могу писать стихи во всевозможных ритмах. Я перепробовал их все; хотел освоить ремесло стихосложения разных народов.

Если Незвал смог привнести что-то новое в чешскую и мировую поэзию, то это объясняется, во-первых, тем, что содержание его стихов было коммунистическим, и, во-вторых, он блестяще владел ремеслом поэта, мастерски использовал опыт не только своей национальной поэзии, но и поэзии других народов. Он был подлинным новатором, потому что не только теоретически знал, как писали до него, но и сам владел мастерством своих предшественников...

Некоторые критики и поэты разделяют творческую биографию Незвала на различные периоды. По-моему, у него есть два периода: короткий период — до того, как он

стал коммунистом, и второй,— длившийся до конца его жизни. В течение всего этого времени (почему этот период не продлился хотя бы еще двадцать пять лет!) он год за годом, без колебаний и сомнений, твердо и принципиально работал, обогащая содержание и форму коммунистической поэзии.

Некоторые критики и поэты находят в отдельных произведениях Незвала формалистические пороки. Я несколько раз интересовался этими «порочными» стихотворениями и не увидел в них никакого криминала — ничего, кроме исканий, интереснейших опытов большого поэта.

Мы признаем право экспериментировать за математиками, врачами, атомщиками; в странах социализма — за рабочими и колхозниками, почему же не оставить этого права за художниками? В поэзии, как и в любых других областях, эксперимент не всегда сразу дает прямой результат, но он готовит почву для будущих открытий. «Порочные» эксперименты Незвала, по-моему, дали и ему самому и социалистической поэзии возможность делать новые открытия. Из его «формалистических» стихов я кое-что почерпнул и для себя.

В творчестве Незвала есть грусть, здоровая горькая человеческая грусть, но нет пессимизма. В творчестве Незвала есть радость, смех, жизнеутверждение. Он оптимист, но не приспособленец...

В строю передовых поэтов нашего века: Маяковского, Гарсиа Лорки, Юлиана Тувима, Пабло Неруды и многих других — стоит и Витезслав Незвал.

Предисловие к его книге пишет турецкий поэт. Что соединяет меня, турка, и чеха Незвала с русским языком? Русский язык — это уже язык не только одного народа и не только мост для общения между народами, как английский или французский. Русский язык — это первый великий язык коммунизма. Вот что соединяет меня и Незвала с ним.



ЧЕРЕЗ ВСЮ ЖИЗНЬ

Где и когда я впервые увидел театр? Если «Карагёз» можно считать театром, то в Стамбуле, в восемь лет, во время праздника. А может быть, я увидел «Карагёз» еще раньше, в кофейне нашего квартала, в один из вечеров праздника рамазана? Не помню, меддаха я тоже впервые услышал в те дни? Что осталось сегодня в памяти от первого моего «Карагёза» и первого меддаха? То укорачивающиеся, то удлинняющиеся тени тоненьких палочек, на которых водили Карагёза и Хадживата на фоне крошечного белого экрана. Как странно, в моей памяти остались не красочные силуэты Карагёза и Хадживата на экране, а тени палочек, которые то исчезали, то снова появлялись. Почему? Наверное, потому (я догадался об этом не в восемь, а в девятнадцать лет), что главные действующие лица — это палочки, прикрепленные к рукам, к спине, к шапке Карагёза и Хадживата, и тот невидимый актер «карагёзчю», который управляет этими палочками. А что осталось в моей памяти от меддаха? Я не помню ни его лица, ни его глаз. Забыл, о чем он рассказывал, кого имитировал. Но голос его до сих пор звучит у меня в ушах. Этот голос, голос человека, который старается, чтобы вам непременно понравилось, чтобы вы были довольны, чтобы вам было весело, я постоянно слышу, начиная с восьми лет до шестидесяти.

«Карагёз» и меддаха, может быть, и нельзя назвать театром. Но оперетта — это театр. Первую оперетту я видел тоже в Стамбуле в годы первой мировой войны, кажется, в 1915 году. Это была австрийская оперетта, она прибыла в Стамбул на гастроли. Прямой оперетты была актриса по фамилии Милович, не то австрийка, не то венгерка, не то хорватка. Но помню, как сейчас: очень белая, очень розовая, очень пухлая высокая блондинка. Мне было лет тринадцать-четырнадцать. Для этой Милович

наши богачи, разбогатевшие на войне, сшили одеяло из пятисотлировых бумажек, зажигали ей сигарету от огня тысячелирового банковского билета. А в это время население Стамбула питалось хлебом с опилками. Юноши, голодные, голые, истекали кровью на четырех фронтах. Может быть, поэтому всякий раз, когда я слышу музыку из оперетты «Сильва», мне хочется орать, кого-то выручать, я становлюсь синим от гнева, и вместе с тем меня бросает в жар, перед моими глазами появляется складочка на пухлой груди Милович. Один раз я видел Милович в «Сильве». У меня закружилась голова, но я не влюбился. Первая актриса, в которую я влюбился, была Элиза Бенемеджиян.

Оттоманская империя была свергнута. Войска и флот Антанты оккупировали Стамбул. В Анатолии начались волнения, направленные против империализма. Уже давно было напечатано мое первое стихотворение. Элиза была примой стамбульского театра «Дарульбедаи». На турецкой сцене еще не было актрис-турчанок. Мусульманская религия запрещала женщинам выступать в театре. Элиза была армянкой. В создании современного турецкого драматического театра, турецкой комедии, оперы и оперетты велика заслуга армян. История турецкого театра гордится именами Манакяна, Папазяна, Элизы Бенемеджиян.

Я не помню, в каком именно спектакле театра «Дарульбедаи» я впервые увидел Элизу. Но я очень хорошо помню, что с первого взгляда влюбился в нее. По-турецки она говорила, как настоящая стамбульская госпожа. В своей жизни я не видел таких огромных глаз, как у нее. Когда она говорила, у нее горели щеки. До сих пор у меня перед глазами мягкие движения ее белых, очень белых рук.

Я вышел из театра. «Я должен написать пьесу, — сказал я себе, — другого выхода нет, я должен написать пьесу; только так я смогу увидеть ее поближе, а может быть, она и руку мне пожмет. Но написать пьесу мне казалось самым трудным на свете делом. Написать пьесу, отдать ее в «Дарульбедаи», потом сидеть в первом ряду партера, нет, на правой стороне в авторской ложе, и смотреть на Элизу, играющую в моей пьесе. Пьесу я собирался писать в стихах. Но о чем? Конечно, о любви. Так родилась моя первая пьеса «У огня».

Живет на горе умный, очень добрый, с поэтической натурой старик. Однажды, в снежную ночь, в дверь его дома торопливо стучится красивая молодая женщина.

Старик впускает ее, усаживает у огня. Женщина чего-то боится. Старый поэт успокаивает ее. Он рассказывает ей о красоте длинных-длинных ночей, проведенных у огня, он открывает перед ней двери разума, мудрости, философии, мысли и поэзии. Он уверяет женщину, что, войдя в эти двери, она обретет счастье. В это время, разбив заснеженное стекло, в комнату выпрыгивает юноша. Это он преследовал молодую женщину. «Иди,— говорит он ей.— Идем со мной. Тебе не избавиться от меня». Старик открывает дверь (чтобы они не вышли через окно), и двое молодых,—впереди юноша, за ним женщина — уходят.

Почему моя первая пьеса такая? Странно то, что старик в пьесе — был я сам. А мне в это время было всего восемнадцать лет. Впоследствии я понял, почему изобразил себя в образе старика. Кто Элиза и кто я? Ну что из того, что я своими стихами, своим талантом удержу ее на часок у огня моей пьесы? Через час опустится занавес — разобьются стекла окна, и слава Элизы, почему-то казавшейся мне в то время очень богатой, ее привычная жизнь огорчат ее от меня...

Я закончил свою пьесу «У огня», но не успел отдать ее в театр «Дарульбедаи». Пришлось убежать из Стамбула, чтобы присоединиться к национально-освободительному движению в Анатолии. В Анкаре зимой 1921 года в деревянном здании, бывшей конюшне, отогревая замерзшие руки собственным дыханием, я смотрел Кямиля в роли Отелло. Впервые в жизни я видел Шекспира. Один младотурецкий поэт по имени Абдуллах Джевдет перевел гениального драматурга на турецкий. Перевод его изобиловал арабскими и персидскими словами и оборотами, которые очень усложняли восприятие текста. Еще в Стамбуле я читал «Отелло» и «Гамлета» в переводе Абдуллаха Джевдета. Меня удивили, поразили пьесы Шекспира, но, признаться, я их не совсем понимал. Кямиль был бродячим актером, его репертуар состоял из одной-единственной пьесы — «Отелло». Говорят, он играл Отелло в стиле Папазяна. Как жаль, что мне не удалось посмотреть Папазяна в «Отелло»! Но, посмотрев в «Отелло» его ученика Кямиля, можно себе представить мастерство учителя. Пока я находился в Анкаре, Кямиль сыграл венецианского мавра не менее десяти раз. И каждый раз я был в театре. Своим преклонением перед Шекспиром я обязан плохим, очень плохим переводам Абдуллаха Джевдета. Но по-настоящему раскрыл мне Шекспира ученик Ваграма Папазяна Кямиль. Кямиль давно уже умер. Голодный,

опустошенный, больной, он покинул жизнь. Папазян приехал в Советский Союз, стал народным артистом.

В 1921 году я прибыл в Батум. В гостинице, которая тогда называлась «Франция», два раза в день я ел по тарелке каши из кукурузной муки со ста граммами хлеба и ходил на митинги, стуча деревянными подошвами своих башмаков; трудился в газете «Красный профсоюз», которую издавало зарубежное бюро турецкой Коммунистической партии, и читал пьесы на французском языке, выпускавшиеся в серии «Иллюстрасьон». Их было много — штук пятьсот, а то и больше. Я нашел их в шкафу в номере. Все они были изданы до 1914 года. Шесть месяцев я жил в атмосфере тогдашних французских бульварных театров и французского водевиля. Я познакомился тогда не только с нутром крупной и мелкой французской буржуазии тех лет, но и с некоторыми хитростями драматургической техники.

После пьесы «У огня» я написал еще одну, совместно с турецким писателем Вала Нуреддином, когда мы вместе учительствовали в Анатолии, в местечке Болу. Пьеса называлась «Каменное сердце».

Один крестьянин, сумасшедший, остановился в деревне, в доме сельского богача. Он слышит, как крестьяне говорят о богаче, о том, что у него сердце из камня! Ночью сумасшедший крестьянин душит богача, хочет вырвать его сердце, но не находит его и кричит: «У него же вовсе нет сердца!» Эта пьеса, в которой ярко обозначен социальный мотив и которая сильно смахивает на пьесы «Гранд гиньоль», оказалась для меня очень полезной: я изучил язык деревни, точнее, язык, на котором говорили в деревне Болу. Благодаря этому мой переход к народному языку впоследствии оказался не таким уж трудным.

Однако вернемся к книжкам серии «Иллюстрасьон». Однажды мне в руки попала пьеса, написанная в стихах. Называлась она «Бетховен». Помнится, пьеса была написана недурно. А может быть, и дурно. Прочти я ее сейчас, она вряд ли мне понравилась бы. Но именно она подсказала мне идею пьесы, которую я всю жизнь хотел написать, и боюсь, что умру, так и не успев ее написать. Это — жизнь Карла Маркса, которую я хотел описать в одной или нескольких пьесах.

Первую оперу, первый балет, первый настоящий театр я увидел в Москве. Опера поразила меня. Я говорю о двадцатых годах, о тех спектаклях, которые остались в моей памяти — «Кармен» и «Красный мак», в постановке, в де-

кораблях и в манере игры тех лет. По правде говоря, я не люблю оперу: опера — это большое искусство, трудное искусство, и сооружения у нее огромные, и есть в ней что-то помпезное. Оперный театр в моей стране помпезный театр. Что поделаешь, ни с первого взгляда, ни впоследствии я не смог полюбить оперу. Но нельзя сказать, что она не оказалась для меня полезной. И не только в драматургии, но и в стихосложении и даже в повседневной жизни я пользовался уроками, которые мне дала опера. Только не в прямом, а в обратном смысле. Оперы, которые я слушал, убедили меня, что в искусстве и в жизни нужны лаконичность, простота и не нужны пышность, блеск и бархат.

От Малого театра в моей памяти ничего не осталось. Я опять-таки говорю о тех годах. Из современных же постановок Малого театра мне понравился «Остров Афродиты».

Да, чуть не забыл. Опера повлияла на мое понимание живописи, скульптуры и даже архитектуры, на мой вкус. Я до сих пор не люблю картины, композиции, скульптуры, которые похожи на оперные спектакли, на оперную постановку, на жесты оперных актеров. В стихотворении, которое я написал в двадцатых годах о Мейерхольде, я говорил: «Здание Большого театра могло служить прекрасным амбаром для пшеницы». Конечно, я был несправедлив!

Из балета Большого театра тех лет, кроме «Красного мака», я ничего не запомнил. Помню, что я смотрел где-то балет под названием «Иосиф Прекрасный». Этот балет оказал большое влияние на меня. Он показал мне, какова должна быть вечно меняющаяся, находящаяся в постоянном обновлении композиция не только в балете, но и в драме, в романе, в стихе. Если бы сейчас его играли так же, как тогда, я посмотрел бы этот балет сорок раз, получая каждый раз сорок тысяч уроков для себя.

Я смотрел спектакли, только что «испеченные» Станиславским, Мейерхольдом, Вахтанговым, Таировым, свежие, тепленькие, благоухающие жизнью, эпохой, красотой, героизмом, добром, мудростью, разумом. Я, человек, увидевший в двадцатых годах «На дне» во МХАТе, «Смерть Тарелкина» и «Ревизора» — в театре Мейерхольда, «Грозу» и «Федру» — в Камерном, «Принцессу Турандот» — у Вахтангова. Разве у человека, посмотревшего все это, не перевернется вверх дном его застывшее, каноническое понимание искусства? Разве не откроются перед ним горизонты, один просторнее другого? Разве он не загорится стремле-

нием написать произведения, зовущие народ, все народы к счастью, к свету, к справедливости, к правде, к прекрасному, к свободе, к братству? То же самое случилось и со мной.

Режиссерские искания тех лет оказали большое влияние на мою драматургию. Я стал придумывать свои пьесы, имея в виду постановки Мейерхольда, или Станиславского, или Вахтангова. В построении моей пьесы «Череп» велико влияние школы Мейерхольда, в пьесе «Всеми забытый» — Станиславского.

Влияние советского театра на мою поэзию больше, чем влияние советской поэзии. Под театром я подразумеваю не только драматургию, но и режиссеров, актеров, художников. Я мог бы иллюстрировать это влияние примерами, но воздержусь, поскольку никого, кроме меня, это не может интересовать.

Театры Москвы тех лет зародили во мне потребность искать, изучать, углубляться, абстрагировать и обобщать. И это не только в искусстве. Театры Москвы способствовали и моему идейному развитию. Уроки марксизма, которые я получил в Коммунистическом университете народов Востока (КУТВ) и которые сделали меня человеком, я получил также и под прожекторами советских театров тех лет.

Да, кажется, я пишу что-то вроде мемуаров. Впервые в жизни. Хотя и на одну тему, а все же мемуары. Между тем если есть на свете человек, который неспособен записывать свои воспоминания, так это я. Вы улыбаетесь, спрашиваете, почему? Очень просто: память у меня никудышная. Не могу удержать в ней ни названий месяцев, ни имен людей. И поэтому сейчас, когда, изо всех сил напрягаясь, думаю о том, какую роль сыграл в моей жизни театр, — хоть я и третьеразрядный драматург, — прихожу в изумление: настолько значительной оказывается эта роль. Я это обнаружил в шестьдесят лет, когда начал писать эти заметки для журнала «Театральная жизнь». Как странно! Но я еще могу вспомнить все «реплики» этой «роли», особенно их последовательность.

Сейчас я работаю над романом. Приходится просматривать комплект «Правды» за 1924 год. Позавчера я прочел там такую информацию:

«Турецкий агитспектакль»

12 февраля в помещении Краснопресненского рабочего театра им. Каляева состоялся вечер студентов Коммуни-

стического университета трудящихся Востока, посвященный памяти 15-ти турецких коммунистов во главе с т. Субхи, предательски убитых наемниками турецкой реакции. После официальной части вечера турецкий драмкружок показал пьесу своего участника т. Назыма в обработке всего кружка и в постановке т. Экка, работника театра им. Вс. Мейерхольда. Пьеса интересно построена. В первом акте дано убийство тт. коммунистов в трюме парохода, происшедшее 28 января 1921 года; во втором — подпольная типография, налет на нее; и в третьем акте константинопольская улица (ряд недоразумений, подчас комических, происходящих на почве преследований всего, что носит цифру 28). Четвертое действие — суд над арестованными людьми, так или иначе причастными к цифре 28, и захват всего суда настоящей коммунистической демонстрацией.

Пьеса поставлена в национальных костюмах. Формы постановки упрощенные. Зрительный зал, состоявший из представителей многих национальностей и поэтому в большинстве не знавший турецкого языка, тем не менее воспринимал спектакль с огромным интересом».

Значит, впервые мое имя как драматурга упомянуто в «Правде» в 1924 году. Кто расскажет, как я обрадовался тогда, прочитав в «Правде» эту заметку? Да что скрывать, и позавчера, когда я наткнулся на эти строки, сердце мое сладко екнуло: шутка ли, еще тогда «Правда» упомянула обо мне!

В Москве вместе с Николаем Экком мы создали театральную артель «Метла». Кажется, первую и последнюю театральную артель. Точно дату создания «Метлы» не помню, но афиша до сих пор перед моими глазами. На красном диске — метла на длинной палке. Намерения наши ясны: сметать буржуазные, мелкобуржуазные и феодальные пережитки, оставшиеся в повседневной жизни, в сознании и душе людей, а также очищать Москву от театров, которые, как мы утверждали, вольно или невольно, отстаивают эти пережитки.

Мы играли два раза в неделю в нынешнем кинотеатре «Центральный», тогдашний «Шануар», где был и клуб Коммунистического университета трудящихся Востока. Если не ошибаюсь, одно время я был там руководителем драматических кружков. Помню еще одно: актеров мы подбирали, подвергая их двум экзаменам. Первый — по актерскому мастерству. Его принимал Экк. Второй — по

политике. Принимал я. Экзаменуемому давал прочесть передовицу «Правды» за тот день и просил рассказать, что он понял. Потом задавал ему вопросы по внутренней и внешней политике.

Наш театр вознамерился добиться органического единства политики и театра. Помню, что в «Метле» играли мою пьесу «Кто виноват?» и ревю, которое мы написали вместе с Экком. «Кто виноват?» — одноактная пьеса, в которой выдвигался тезис о том, что в убийствах, воровстве и прочих преступлениях в мире капитала повинны не индивидуумы, а общество. Ревю было построено по мотивам «Кирпичиков», популярной в то время песни. В нем нашли отражение первая мировая война, Октябрьская революция, начало экономического восстановления.

В ревю мы органически соединили театр с кинематографом. Один пример: герой участвует в уличной демонстрации. Демонстрацию мы видим на экране. Герой, отделившись от демонстрантов, стучит в дверь дома, входит в комнату, то есть, выйдя из кадра на экране, входит в комнату на сцене. Принцип был следующий: все экстерьеры — на экране, все интерьеры — на сцене, но во взаимосвязи.

Продержавшись около шести месяцев, «Метла» сама себя вымела из театрального мира. Удивительно, что она продержалась целых шесть месяцев! Против пережитков старого мира в сознании людей нужно было бороться оружием более совершенным, более передовым, более острым. Наша «Метла» с ее возможностями и нашим тогдашним пониманием сущности театра не сумела выполнить эту задачу. Но... человек все-таки любит похвастаться (и это тоже пережиток!). Когда я написал, что мы применили приемы театра и кино, органически объединив их, я, конечно, похвастался. Я даже подумал о том, что мы это осуществили гораздо раньше, чем чехи в своей «Латерне магии». Между тем в те годы во всем мире проводились такие эксперименты. Даже в Стамбуле в одной картине, кажется, немецкой, героиня играла и на экране и на сцене.

Опыт «Метлы» нашел выражение в пьесе «Череп». Уже в те годы я зачитывался произведениями Маркса, Энгельса, Ленина. Они для меня не только гении, великие революционеры, но и большие, очень большие мастера. Я хотел поставить на сцене произведения В. И. Ленина. Сделал большой сценарий по книге «Империализм, как высшая стадия капитализма», введя в него конкретные

персонажи. Не для кино — для нашей «Метлы». Но сыграть это не удалось. Написал также балет для Мейерхольда «Пирамида». Социальная пирамида со своими производительными силами, производственными отношениями и надстройками. Принес Мейерхольду. Он прочел. Поправилось. Но не поставил. Написал еще пьесу в стихах «Четырнадцатый день месяца». В ней говорилось о восстании на корабле в Атлантике. Этот корабль — с топкой, машинным отделением, кочегарами, командой, с пассажирами палубы, второго, первого класса и «люкса», с капитаном — представлял собой стилизованный макет капиталистического общества. Пьесу я не закончил, и она, конечно, не была поставлена. Но некоторые отрывки из нее я использовал в своем романе в стихах «Почему Бенерджи покончил с собой?».

Первый вариант «Черепашка» я написал также для «Метлы». Сыграть не удалось. Этот вариант потерялся. Вторым вариантом я написал в Турции. В свое время я расскажу о сюжете и постановке этой пьесы. Тезисом ее также было одно из положений марксизма: капитализм в своем развитии доходит до такой стадии, когда не только материальные, но и духовные ценности превращаются в товар.

Стараясь вспомнить те годы, я еще раз замечая: на моем понимании искусства, на моих поисках в искусстве сказываются влияние советского театра и мое стремление окунуться с головой в его жизнь. Желание иллюстрировать на сцене книги Ленина привело меня к осуществлению того же и в поэзии.

Я задумал двумя стихотворениями проиллюстрировать «Материализм и эмпириокритицизм». Одно из них опубликовано на многих языках. Называется оно «Беркли». Второе я потерял. Помню только четыре строки:

Читаю тебя, дорогой Юм,
Клонит меня ко сну.
Во сне ты что ли, не пойму,
Философия твоя больно сонная...

Я думаю о том, какой же из театров натолкнул меня на такие эксперименты в драматургии и через нее в поэзии. Я несколько не жалею, что проделывал эти эксперименты. По сегодняшний день я ощущаю их пользу.

Меня натолкнул на эти эксперименты Мейерхольд. Но он научил меня не только тому, как важно подчеркивать в искусстве его социальное значение. Я видел у него яркие примеры применения в режиссерском искусстве марксист-

ско-ленинского положения о том, что мы являемся единственными наследниками всех подлинных ценностей, созданных человечеством во все времена в Азии, Африке, Европе. Как драматург и поэт-коммунист я во многом обязан коммунисту Мейерхольду, который раскрыл передо мной великие достижения всех театров, начиная от классического театра Азии и кончая турецким народным театром, всех театров Европы всех времен, сочетая их с великими традициями русского театра.

Быть обязанным во многом не означает быть обязанным во всем. В других областях театрального искусства я многим обязан Станиславскому, Вахтангову и Таирову. Что же касается моего сегодняшнего понимания театра, оно не связано на сто процентов ни со Станиславским, ни с Мейерхольдом, ни с Вахтанговым, ни с Таировым. Мое сегодняшнее понимание театра связано с их пониманием в той же мере, в какой они были связаны друг с другом, а они, бесспорно, были связаны друг с другом.

Шел 1928 или 1929 год, точно не помню. Я лежал больной у себя дома в Стамбуле. Товарищи были арестованы. После пыток в стамбульской полиции, где об их тела тушили сигареты, били их палками по ногам так, что сдирали кожу со ступней, клали им под мышку горячее яйцо, они были сосланы в Измир. Я был зол как черт, страшно тосковал и сидел без гроша. Открылась дверь, вошел крупнейший турецкий режиссер Эртугрул Мухсин. Основатель современного турецкого театра, последователь и пропагандист русского советского искусства, Мухсин был поклонником Станиславского и Мейерхольда. Он неоднократно приезжал в Советский Союз. «Есть ли у тебя готовая пьеса?» — спросил он. «Есть», — ответил я. А на самом деле не было. «Если через неделю принесешь, можем поставить». «Хорошо», — сказал я. Я не удивился, что в обстановке тогдашнего антикоммунистического террора он хотел поставить в единственном настоящем театре Стамбула мою пьесу: он был моим другом, а я верю в дружбу. «Что же можно написать за неделю!» — подумал я, когда Мухсин ушел. И тут мне вспомнился сюжет моей пьесы «Череп», которая пропала в полиции.

В некой стране Долларинада бедный профессор Далбанезо изобретает противотуберкулезную сыворотку — изобретает теоретически. Тресты туберкулезных санаториев в панике. Они предлагают профессору следующее условие: через определенный срок обеспечить его деньгами и лабораториями для осуществления изобретения, а пока, оставив

9 сыворотку, профессор должен лечить коров. Профессор сначала не соглашается, потом, оказавшись в безвыходном положении, принимает условие. Забрав с собой дочь, тяжело больную туберкулезом, он отправляется лечить коров. Но, не дождавись истечения срока договора, он тайком продолжает работать над сывороткой, чтобы спасти умирающую дочь. Наконец сыворотка готова, но в тот момент, когда он собирается испытать ее на дочери, его раз облачают. За нарушение условия соглашения и отказ вернуть выданные ему средства его отправляют в тюрьму. Выйдя из тюрьмы, профессор служит в цирке, где его показывают любопытным посетителям, как некогда знаменитого ученого, а ныне международного авантюриста. Профессор умирает. В морге продают его череп.

Эта пьеса, сюжет которой я рассказал в общих чертах, шла в Стамбуле только три дня. На четвертый день она была запрещена по приказу из Анкары. Предлогом послужил «протест» ветеринаров. В пьесе профессор говорит: «Я вам не коровий врач, я не могу лечить коров». Это показалось обидным. Настоящей же причиной запрета была демонстрация зрителей, которая произошла после премьеры.

Большинство участников ее были рабочие и молодежь. Целый час они не покидали зала. Бесчисленное множество раз вызывали нас на сцену. Наконец я вышел на улицу через служебный ход, но и там было полно людей. Они окружили меня, и в полночь мы толпой направились к проспекту Независимости. Это повторялось три вечера подряд. А потом, как я уже говорил, пьесу запретили.

«Череп», по-моему, первая пьеса, поставленная в Турции по некоторым принципам режиссерской школы Мейерхольда. Не по всем принципам Мейерхольда, но по некоторым.

Эту пьесу, кажется, в 1951 году несколько раз передавали по московскому радио в постановке А. Дикого. А несколько лет назад мне посчастливилось увидеть ее в театре города Кировабада. Я смотрел ее вместе с азербайджанским романистом и драматургом, моим другом Гусейном Мехти. Ему понравились и пьеса и спектакль. Мне понравился спектакль. Я не жалею, что написал пьесу, но пьеса мне не понравилась...

Когда и где впервые втиснули театр в пышную, бархатную золоченую закрытую коробку с занавесом, с декорациями? Не знаю. Хорошо ли это или плохо? Об этом тоже я не стану здесь полемизировать. Лично я время от времени

тоскую по театру на открытом воздухе, на ярмарке, на городской площади. Не всегда. Иногда вдруг одолевает меня эта тоска.

Не помню точно год, когда в Москве был объявлен конкурс на сценарий для детского праздника. Мы с Николаем Экком также приняли участие в этом конкурсе. Среди пьес, получивших первую премию, была и наша. Неделю она шла в цирке. Режиссером был Экк. В цирке, будь он под куполом или без купола, есть ощущение веселья, народности, возбужденности, театра на открытом воздухе, театра ярмарки, театра площади.

В нашей пьесе драматические актеры, артисты балета и артисты цирка — люди и животные — играли вместе, рядом. Действие происходило и внизу, на арене, и наверху, на четырех экранах, натянутых по углам.

Сейчас, когда я пишу об этом представлении, мне обидно, что мы не повторили этот опыт, развив и обогатив его.

Опять я спутал порядок своих воспоминаний! Я замечаю, что постоянно жалуюсь на это. Но разве человек вспоминает о своей жизни, о случившемся с ним непременно в хронологическом порядке?

В 1930 году Эртугрул Мухсин поставил в Стамбуле еще две мои пьесы: «Дом мертвеца» и «Забытый всеми». Вторым вариантом «Дома мертвеца» года четыре назад был поставлен в Ленинграде в театре имени В. Ф. Комиссаржевской. Название пьесы я изменил на «Первый день праздника». На премьеру спектакля я пошел вместе с Михаилом Зощенко. Помнится, ему пьеса понравилась, и это меня очень обрадовало. Я перевел несколько рассказов Зощенко на турецкий язык. Я его поклонник. В то время, когда турецкая буржуазная пресса истошно вопила о том, что, мол, в Советском Союзе люди разучились смеяться, что там вымерла сатира, опубликование рассказов Зощенко в Турции имело большое значение. Я думаю, что десятки тысяч турецких читателей, прочитав хлесткие, но очень глубокие, далеко не пессимистические рассказы Зощенко, по-иному стали относиться к Советскому Союзу.

Сюжет «Дома мертвеца» — это классическая буржуазная грызня вокруг наследства. Пьеса шла только четыре дня. Нет, правительство не запретило ее. Просто публика перестала ходить. Причину я сейчас объясню.

Учитывая опыт спектакля «Череп» (как выяснилось потом, учли мы этот опыт больше чем следовало), чтобы не запретили и новую пьесу, мы не назвали на афише настоящее имя автора. Поэтому пришедшее на спектакль большинство состояло не из моих читателей, а из буржуазных и мелкобуржуазных зрителей. В середине первого действия они стали кричать: «Это безобразие! Оскорбляют наши святыни!» К началу второго действия зал был наполовину пуст. В третьем действии на галерке было многолюдно, а в партере осталось пять-шесть человек. Как я уже сказал, после такой «яркой» премьеры пьеса смогла продержаться еще три дня. Поэтому Мухсин поставил вторую пьесу под моим именем. И главную роль сыграл сам.

«Всеми забытого» я написал в 1933 году, по выходе из очередной тюрьмы. Сюжет ее, очевидно, хорошо известен, потому что второй вариант этой пьесы вот уже несколько лет идет во многих театрах, в том числе в театре Советской Армии в Москве. Идет пьеса и в ГДР и в Чехословакии.

Премьеру в Стамбуле я смотрел вместе с одной актрисой МХАТа. В двадцатых годах она вышла замуж за первого секретаря турецкого посольства в Москве Фуада Джарыма и была в Турции. В памяти сохранилась высокая, худощавая с большими черными глазами, странной красоты, очень умная молодая женщина. Как жаль, что я не помню ее имени! Никогда не забуду, как она сказала: «Переведите пьесу на русский язык и пошлите в Москву, во МХАТ».

...В 1938 году я снова попал в тюрьму. На сей раз просидел тринадцать лет. В тюрьме я написал пять пьес: «Ферхад и Ширин, или Легенда о любви», «Иосиф Зелиха, или Иосиф Прекрасный», «Станция», «Фитнат» и «Землетрясение». Из них «Легенда о любви» ставилась в Москве, Праге, Берлине и в других городах. «Иосиф Прекрасный» шел в Чехословакии и в ГДР. Да, из «Легенды о любви» был сделан и кинофильм. Скверный. До сих пор мне стыдно за него. «Землетрясение» и «Фитнат», как и многие другие мои вещи, пропали. Даже рукописи не сохранились. «Станцию» я написал заново, переделав сюжет. Нигде она не ставилась.

Есть такое занятие — заново открывать Америку. Занятие часто очень комическое. Когда ты действительно не знаешь, что Америка уже открыта, и на полном серьезе приступаешь к ее открытию, страшно радуешься, что ты ее открыл. Потом же, ступив на сушу, обнаруживаешь, что

европейцы давно уже падают землю «неведомой страны». Тут положение твое становится не только комическим, но и несколько жалким. Такое «открытие» мне суждено было осуществить в драматургии.

В тюрьме у человека времени много, если тюремный режим не построен на процессе труда (полагаю, что тогда от усталости не останется времени думать). Но в тюрьмах, где сидел я, ничего другого, кроме раздумий, не оставалось. Только последние пять лет мне посчастливилось заниматься ткацким делом.

Я и подумал тогда о том, что в современных пьесах почти исчез монолог. И я сделал «открытие»: если развить монолог и обработать его по-новому, наш внутренний мир сможет сыграть одну из главных ролей на сцене. В «Легенде о любви» я попытался применить это мое «новшество». В «Иосифе Прекрасном» я вкусил радость того же открытия. В «Легенде о любви» персонажи говорят и друг с другом, и со зрителем. А иной раз они очень долго мыслят вслух, говорят наедине с самими собой, то есть произносят, по существу, классические монологи. В «Иосифе Прекрасном» голос Зелихи передает записанные на граммофонные пластинки три монолога, характеризующие внутреннее состояние, а Зелиха в это время играет пантомиму. Тогда еще не было магнитофона, а быть может, просто я не знал о нем. Я так был доволен своими «открытиями», что, выйдя из тюрьмы, первым делом прочел товарищам новые пьесы. Я читал и, ухмыляясь, самодовольно смотрел на них: «Ну, что скажете?»

«Да,— сказал один из них,— интересно, но это твое «открытие» уже давно осуществлено, и притом гораздо лучше».

Одно из зол тюрьмы — для драматурга — состоит в том, что ты не знаешь, что творится в мире в области драматургии. Но мир так велик, так много на свете драматургов, что вовсе не обязательно просидеть в тюрьме, чтобы не знать о новостях драматургии. То есть, для того чтобы заново «открыть Америку» в театре, не обязательно находиться в тюрьме...

Последнее и случилось со мной, когда я уже был на свободе. Те «новшества», которые я продолжал применять и в своих пьесах, написанных в Советском Союзе (часть из них так и не увидела света ramпы), оказывается, еще задолго до меня были применены другими...

Из всего этого я делаю такой вывод: в определенные времена люди определенной профессии, от гения до рядо-

вого, в науке, в технике, в искусстве, в разных концах земли сталкиваются с одними и теми же вопросами, дают на них один и тот же ответ, делают одни и те же открытия. Некоторые из этих изобретений маловажные, а некоторые очень важные. Конечно, такой вывод, с одной стороны, самоутешение, с другой стороны, разнovidность все того же «открытия Америки»!..

Поскольку я уже разложил свои записи по дням, позволю себе вернуться еще к одному вопросу. В цирк, в кино мы ходим в своем обычном, повседневном костюме, даже часто не снимаем плаща или пальто. А когда мы ходим в театр, мы стараемся одеться понаряднее, а если в оперу — то рядимся, как жених или невеста. Это уважение и почтение, которое мы оказываем театру и в котором отказываем кино и цирку, идет ли оно на пользу театру или нет? Правильно ли, что мы считаем театр, особенно оперный, храмом искусства? Разве превращение театра в храм не ограничивает его народность, его свободу, его роль школы и университета? Обо всем этом можно поспорить. Я лично убежден в том, что «храм» по форме, каков бы он ни был, не может быть полезным в обществе, строящем коммунизм, не может быть полезным человечеству, идущему к коммунизму.

Человек, пишущий воспоминания. До какого времени растягивает он свои записи? Есть ли какое-либо правило — когда и где поставить точку? Не знаю. Лично я дойду до нынешнего дня, то есть до 28 января 1962 года и поставлю последнюю точку.

У себя на родине — будь это в тюрьмах или на квартирах у друзей, — рассказывая о Москве двадцатых — начала тридцатых годов (в те времена еще не было ни метро, ни Ленинского проспекта, ни Университета с его иглой, пронизывающей небо, ни даже ресторана «Арагви» и кафе «Молодежное»), я то и дело возвращался к московским театрам. Театры Москвы были для меня наиболее значительными особенностями города, о которых стоило рассказывать. И сегодня, когда в Праге, Будапеште, Стокгольме, Бейруте, Гаване я рассказываю о Москве, я начинаю беседу с московских театров.

Но когда в 1951 году в Берлине, на фестивале молодежи, друзья спросили меня о Москве, я ни слова не сказал о театрах.

И вот почему.

Система Станиславского, бесспорно, очень высокая, очень глубокая система. Значительны и плодотворны те

новшества, которые она принесла как русскому, советскому, так и мировому театральному искусству, необозримы те перспективы, которые она открыла перед ними. Но нельзя, наверно, было не учитывать при применении «системы» творческого своеобразия, творческих особенностей каждого из театральных коллективов, применять систему едва ли не по приказу. Это на деле обезличивало и «систему», и театры, пагубно отражалось и на драматургии.

Я вот пишу обо всем этом и думаю: а не слишком ли я несправедлив в своих сомнениях? Не преувеличиваю ли я? Возможно, я не вполне объективен.

Да, чуть не забыл. После возвращения в Москву я написал кучу пьес: «Рассказ о Турции», второй вариант «Чудака», второй вариант «Забытого всеми», «А был ли Иван Иванович?», «Первый день праздника», «Корова», «Два упрямца» — вместе с моей женой Верой Туляковой, «Тартюф — 59», «Несмотря ни на что, или Быть или не быть?» (в трех вариантах), «Пражские куранты» (в двух вариантах), «Дамоклов меч». Большинство из них не были поставлены. И, по-моему, к лучшему. Всю свою жизнь я ощущал на себе сильное влияние театра, но не смог подняться выше уровня третьеразрядного драматурга. Но в этом вопросе я не пессимист. Я еще смогу повысить свою квалификацию. Надежда не покидает человека, пока его не покидает дух.



ПРИМЕЧАНИЯ

ЖИЗНЬ — ПРЕКРАСНАЯ ШТУКА, БРАТ...

Роман

Этот роман был написан Н. Хикметом в 1962 году и был издан на русском языке под названием «Романтика» (М., Советский писатель, 1964). Роман во многом автобиографичен. В судьбах двух главных героев — Ахмеда и Исмаила, много общего с судьбой самого автора.

«Жизнь — прекрасная штука, брат...» — первое прозаическое произведение в турецкой литературе, написанное в русле социалистического реализма. Благодаря своим высоким идейным и эстетическим качествам этот роман стал важной вехой в развитии современной литературы Турции.

Стр. 5. *Ялы* — загородный дом на морском побережье, вилла.

Стр. 6. *Иттихадисты* (или младотурки) — члены буржуазно-националистической партии «Иттихад вэ Терракки» («Единение и прогресс»), основанной в 1899 г. и возглавившей борьбу против феодального абсолютизма. В 1908 г. в результате Младотурецкой революции пришли к власти. После поражения Турции в первой мировой войне в 1918 г. партия самоликвидировалась.

Стр. 7. *...меня отдадут под Трибунал независимости... Предлог — восстание курдов.* — В годы национально-освободительной войны в Турции (1918—1923) существовал карательный орган под названием Трибунал независимости. Вновь он начал функционировать в 1925 г. после восстания курдов, возглавленного шейхом Саидом и послужившего поводом к волне репрессий со стороны правительства против левых сил.

Мустафа Кемаль (1881—1938) — руководитель национально-освободительной революции в 1918—1923 гг., первый президент Турецкой республики; был прозван в народе Ататюрком (букв.: отец турок).

Исмет Инёню (1884—1973) — президент Турции в 1938—1950 гг. В 1923—1937 и в 1961—1965 гг. — премьер-министр. В 1938—1972 гг. — лидер Народно-республиканской партии.

Стр. 8. *Кордон* — прибрежный район Измира.

Наргиле — кальян, прибор для курения табака.

Стр. 9. *«Месневи»* — поэма Джалаледдина Руми (1207—1273), персоязычного поэта-суфия, основателя религиозного ордена дервишей «Мевлеви». (Месневи — жанр стихотворного произведения с парно рифмующимися строками). Стихи Руми стали обрядовыми песнопениями членов ордена.

Неср, фатха, устюн — диакритические знаки арабского алфавита, служащие для обозначения гласных звуков.

Хафыз — знаток Корана.

Стр. 10. *«Внемли, это флейты тоскующий глас, о скорби разлуки ведет он рассказ».* — Цитата из поэмы «Месневи» Дж. Руми.

Стр. 26. *Мухсин* Эртугрул (1892—1979) — выдающийся турецкий актер и режиссер, ученик К. С. Станиславского и В. Э. Мейерхольда. Постановщик двадцати с лишним фильмов (два из них — в Советском Союзе) и большого числа спектаклей.

Стр. 30. *Субхи* Мустафа (1882 или 1883—1921) — один из основателей Турецкой коммунистической партии, ее председатель. 28 января 1921 г. вместе с четырнадцатью другими коммунистами был зверски убит жандармами в Трабзоне.

Стр. 43. *Айн-Пе* (Аскери полис) — военная полиция.

...из оккупированного Антантой Стамбула... — После поражения Турции в первой мировой войне и подписания в 1918 г. в Мудросе акта о капитуляции войска Антанты оккупировали значительную часть Турции, в том числе и Стамбул.

Стр. 45. *Чаршаф* — большое черное покрывало, в которое мусульманки закутываются с головы до пят.

Стр. 50. *Чанаккале* — город на берегу Дарданелл, место сражения турецких войск, возглавляемых Мустафой Кемалем, с английским флотом.

Айран — напиток из кислого молока, смешанного с холодной водой, или пахта.

Стр. 52. *Сюрмене* — мыс в районе города Трабзона.

Стр. 55. *Ахы* (букв.: братья) — члены средневекового мусульманского братства ремесленников в Османской империи.

Стр. 57. *Папазян* Ваграм Камерович (1888—1968) — выдающийся армянский актер, выступал на сценах стамбульских театров. С 1954 г. работал в Ереванском драматическом театре им. Г. Сундукяна. Народный артист СССР.

Стр. 60. *Аруз* — арабо-персидская система стихосложения, основанная на чередовании долгих и кратких гласных.

Хедже — турецкая силлабическая система стихосложения.

Стр. 61. *Мутесарриф* — административное лицо, начальник уезда.

Итиляфисты — члены буржуазно-помещичьей партии «Хюрриет вэ Итиляф» («Свобода и согласие»).

Стр. 62. *Одаджи* — прислужник; человек, исполняющий в уч-

реждениях обязанности рассыльного, истопника, уборщика.

Стр. 70. *Дашнаки* — члены армянской буржуазно-националистической партии «Дашнакцутюн» («Союз»), основанной в 1890 г. Выступали против революционного рабочего движения. Организовали антисоветский мятеж в феврале 1921 г. Были разгромлены.

Стр. 79. *Король Константин* (1868—1923) — король Греции, из династии Габсбургов. После поражения в греко-турецкой войне отрекся от престола.

Стр. 88. «*Орак Чекич*» («Серп и молот») — центральный орган Турецкой коммунистической партии; легально издавалась до 1925 г.

Стр. 93. *Фалака* — орудие пыток.

Стр. 102. *Барбаросса* — прозвище алжирского корсара Хайрадина (ок. 1483—1546), командовавшего турецким флотом. Дважды нанес поражения генуэзскому адмиралу Андреа Дориа, фактически правителю Генуэзской республики.

Стр. 104. *Вакуфные мастерские* — мастерские, созданные на благотворительные фонды мусульманской общины.

Стр. 119. *Тархана* — суп из муки и простокваши.

Стр. 126. *Абла* — старшая сестра, также вежливое обращение к женщине старшей по возрасту.

Стр. 128. *Султан Хамид* (Абдулхамид II; 1842—1918) — турецкий султан, установил деспотический режим. После Младотурецкой революции был низложен.

Намык Кемаль (1840—1888) — турецкий писатель и политический деятель, один из руководителей так называемого «Общества новых османов», которое выступало за проведение реформ в политической, экономической и культурной жизни страны.

Зия-паша (1825—1880) — один из членов «Общества новых османов», крупный поэт.

Стр. 159. *Мурад II* (1403—1451) — турецкий султан; годы царствования — 1421—1451.

Берклюдже Мустафа — один из соратников шейха Бедреддина Симави (1363—1420), руководителя крупного восстания крестьян.

ПЬЕСЫ

«Легенда о любви» написана в 1948 году в бурской тюрьме. В основу сюжета пьесы положена турецкая версия восточной легенды о любви Ферхада и Ширин, которая значительно переосмыслена и переработана. «Мне хотелось,— говорил Назым Хикмет,— творчески обработать эту старую легенду и... изобразить в форме легенды одну из особенностей человека, отличающую его от всех остальных созданий природы, а именно, способность любить и бороться за свою любовь».

Сначала Назым Хикмет хотел закончить пьесу иначе. В письме к жене Пирайе-ханым он писал: «Во второй картине третьего акта я намерен был показать, как вода уже бьет в фонтанах и Ферхад умирает на руках у Ширин. Но потом передумал. Во-первых, пьеса завершается уже в первой картине третьего акта, во-вторых, в Ферхаде и Ширин есть что-то общее с нами, то есть со мной и с тобой. Получилось бы так, что в тот миг, когда мы с тобой соединимся после долгой разлуки, я умру на твоих руках».

Пьеса «Чудак» написана в 1955 году в Москве. Она была с успехом поставлена во многих театрах Советского Союза, ФРГ, Польши и других стран.

В этой пьесе Назым Хикмет удачно синтезирует различные театральные жанры — бытовую драму, сатиру, мелодраму.

Стр. 168. *Арабузенги* — женщина-воительница, героиня легенд, популярных на Востоке.

Стр. 207. *Залоглу Рустем* — герой поэмы персидского и таджикского поэта Абдулькасима Фирдоуси (ок. 940—1020 или 1030) — «Шахнаме».

Стр. 288. *Эвлия Челеби* (1611—1682) — турецкий путешественник, географ, писатель. Автор десяти томной «Книги путешествий», ценного источника сведений по истории многих стран Европы, Азии, Африки.

МИНИАТЮРЫ

После выхода из тюрьмы, в конце 1934 года Назым Хикмет был приглашен на работу в качестве журналиста сначала в газету «Тан», а затем и в «Акшам», где он работал до начала 1936 года.

В турецкой журналистике имеется особый жанр — фыкра. Термин не поддается точному переводу и может означать и очерк, и фельетон, и краткий рассказ, и эссе, и миниатюры. Приглашенному на работу известному писателю или журналисту предоставляется в газете постоянная колонка, в которой он по своему усмотрению выступает с короткими фыкра на самые разнообразные темы, начиная с внешней политики и вплоть до судебной хроники.

Политический климат Турции середины 30-х годов был таков, что хозяева газет не решались дать Н. Хикмету свободу действия. И поэтому перед поэтом было поставлено условие: в своих миниатюрах он не должен затрагивать вопросы политики, социальных отношений, в центре его внимания должны находиться лишь проблемы культуры и литературы. Стремление хоть каким-то образом использовать все легальные возможности для пропаганды своих взглядов и побудило поэта принять это условие.

Используя особенности жанра фыкра, Хикмет с удивительным

мастерством, даже артистизмом вел свою идейно-эстетическую борьбу на страницах газет.

Для понимания как поэзии Назыма Хикмета, его искусства, так и литературной ситуации того периода огромное значение имеют миниатюры поэта, в которых затрагиваются проблемы литературы, критики, художественного творчества.

Стр. 296. *Апартыман* — так турки называют современные многоэтажные жилые дома.

Стр. 298. *Нашид* (1889—1938) — известный турецкий актер, популярный исполнитель «Ортаюну» — народного театрального представления, характерными признаками которого являются импровизация на злобу дня, сатирическое разоблачение представителей власти, богачей.

Стр. 299. *Группа «Д»* — объединение, в которое входили многие молодые талантливые художники Турции, в том числе Абидин Дино, друг Назыма Хикмета.

Стр. 308. *Зеленая чалма* — символ реакционных религиозных сил.

Стр. 315. *Яхья Кемаль Баятлы* (1884—1958) — известный турецкий поэт, общественный и политический деятель.

Эмруллах (1858—1914) — известный турецкий ученый, политик, был министром просвещения. Являл собой характерный пример «профессорской рассеянности».

СТАТЬИ

Статья «О социалистическом реализме и турецкой литературе» была написана Н. Хикметом специально для сборника «Проблемы становления реализма в литературах Востока» (Наука. М., 1964).

«Сабахаттин Али» — предисловие к роману Сабахаттина Али «Дьявол внутри нас» (Художественная литература. М., 1955).

«О Незвале» — вступительное слово к сб.: Витезслав Незвал. Избранная лирика. Молодая гвардия. М., 1968.

Статья «Через всю жизнь» была опубликована в журнале «Театральная жизнь» (1962, № 4—7).

Стр. 329. *Кемаль Тахир* (1910—1973) — известный турецкий прозаик, автор почти двадцати романов. Вместе с Хикметом в 1938 г. был приговорен к пятнадцати годам тюремного заключения. Назым Хикмет оказал огромное влияние на становление Кемаля Тахира как художника.

Стр. 330. *Самим Коджагёз* (род. в 1916 г.) — известный турецкий писатель, автор многочисленных романов и сборников рассказов. На русский язык переведены его романы «Возвращение десяти тысяч», «Спор» (1986) и многие рассказы.

«Уфуклар» — ежемесячный литературный журнал прогрессивного направления, выходил в 1952—1953 гг. В нем сотрудничали многие известные поэты и прозаики — Сабахаттин Эйюбоглу, Мехмед Башаран, Факир Байкурт, Октай Рифат, Фазыл Хюсию Дагларджа.

Яшар Кемаль (род. в 1922 г.) — крупный турецкий прозаик, автор многочисленных романов, рассказов, очерков. Первый его роман «Тощий Мемед» (1955) принес ему не только национальное, но и международное признание, был переведен на двадцать семь языков мира. За свои политические убеждения был осужден и заключен в тюрьму. Многие произведения Яшара Кемала переведены на русский язык.

Стр. 333. *Яшар Наби Найыр* (1908—1981) — турецкий литератор, журналист, издатель литературного ежемесячника «Варлык», который выходит с 1933 г.

Ведат Гюньюл (род. в 1912 г.) — литературный критик, автор семи книг, посвященных проблемам современной литературы Турции.

Пейями Сафа (1899—1951) — турецкий писатель ультраправого толка. В 30-е годы Н. Хикмет вел с ним острую полемику.

Стр. 334. *Орхан Ханчерлиоглу* (род. в 1916 г.) — турецкий писатель, автор романов, сборников рассказов, составитель словарей.

Суат Ташер (1919—1982) — известный турецкий актер и поэт, один из ведущих представителей реалистического направления «топлумджу шиир».

Сабахаттин Али (1907—1948) — крупный турецкий писатель, автор романов «Юсуф из Куюджака» (1937), «Дьявол внутри нас» (1940), «Мадонна в меховом мантио» (1943), переведенных на русский язык. Первые рассказы С. Али были отредактированы Н. Хикметом и опубликованы в журнале «Ресимли ай».

Стр. 336. *Сертель*. — Имеются в виду супруги Сабиха Сертель (1898—1968) и Зекерия Сертель (1890—1980), известные литераторы, журналисты. В 20-е годы издавали литературный журнал «Ресимли ай», в котором сотрудничал и Н. Хикмет, а в 40-е годы прогрессивную газету «Тан».

Стр. 338. *Махмуд Манал* (род. в 1930 г.) — турецкий публицист, автор известной книги репортажей «Наша деревня» (1950), в которой впервые было отражено реальное положение в турецкой деревне.

Стр. 340. *Витезслав Незвал* (1900—1958) — крупный чешский поэт, видный представитель социалистической литературы Чехословакии. Он был связан с Хикметом многолетней дружбой.

Стр. 343. «*Карагёз*» — народный театр марионеток.

Меддах — сказитель, рассказчик.

Т. Меликов



СОДЕРЖАНИЕ

ЖИЗНЬ — ПРЕКРАСНАЯ ШТУКА, БРАТ...

Р о м а н. Перевод Л. Старостова

Вступление	5
1	5
2	18
Шестая черточка	27
Седьмая черточка	30
Четырнадцатая черточка	41
Пятнадцатая черточка	60
Шестнадцатая черточка	61
Двадцатая черточка	74
Двадцать первая черточка	75
Двадцать вторая черточка	79
Конец двадцать второй черточки	87
Двадцать третья черточка	106
Двадцать четвертая черточка	120
Конец двадцать четвертой черточки в Измире	127
Седьмая черточка на даче у Аннушки	129
Первая черточка в полицейском управлении	132
Двадцать пятая черточка в Измире	140
Десятая черточка на даче у Аннушки	142
Снова двадцать пятая черточка в Измире	146
Черточки в Стамбульском полицейском управле- нии	148
Двадцать восьмая черточка в Измире	152
Четырнадцатая черточка на даче у Аннушки	152
Двадцать девятая черточка в Измире	156
Черточки в полицейском управлении	158
Крест-накрест	159
На трамвайной остановке Эминеню в Стамбуле	160
В поезде	160
Мои гости	163

ПЬЕСЫ

Легенда о любви. Перевод А. Бабаева, М. Павловой, Р. Фиша	167
Чудак. Перевод А. Бабаева, Л. Старостова . . .	229

МИНИАТЮРЫ

Перевод Л. Старостова

Соловей и канарейка	295
Советы мудрого человека	295
Звуки и тишина	296
О турецком стихосложении	297
Нашид и смех народа	298
Догматический метод	299
Сила логики	301
Чудак	302
Сказка о трех юношах (<i>Первая сказка моему сыну</i>)	303
Сказка про идола и мудрого старца (<i>Вторая сказка моему сыну</i>)	304
Лаванда	306
Голос женщины	306
Собака лает — караван идет (1)	307
Собака лает — караван идет (2)	308
Когда приходит весна	309
Реализм	310
Тьма и свет в литературе	311
Литература и общество	312
Забывчивость и искусство	313
Идеалист	314
О рассеянности	314
Весна наступает!	316

СТАТЬИ

О социалистическом реализме и турецкой литературе	319
Сабахаттин Али. Перевод Р. Фиша	336
О Незвале	340
Через всю жизнь	343
Примечания	353

Хикмет Н.

Х44 Избранное. В 2-х т. Т. 2. Роман, пьесы, миниатюры, статьи: Пер. с тур. / Сост., примеч. Т. Меликова.— М.: Худож. лит., 1987.— 366 с.

Во второй том «Избранного» Назыма Хикмета входят его автобиографический роман «Жизнь — прекрасная штука, брат...» (в прежних изданиях — «Романтика»), хорошо известные пьесы «Легенда о любви» и «Чудак», лирические и остропублицистические миниатюры, а также статьи.

X $\frac{4703000000-217}{028(01)-87}$ 219-87

ББК 84.5Ту

Назым Хикмет

ИЗБРАННОЕ В ДВУХ ТОМАХ

Том второй

Редактор М. П а с т е р

Художественный редактор А. Моисеев

Технический редактор Л. Ковнацкая

Корректоры Л. Лобанова, И. Макаревич

ИБ № 3430

Сдано в набор 04.09.86. Подписано в печать 06.04.87. Бумага тип. № 1. Формат 84×108¹/₃₂. Гарнитура «Обыкн. новая». Печать высокая. Усл. печ. л. 19,32. Усл. кр.-отт. 19,74. Уч.-изд. л. 20,22. Изд. № VIII-2618. Заказ 2190. Тираж 50 000 экз. Цена 2 р. 10 к. Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература». 107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19. Ордена Ленина типография «Красный пролетарий». 103473, Москва, И-473, Краснопролетарская, 16.





上海



南京



北京

天津

烟台

威海

旅顺

大连

青岛

2